

Михаил Петрович Арцыбашев

Санин



Михаил Петрович Арцыбашев

Санин

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=143100

Аннотация

Роман «Санин» – главная книга писателя – долгое время носил клеймо «порнографического романа», переполошил читающую Россию и стал известным во всем мире. Тонкая, деликатная сфера интимных чувств нашла в Арцыбашеве своего сильного художника. «У Арцыбашева и талант, и содержание», – писал Л. Н. Толстой.

Содержание

I	5
II	12
III	30
IV	44
V	61
VI	73
VII	81
VIII	87
IX	97
X	102
XI	122
XII	130
XIII	144
XIV	159
XV	173
XVI	183
XVII	199
XVIII	208
XIX	210
XX	227
XXI	237
XXII	244
XXIII	250

XXIV	260
XXV	270
XXVI	288
XXVII	292
XXVIII	299
XXIX	322
XXX	330
XXXI	339
XXXII	355
XXXIII	367
XXXIV	376
XXXV	385
XXXVI	398
XXXVII	411
XXXVIII	416
XXXIX	442
XL	446
XLI	459
XLII	467
XLIII	470
XLIV	477
XLV	485
XLVI	491

Михаил Арцыбашев

Санин

I

*Только это нашел я, что Бог создал человека
правым, а люди пустились во многие домыслы.
7.29. Екклезиаст*

То, самое важное в жизни, время, когда под влиянием первых столкновений с людьми и природой слагается характер, Владимир Санин прожил вне семьи. Никто не следил за ним, ничья рука не гнула его, и душа этого человека сложилась свободно и своеобразно, как дерево в поле.

Он не был дома много лет и, когда приехал, мать и сестра Лида почти не узнали его: чертами лица, голосом и манерами он изменился мало, но в нем сказывалось что-то новое, незнакомое, что созрело внутри и осветило лицо новым выражением.

Приехал он к вечеру и так спокойно вошел в комнату, как будто вышел из нее пять минут тому назад. В его высокой светловолосой и плечистой фигуре, со спокойным и чуть-чуть, в одних только уголках губ, насмешливым выражением лица, не было заметно ни усталости, ни волнения, и те шумные восторги, с которыми встретили его мать и Лида, как-то

сами собой улеглись.

Пока он ел и пил чай, сестра сидела против него и смотрела, не сводя глаз. Она была влюблена в брата, как могут влюбляться только в отсутствующих братьев молодые экзальтированные девушки. Лида всегда представляла себе брата человеком особенным, но особенным именно той особенностью, которая с помощью книг была создана ею самою.

Она хотела видеть в его жизни трагическую борьбу, страдание и одиночество непонятого великого духа.

– Что ты на меня так смотришь? – улыбаясь, спросил ее Санин.

Эта внимательная улыбка, при уходящем в себя взгляде спокойных глаз, была постоянным выражением его лица.

И, странно, эта улыбка, сама по себе красивая и симпатичная, сразу не понравилась Лиде. Она показалась ей самодовольной и ничего не говорящей о страданиях и переживаемой борьбе. Лида промолчала, задумалась и, отведя глаза, стала машинально перелистывать какую-то книгу.

Когда обед кончился, мать ласково и нежно погладила Санина по голове и сказала:

– Ну, расскажи, как ты там жил, что делал?

– Что делал? – переспросил Санин, улыбаясь. – Что ж... пил, ел, спал, иногда работал, иногда ничего не делал...

Сначала казалось, что ему не хочется говорить о себе, но когда мать стала расспрашивать, он, напротив, очень охотно стал рассказывать. Но почему-то чувствовалось, что ему

совершенно безразлично, как относятся к его рассказам. Он был мягок и внимателен, но в его отношениях не было интимной, выделяющей из всего мира близости родного человека, и казалось, что эти мягкость и внимательность исходят от него просто, как свет от свечи, одинаково ровно на все.

Они вышли на террасу в сад и сели на ступеньках. Лида примостилась ниже и отдельно и молча прислушивалась к тому, что говорил брат. Неуловимая струйка холода уже прошла в ее сердце. Острым инстинктом молодой женщины она почувствовала, что брат вовсе не то, чем она воображала его, и она стала дичиться и смущаться, как чужого.

Был уже вечер, и мягкая тень спускалась вокруг. Санин закурил папиросу, и легкий запах табаку примешивался к душистому летнему дыханию сада.

Санин рассказывал, как жизнь бросала его из стороны в сторону, как много приходилось ему голодать, бродить, как он принимал рискованное участие в политической борьбе и как бросил это дело, когда оно ему надоело.

Лида чутко прислушивалась и сидела неподвижно, красивая и немного странная, как все красивые девушки в весенних сумерках.

Чем дальше, тем больше и больше выяснялось, что жизнь, рисовавшаяся ей в огненных чертах, в сущности, была простой и обыкновенной. Что-то особенное звучало в ней, но что – Лида не могла уловить. А так выходило очень просто, скучно и, как показалось Лиде, даже банально. Жил он где

придется, делал что придется, то работал, то слонялся без цели, по-видимому, любил пить и много знал женщин. За этой жизнью вовсе не чудился мрачный и зловещий рок, которого хотелось мечтательной женской душе Лиды. Общей идеи в его жизни не было, никого он не ненавидел и ни за кого не страдал.

Срывались такие слова, которые почему-то казались Лиде просто некрасивыми. Так мельком Санин упомянул, что одно время он так бедствовал и обносился, что ему приходилось самому починять себе брюки.

– Да ты разве умеешь шить? – с обидным недоумением невольно отозвалась Лида, ей показалось это некрасивым, не по-мужски.

– Не умел раньше, а как пришлось, так и выучился, – с улыбкой ответил Санин, догадавшись о том, что чувствовала Лида.

Девушка слегка пожала плечами и замолчала, неподвижно глядя в сад. Она почувствовала себя так, точно, проснувшись утром с мечтою о солнце, увидела небо серым и холодным.

Мать тоже чувствовала что-то тягостное. Ее больно кольнуло, что сын не занимал в обществе того почетного места, которое должен был бы занять ее сын. Она начала говорить, что дальше так жить нельзя, что надо хоть теперь устроиться хоть сколько-нибудь прилично. Сначала она говорила осторожно, боясь оскорбить сына, но когда заметила, что он слу-

шает невнимательно, сейчас же раздражилась и стала настаивать упрямо, с тупым старушечьим озлоблением, точно сын нарочно поддразнивал ее. Санин не удивился и не рассердился, он даже как будто и слышал ее плохо. Он смотрел на нее ласковыми безразличными глазами и молчал. Только на вопрос: «Да как же ты жить будешь?» – ответил, улыбаясь: «Как-нибудь!»

И по его спокойному твердому голосу и светлым немигающим глазам почувствовалось, что эти два для нее ничего не значащие слова для него имеют всеобъемлющий, определенный глубокий смысл.

Марья Ивановна вздохнула, помолчала и печально сказала:

– Ну твое дело... Ты уже не маленький... Вы бы пошли по саду прогулялись, теперь там хорошо.

– Пойдем, Лида, и в самом деле... Покажи мне сад, – сказал Санин сестре, – я уже и позабыл, как там.

Лида очнулась от задумчивости, тоже вздохнула и встала. Они пошли рядом, по аллее, в сырую и уже темную зеленую глубину.

Дом Саниных стоял на самой главной улице города, но город был маленький, и сад выходил прямо к реке, за которой уже начинались поля. Дом был старый, барский, с задумчивыми облупившимися колоннами и обширной террасой, а сад большой, заросший и темный, как темно-зеленая туча, приникшая к земле. По вечерам в саду было жутко, и тогда

казалось, что там, в чаше и на пыльных чердаках старого дома, бродит какой-то доживающий, старый и унылый дух.

В верхнем этаже дома пустовали обширные, потемневшие залы и гостиные, во всем саду была прочищена только одна неширокая аллея, украшенная лишь сухими веточками да растоптанными лягушками, и вся теперешняя жизнь, скромная и тихая, ютилась в одном уголке. Там, возле самого дома, желтел посыпанный песок, пестрели кудрявые клумбы, осыпанные разноцветными цветами, стоял зеленый деревянный стол, на котором в хорошую погоду летом пили чай и обедали, и весь этот маленький уголок теплел простою мирной жизнью, не сливаясь с угрюмой красотой обширного запустелого места, предоставленного естественному разрушению и неизбежному исчезновению.

Когда дом скрылся в зелени и вокруг Лиды и Санина встали одни молчаливые, неподвижные и задумчивые, как живые существа, старые деревья, Санин вдруг обнял Лиду за талию и странным, не то ласковым, не то зловещим голосом сказал:

– А ты красавицей выросла!.. Счастлив будет тот мужчина, которого ты первого полюбишь...

Горячая струйка пробежала от его мускулистой, точно железной руки по гибкому и нежному телу Лиды. Она смутилась, вздрогнула и чуть-чуть отшатнулась, точно почувствовав приближение невидимого зверя.

Они уже вышли на самый берег реки, где пахло сыростью и водой, задумчиво раскачивалась островерхая осока и от-

крывался другой берег, с далекими потемневшими полями, глубоким теплым небом и бледными искрами первых звезд.

Санин отошел от Лиды, зачем-то взялся обеими руками за толстый сухой сук дерева и, с треском отломив его, бросил в воду. Всколыхнулись и побежали во все стороны плавные круги, и, точно приветствуя Санина как своего, торопливо закланялась прибережная осока.

II

Было около шести часов. Солнце светило ярко, но от сада уже опять надвигалась мягкая зеленоватая тень. Свет, тишина и тепло чутко стояли в воздухе. Марья Ивановна варила варенье, и под зеленой липой вкусно и крепко пахло кипящим сахаром и малиной.

Санин с самого утра возился над клумбами, стараясь поднять поникшие от зноя и пыли цветы.

– Ты бы бурьян раньше повыдергал, – посоветовала Марья Ивановна, поглядывая на него сквозь синеватую дрожащую дымку жаровни. – Ты прикажи Груньке, она тебе и сделает...

Санин поднял потное и веселое лицо.

– Зачем, – сказал он, встряхивая волосами, прилипшими ко лбу, – пусть себе растет, я всякую зелень люблю.

– Чудак ты! – добродушно пожимая плечами, возразила мать, но почему-то ей было очень приятно то, что он сказал.

– Сами вы все чудаки! – ответил Санин тоном полного убеждения, потом пошел в дом мыть руки, вернулся и сел у стола, удобно и спокойно расположившись в плетеном кресле.

Ему было хорошо, легко и радостно. Зелень, солнце, голубое небо таким ярким лучом входили в его душу, что вся она раскрывалась им навстречу в ощущении полного счастья. Большие города, с их торопливым шумом и суетливой

цепкой жизнью, опротивели ему. Вокруг были солнце и свобода, а будущее не заботило его, потому что он готов был принять от жизни все, что она могла дать ему.

Санин жмурился и потягивался, с глубоким наслаждением вытягивая и напрягая свои здоровые, сильные мускулы.

Веяло тихой и мягкой прохладой, и казалось, что весь сад вздыхает кротко и глубоко. Воробьи чирикали где-то, и близко и далеко, воровато и торопливо переговариваясь о своей маленькой, страшно важной, но никому не понятной жизни; а пестрый фокстерьер Милль, высунув красный язык и подняв одно ухо, снисходительно слушал их из гущи свежей зеленой травы. Листья тихо шелестели над головой, а их круглые тени беззвучно шевелились на ровном песке дорожки.

Марью Ивановну болезненно раздражало спокойствие сына. Как и всех своих детей, она очень любила его, но именно потому у нее кипело сердце и ей хотелось возмутить его, задеть его самолюбие, оскорбить – лишь бы заставить придать цену ее словам и ее понятию о жизни. Каждое мгновение своего долгого существования она, как муравей, зарывшийся в песке, неустанно копошилась над созданием хрупкого, рассыпчатого здания своего домашнего благосостояния. Это скучное, длинное и однообразное здание, похожее и на казарму и на больницу, составлялось из мельчайших кирпичиков, которые ей, как бездарному архитектору, казались украшением жизни, а на самом деле то стесняли, то раздражали, то пугали и всегда заботили ее до тоски. Но все-таки она ду-

мала, что иначе жить нельзя.

– Ну что ж... так и дальше будет? – спросила она, поджав губы и притворно внимательно глядя в таз с вареньем.

– Как дальше? – спросил Санин и чихнул.

Марье Ивановне показалось, что и чихнул он нарочно, чтобы ее обидеть, и хотя это было очевидно нелепо, она обиделась и надулась.

– А хорошо у вас тут! – мечтательно сказал Санин.

– Недурно... – считая нужным сердиться, сдержанно ответила Марья Ивановна, но ей было очень приятно, что сын похвалил дом и сад, с которыми она сжилась, как с родными милыми существами.

Санин посмотрел на нее и задумчиво сказал:

– А если бы вы не приставали ко мне со всякими пустяками, то еще лучше было бы.

Незлобивый голос, которым это было сказано, противоречил обидным словам, и Марья Ивановна не знала, сердиться ей или смеяться.

– Как посмотрю я на тебя, – с досадой сказала она, – и в детстве ты был какой-то ненормальный, а теперь...

– А теперь? – спросил Санин так весело, точно ожидал услышать что-то очень приятное и интересное.

– А теперь и совсем хорош! – колко ответила Марья Ивановна и махнула ложкой.

– Ну тем и лучше! – усмехнулся Санин и, помолчав, прибавил: – А вот и Новиков идет.

От дома шел высокий, красивый и белокурый человек. Его красная шелковая рубаша, плотно обтягивающая немного пухлое, но рослое и красивое тело, ярко вспыхивала красными огоньками под солнечными пятнами, а голубые глаза смотрели ласково и лениво.

– А вы все ссоритесь! – таким же ленивым и ласковым голосом протянул он еще издали. – И о чем, ей-богу!..

– Да вот, мама находит, что мне больше шел бы греческий нос, а я нахожу, что какой есть, и слава Богу!

Санин сбоку посмотрел на свой нос, засмеялся и пожал пухлую широкую ладонь Новикова.

– Ну, еще что! – с досадой отозвалась Марья Ивановна.

Новиков громко и весело засмеялся, и круглое мягкое эхо добродушно захохотало в зеленой чаще, точно кто-то добрый и тихий радовался там его веселью.

– Ну, я са-ам знаю... все о твоей судьбе хлопоты идут!

– Вот, поди ж ты! – с комическим недоумением сказал Санин.

– Ну, так тебе и надо!

– Эге! – вскрикнул Санин. – Если вы за меня в два голоса приметесь, так я и сбежать могу!

– Я сама, кажется, скоро от вас сбегу! – с неожиданной и, больше всего для нее самой, неприятной злобой проговорила Марья Ивановна, рывком дернула таз с жаровни и пошла в дом, не глядя ни на кого. Пестрый Милль выскочил из травы, поднял оба уха и вопросительно посмотрел ей вслед. Потом

почесал носом переднюю лапу, опять внимательно посмотрел на дом и побежал куда-то в глубь сада по своим делам.

– Папиросы у тебя есть? – спросил Санин, очень довольный тем, что мать ушла.

Новиков достал портсигар, лениво изогнув назад свое крупное спокойное тело.

– Напрасно ты ее дразнишь, – с ласковой укоризною протянул он, – женщина она старая...

– Чем я ее дразню?

– Да вот...

– Что ж «вот»?.. Она сама ко мне лезет. Я, брат, никогда от людей ничего не требовал, пусть и они оставят меня в покое...

Они помолчали.

– Ну, как живешь, доктор? – спросил Санин, внимательно следя за изящно-прихотливыми узорами табачного дыма, нежно свивавшегося в чистом воздухе над его головой.

Новиков, думая о другом, ответил не сразу.

– Плохо.

– Что так?

– Да так, вообще... Скучно. Городишко осточертел по самое горло, делать нечего.

– Это тебе-то делать нечего? А сам жаловался, что вздохнуть некогда.

– Я не о том говорю... Нельзя же вечно только лечить да лечить. Есть же и другая жизнь.

– А кто тебе мешает жить и другой жизнью?

– Ну, это вопрос сложный!

– Чем же сложный?.. И чего тебе еще нужно: человек ты молодой, красивый, здоровый.

– Этого, оказывается, мало! – с добродушной иронией возразил Новиков.

– Как тебе сказать, – улыбнулся Санин, – этого, пожалуй, даже много...

– А мне не хватает! – засмеялся Новиков; по смеху его было слышно, что мнение Санина о его красоте, силе и здоровье было ему приятно и что он слегка смущен, точно барышня на смотринах.

– Тебе не хватает одного, – задумчиво сказал Санин.

– Чего же?

– Взгляда настоящего на жизнь... Ты вот тяготишься однообразием своей жизни, а позови тебя кто-нибудь бросить все и пойти куда глаза глядят, ты испугаешься.

– Куда? В босяки? Хм!..

– А хоть бы и в босяки!.. Знаешь, смотрю я на тебя и думаю: вот человек, который при случае способен за какую-нибудь конституцию в Российской империи сесть на всю жизнь в Шлиссельбург, лишиться всяких прав, свободы, всего... А казалось бы, что ему конституция?.. А когда речь идет о том, чтобы перевернуть надоевшую собственную жизнь и пойти искать интереса и смысла на сторону, сейчас же у него возникает вопрос: а чем жить, а не пропаду ли я, здоровый и силь-

ный человек, если лишусь своего жалования, а с ним вместе сливок к утреннему чаю, шелковой рубашки и воротничков?.. Странно, ей-богу!

– Ничего тут странного нет... Там дело идейное, а тут...

– Что тут?

– Да... как бы это выразиться... – Новиков пощелкал пальцами.

– Вот видишь, как ты рассуждаешь! – перебил Санин. – Сейчас у тебя эти подразделения!.. Ведь не поверю же я, что тебя больше гложет тоска по конституции, чем по смыслу и интересу в собственной твоей жизни, а ты...

– Ну это еще вопрос. Может, и больше! Санин с досадой махнул рукой.

– Оставь, пожалуйста! Если тебе будут резать палец, тебе будет больнее, чем если палец будут резать у любого другого русского обывателя... Это факт!

– Или цинизм! – постарался Новиков сказать язвительно, но вышло только смешливо.

– Пусть так. Но это правда. И теперь, хотя не только в России, но и во многих странах света нет не только конституции, но даже и намек на нее, ты тоскуешь потому, что твоя собственная жизнь тебя не ласкает, а вовсе не по конституции! И если будешь говорить другое, то соврешь. И знаешь, что я тебе скажу, – с веселым огоньком в светлых глазах перебил сам себя Санин, – и теперь ты тоскуешь не оттого, что жизнь вообще тебя не удовлетворяет, а оттого, что Лида тебя до сих

пор не полюбила! Ведь правда?

– Ну, это ты уже глупости говоришь! – вскрикнул Новиков, вспыхивая, как его красная рубашка, и на его добрых спокойных глазах выступили слезы самого наивного и искреннего смущения.

– Какие глупости, когда ты из-за Лиды света белого не видишь!.. Да у тебя от головы до пят так и написано одно желание – взять ее. А ты говоришь – глупости!

Новиков странно передернулся и торопливо заходил по аллее. Если бы это говорил не брат Лиды, он, может быть, тоже смутился бы, но ему было так странно слышать именно от Санина такие слова о Лиде, что он даже, но понял его хорошенько.

– Знаешь что, – пробормотал он, – ты или рисуешься, или...

– Что? – улыбаясь, спросил Санин.

Новиков молча пожал плечами, глядя в сторону. Другой вывод заключался в определении Санина как дурного, безнравственного, как понимал это Новиков, человека. Но этого он не мог сказать Санину, потому что всегда, еще с гимназии, чувствовал к нему искреннюю любовь. Выходило так, что ему, Новикову, нравился дрянной человек, а этого, конечно, быть не могло. И оттого в голове Новикова сделалось смутно и неприятно. Напоминание о Лиде было ему больно и стыдно, но так как Лиду он обожал и сам молился на свое большое и глубокое чувство к ней, то не мог сердиться на

Санина за это напоминание: оно было и мучительно, и в то же время жгуче приятно. Точно кто-то горячей рукой взялся за сердце и тихонько пожимал его.

Санин молчал и улыбался, и улыбка у него была внимательная и ласковая.

– Ну придумай определение, а я подожду, – сказал он, – мне не к спеху.

Новиков все ходил по дорожке, и видно было, что он искренно мучится. Прибежал Милль, озабоченно посмотрел вокруг и стал тереться о колени Санина. Он, очевидно, был рад чему-то и хотел, чтобы все знали о его радости.

– Славная ты моя собачка! – сказал Санин, глядя его. Новиков с трудом удерживался, чтобы не заспорить снова, но боялся, чтобы Санин опять не коснулся того, что больше всего на свете его самого интересовало. А между тем все другое, что приходило ему в голову, казалось пустым, неинтересным и мертвым при воспоминании о Лиде.

– А... а где Лидия Петровна? – машинально спросил он именно то, что хотел спросить, но чего спросить не решался.

– Лида? А где ей быть... На бульваре с офицерами гуляет. В это время все барышни у нас на бульваре.

С тоскливым уколом смутной ревности Новиков возразил:

– Лидия Петровна... как она, такая умная, развитая, проводит время с этими чугунолобыми господами...

– Э, друг! – усмехнулся Санин. – Лида молода, красива

и здорова, как и ты... и даже больше, потому что у нее есть то, чего у тебя нет: жадность ко всему!.. Ей хочется все изведать, все перечувствовать... Да вот и она сама... Ты только посмотри на нее и пойми!.. Красота-то какая!

Лида была меньше ростом и гораздо красивее брата. В ней поражали тонкое и обаятельное сплетение изящной нежности и ловкой силы, страстно горделивое выражение затемненных глаз и мягкий звучный голос, которым она гордилась и играла. Она медленно, слегка волнуясь на ходу всем телом, как молодая красивая кобыла, спустилась с крыльца, ловко и уверенно подбирая свое длинное серое платье. Путаясь шпорами и преувеличенно ими позванивая, за нею шли два молодых красивых офицера в блестящих сапогах и туго обтянутых рейтузах.

– Это кто же красота, я? – спросила Лида, наполняя весь сад своею красотой, женской свежестью и звучным голосом. Она протянула Новикову руку и покосилась на брата, к которому все не могла приноровиться и понять, когда он смеется, а когда говорит серьезно.

Новиков крепко пожал ее руку и так густо покраснел, что на глазах у него выступили слезы. Но Лида этого не заметила, она уже давно привыкла чувствовать на себе его робкие благоговеющие взгляды, и они не волновали ее.

– Добрый вечер, Владимир Петрович! – весело и звонко щелкая шпорами и весь изгибаясь, как горячий веселый жеребец, сказал тот офицер, который был старше, светлее во-

лосами и красивее.

Санин уже знал и то, что его фамилия была Зарудин, и то, что он ротмистр, и то, что он настойчиво и упрямо добивается любви Лиды. Другой офицер был поручик Танаров, который считал Зарудина образцом офицера и старался во всем подражать ему. Но он был молчалив, не очень ловок и хуже Зарудина лицом. Танаров так же щелкнул шпорами, но ничего не сказал.

– Ты! – слишком серьезно ответил Санин сестре.

– Конечно, конечно... красота, и прибавь – неопи-санная! – засмеялась Лида и бросилась в кресло, скользнув взглядом по лицу брата. Подняв обе руки к голове, отчего выпукло обрисовалась высокая упругая грудь, она стала откалывать шляпу, упустила в песок длинную, как жало, булавку и запутала в волосах и шпильках вуаль. – Андрей Павлович, помогите!.. – жалобно и кокетливо обратилась она к молчаливому поручику.

– Да, красота! – задумчиво повторил Санин, не спуская с нее глаз.

Лида снова покосилась на него недоверчивым взглядом.

– Все мы здесь красавцы, – сказала она.

– Мы что, – блестя белыми зубами, засмеялся Зарудин, – мы только убогая декорация, на которой еще ярче, еще пышнее обрисовывается ваша красота!

– А вы красноречивы! – удивился Санин, и в его голосе неуловимо прозвучал оттенок насмешки.

– Лидия Петровна хоть кого сделает красноречивым! – заметил молчаливый Танаров, стараясь отцепить шляпку Лиды и дергая ее за волосы, отчего она и сердилась, и смеялась.

– А и вы тоже красноречивы! – удивленно протянул Санин.

– Оставь их, – с удовольствием, неискренно шепнул Новиков. Лида, прищурившись, посмотрела прямо в глаза брату, и по ее потемневшим зрачкам Санин ясно прочел: «Не думай, что я не вижу, кто это такие! Но я так хочу! Это мне весело! Я не глупее тебя и знаю, что делаю!» Санин улыбнулся ей.

Шляпка наконец была отцеплена, и Танаров торжественно перенес ее на стол.

– Ах, какой вы, Андрей Павлович! – мгновенно меняя взгляд, опять жалобно и кокетливо воскликнула Лида. – Вы мне всю прическу испортили... Теперь надо идти в дом...

– Я этого никогда не прощу себе! – смущенно пробормотал Танаров.

Лида встала, подобрала платье и, возбуждающе чувствуя на себе взгляды мужчин, безотчетно смеясь и изгибаясь, избежала на крыльцо.

Когда она ушла, все мужчины почувствовали себя вольнее и как-то сразу опустили и осели, утратив ту нервную напряженность движений, которую все мужчины принимают в присутствии молодой и красивой женщины. Зарудин вынул папиросу и, с наслаждением закуривая, заговорил. Слышно

было, что он говорит только по привычке всегда поддерживать разговор, а думает совсем о другом.

– Сегодня я уговаривал Лидию Петровну бросить все и учиться петь серьезно. С ее голосом карьера обеспечена!

– Нечего сказать, хорошая дорога! – угрюмо и глядя в сторону, возразил Новиков.

– Чем же плохая? – с искренним удивлением спросил Зарудин и даже папиросу опустил.

– Да что такое артистка?.. Та же публичная женщина! – с внезапным раздражением ответил Новиков.

Его мучило и волновало то, что он говорил, потому что говорила в нем ревность, страдающая при мысли, что женщина, тело которой он любит, будет выступать перед другими мужчинами, быть может, в костюмах вызывающих, обнажающих это тело, делающих его еще грешнее, заманчивее.

– Слишком сильно сказано, – приподнял брови Зарудин.

Новиков посмотрел на него с ненавистью: в его представлении Зарудин был именно одним из тех мужчин, которые хотят любимой им женщины, и его мучительно раздражало, что Зарудин красив.

– Ничуть не сильно... Выходить чуть не голой на сцену! Ломаться, изображать сцены сладострастия под взглядами тех, кто завтра уйдет от нее так же, как уходят от публичной женщины, заплатив деньги. Нечего сказать, хорошо!

– Друг мой, – возразил Санин, – каждой женщине приятно, чтобы любовались ее телом, прежде всего.

Новиков досадливо вздернул плечами.

– Что ты за пошлости говоришь!

– Черт их знает, пошлости это или нет, а только это правда. А Лида была бы эффектна на сцене, я бы посмотрел.

Хотя при этих словах у всех шевельнулось инстинктивное жадное любопытство, всем стало неловко. И Зарудин, считая себя умнее и находчивее других, счел своим долгом вывести всех из неловкого положения.

– А что же, по-вашему, женщине делать?.. Замуж выйти?.. На курсы ехать и погубить свой талант?.. Ведь это было бы преступлением против природы, наградившей ее своими лучшими дарами!

– Ух, – с нескрываемой насмешкой сказал Санин, – а ведь и в самом деле! Как это преступление мне самому в голову не пришло!

Новиков злорадно засмеялся, но из приличия возразил Зарудину:

– Почему же преступление: хорошая мать или хороший врач в тысячу раз полезнее всякой актрисы!

– Ну-у! – с негодованием протянул Танаров.

– И неужели вам не скучно все эти глупости говорить? – спросил Санин.

Зарудин поперхнулся начатым возражением, и всем вдруг показалось, что говорить об этом действительно скучно и бесполезно. Но, тем не менее, все обиделись. Стало тихо и совсем скучно.

Лида и Марья Ивановна показались на балконе. Лида слышала последнюю фразу брата, но не поняла, в чем дело.

– Скоро же вы до скуки договорились! – весело заметила она. – Пойдемте к реке. Там хорошо теперь...

И, проходя мимо мужчин, она чуть-чуть потянулась всем телом, и глаза у нее на мгновение стали загадочны и темны, что-то обещающая, что-то говоря.

– Прогуляйтесь до ужина, – сказала Марья Ивановна.

– С наслаждением, – согласился Зарудин, щелкая шпорами и подавая Лиде руку.

– А мне, надеюсь, можно с вами? – стараясь говорить ядовито, отчего у него все лицо приняло плаксивое выражение, спросил Новиков.

– А кто же вам мешает? – через плечо, смеясь, спросила Лида.

– Иди, брат, иди, – посоветовал Санин, – и я бы пошел, если бы, к сожалению, она не была слишком уверена в том, что я ей брат!

Лида странно вздрогнула и насторожилась. Потом быстро окинула брата глазами и засмеялась коротко и нервно. Марью Ивановну покорило.

– Зачем ты эти глупости говоришь? – грубо спросила она, когда Лида ушла. – Оригинальничаете все!..

– И не думаю, – возразил Санин.

Марья Ивановна посмотрела на него с недоумением. Она совершенно не могла понять сына, не знала, когда он шу-

тит, когда говорит серьезно, что думает и чувствует тогда, когда все другие, понятные ей люди думают и чувствуют то же или почти то же, что и она сама. По ее понятиям выходило так, что человек должен чувствовать, говорить и делать всегда то, что говорят и делают все люди, стоящие с ним наравне по образованию, состоянию и социальному положению. Для нее было естественным, что люди должны быть не просто людьми, со всеми индивидуальными особенностями, вложенными в них природой, а людьми, влитыми в известную общую мерку. Окружающая жизнь укрепляла ее в этом понятии: к этому была направлена вся воспитательная деятельность людей, и в этом смысле больше всего отделялись интеллигентные от неинтеллигентных: вторые могли сохранять свою индивидуальность и за это презирались другими, а первые только распадались на группы, соответственно получаемому образованию. Убеждения их всегда отвечали не их личным качествам, а их положению: всякий студент был революционер, всякий чиновник буржуазен, всякий артист свободомыслящ, всякий офицер с преувеличенным понятием о внешнем благородстве, и когда вдруг студент оказывался консерватором или офицер анархистом, то это уже казалось странным, а иногда и неприятным. Санин по своему происхождению и образованию должен был быть совсем не тем, чем был, и как Лида, Новиков и все, кто с ним сталкивался, так и Марья Ивановна смотрела на него с неприятным ощущением обманутого ожидания. С чуткостью матери Ма-

рья Ивановна замечала то впечатление, которое производил сын на всех окружающих, и оно было ей больно.

Санин видел это. Ему очень хотелось успокоить мать, но он не знал, как это сделать. Сначала ему даже пришло в голову притвориться и высказать матери самые успокоительные мысли, но он ничего не мог придумать, засмеялся, встал и ушел в дом. Там он лег на кровать и стал думать о том, что люди хотят весь мир обратить в монастырскую казарму, с одним уставом для всех, уставом, ясно основанным на уничтожении всякой личности и подчинении ее могучей власти какого-то таинственного старчества. Он начал было размышлять над судьбою и ролью христианства, но это показалось ему так скучно, что он незаметно заснул и проспал до глубокого вечера.

Марья Ивановна, проводив его глазами, тяжело вздохнула и задумалась тоже. Думала она о том, что Зарудин явно ухаживает за Лидой, и ей хотелось, чтобы это было серьезно.

«Лидочке уже двадцать лет, – тихо шли ее мысли. – Зарудин, кажется, хороший человек. Говорят, он в этом году получит эскадрон... Только долгов за ним не оберешься! И к чему я этот сон отвратительный видела... Ведь сама знаю, что чепуха, а из головы нейдет!»

Этот сон, который приснился Марье Ивановне в тот самый день, когда Зарудин был у них в доме первый раз, почему-то действительно мучил ее. А снилось ей, что Лида, в белом платье, шла по полю, покрытому травами и цветами.

Марья Ивановна села в кресло, по-старушечьи подперла голову рукой и долго смотрела в постепенно темнеющее небо. Маленькие, но тягучие и докучные мысли ползли у нее в голове, и ей было грустно и страшно чего-то.

III

Когда уже совсем стемнело, вернулись гулявшие. Из глубины сада, мягко затонувшего в темноте, слышались их оживленные, яркие голоса.

Веселая раскрасневшаяся Лида подбежала к Марье Ивановне. От нее пахло раздражающе свежим и молодым запахом реки и красавицы женщины, возбужденной до крайнего напряжения обществом молодых, ей нравящихся, ею возбужденных мужчин.

– Ужинать, мама, ужинать! – затормошила она ласково улыбающуюся ей мать. – А пока Виктор Сергеевич нам споет.

Марья Ивановна пошла распорядиться ужином и, уходя, думала уже о том, что судьба такой интересной, красивой, здоровой и понятной ей девушки, как Лида, не может не быть счастливой.

Зарудин и Танаров ушли в зал, к роялю, а Лида села в стоявшее на балконе кресло-качалку и потянулась гибко и страстно.

Новиков молча ходил по скрипящим доскам балкона, искоса взглядывая на лицо, высокую грудь и вытянутые из-под платья стройные ноги в черных чулках и желтых туфельках, но она не замечала ни его взглядов, ни его самого, вся охваченная могучим и обаятельным ощущением первой страсти. Она совсем закрыла глаза и загадочно улыбалась сама себе.

В душе Новикова была обычная борьба: он любил Лиду, но в ее чувстве не мог разобраться. Иногда ему казалось, что она любит его, иногда – нет. И тогда, когда он думал, что «да», ему казалось вполне возможным, легким и прекрасным, что ее молодое, стройное и чистое тело сладострастно и полно будет принадлежать ему. А когда думал, что «нет», та же мысль казалась ему бесстыдной и гнусной, и тогда он ловил себя на чувственности и называл себя низменным, дрянным человеком, недостойным Лиды. Новиков шагал по доскам и загадывал:

– Если ступлю правой ногой на последнюю доску, то «да» и надо объясниться, а если левой, то...

Ему не хотелось думать, что будет тогда. На последнюю доску он ступил левой ногой, облился холодным потом и сейчас же сказал себе:

– Фу, какие глупости! Точно старая баба... Ну... Раз, два, три... со словом «три» прямо подойду и скажу. Как я скажу?.. Все равно. Ну, раз... два... три... Нет, до трех раз... Раз, два, три... раз, два...

Голова у него горела, во рту пересохло, и сердце колотилось так, что ноги дрожали.

– Да будет вам топтаться! – с досадой сказала Лида, открывая глаза. – Слушать мешаете!

Только теперь Новиков заметил, что Зарудин поет. Молодой офицер пел старинный романс:

Я вас любил, любовь моя, быть может,
В моей груди угасла не совсем...

Пел он недурно, но так, как поют люди малоразвитые: заменяя выражение криком и замиранием голоса. И пение Зарудина показалось чрезвычайно неприятным Новикову.

– Это что же, собственного сочинения? – спросил он с непривычным чувством злобы и раздражения.

– Нет... Не мешайте! Сидите смирно! – капризно приказала Лида. – Если музыку не любите, так на луну смотрите.

Совершенно круглая и еще красная луна действительно медленно и таинственно выглянула из-за черных верхушек сада. Ее легкий неуловимый свет заскользил по ступенькам, по платью Лиды и по ее улыбающемуся собственным мыслям лицу. Тени в саду сгустились и стали черными и глубокими, как в лесу.

Новиков вздохнул.

– Лучше уж на вас, – неловко сказал он и подумал: «Какие я пошлости способен говорить!»

Лида засмеялась.

– Фу, какой дубовый комплимент!

– Я не умею комплиментов говорить, – угрюмо возразил Новиков.

– Да замолчите... слушайте же! – досадливо дернула плечами Лида.

Но пусть она вас больше не тревожит,

Я не хочу печалить вас ничем!..

Звуки рояля звонкими кристальными всплесками отдавались в зеленом сыром саду. Лунный свет все ясел, а тени становились все глубже и черней. Внизу, по траве, тихо прошел Санин, сел под липой, хотел закурить папиросу, но раздумал и сидел неподвижно, точно зачарованный тишиной вечера, которую не нарушали, а как-то дополняли звуки рояля и молодого страстно поющего голоса.

– Лидия Петровна! – вдруг выпалил Новиков, как будто сразу стало очевидно, что нельзя потерять этого момента.

– Что? – машинально спросила Лида, глядя в сад, на луну и на черные веточки, чеканящиеся на ее круглом ярком диске.

– Я уже давно жду... хочу поговорить... – срывающимся голосом продолжал Новиков.

Санин повел головой и прислушался.

– О чем? – рассеянно переспросила Лида.

Зарудин кончил один, помолчал и запел другой романс. Он думал, что у него редкостно красивый голос, и любил петь.

Новиков почувствовал, что краснеет и бледнеет пятнами и что ему нехорошо до головокружения.

– Я, видите ли... Лидия Петровна... хотите быть моей... женой... – заплетаясь языком и чувствуя, что совсем это не так говорится и не то чувствуется в такие минуты, и еще

прежде, чем он договорил, как-то само собой стало ясно, что «нет» и что сейчас произойдет что-то постыдное, глупое, непереносимо смешное.

Лида машинально переспросила:

– Чьей? – и вдруг вспыхнула, встала, хотела что-то сказать, но не сказала и в замешательстве отвернулась. Луна смотрела прямо на нее.

– Я вас люблю... – продолжал мямлить Новиков, чувствуя, что луна перестала светить, что в саду душно и все валится куда-то в безнадежную ужасную пропасть. – Я... говорить не умею, но это глупости, и... я очень вас люблю...

«При чем тут очень... точно я о сливочном мороженом говорю»... – вдруг подумал он и замолчал.

Лида нервно дергала листик, попавший ей в руки. Она растерялась, потому что это было совершенно неожиданно, не нужно и создавало печальную, непоправимую неловкость между нею и Новиковым, к которому она издавна привыкла почти как к родному и которого немного любила.

– Я не знаю, право... Я не думала вовсе...

Новиков почувствовал, как с тупой болью упало куда-то вниз его сердце, побледнел, встал и взял фуражку.

– До свиданья! – сказал он, сам не слыша своего голоса. Губы у него странно кривились в нелепую и неуместную дрожащую улыбку.

– Куда же вы? До свиданья! – растерянно отвечала Лида, протягивая руку и стараясь беспечно улыбаться.

Новиков быстро пожал ей руку и, не надевая фуражки, крупными шагами пошел прямо по росистой траве в сад. Зайдя в первую тень, он вдруг остановился и с силой схватил себя за волосы.

– Боже мой, Боже... за что я такой несчастный!.. Застрелиться... Все это пустяки, а застрелиться... – вихрем и бессвязно пронеслось у него в голове, и он почувствовал себя самым несчастным, опозоренным и смешным человеком в мире.

Санин хотел было его окликнуть, но раздумал и улыбнулся. Ему было смешно, что Новиков дергает себя за волосы и чуть ли даже не плачет оттого, что женщина, лицо которой, плечи, груди и ноги нравились ему, не хочет отдаться.

И еще Санину было приятно, что красивая сестра не любит Новикова.

Лида несколько минут неподвижно простояла на том же месте, и Санин с острым любопытством следил за ее смутно озаренным луною белым силуэтом.

Из уже освещенных лампой желтых дверей дома вышел на балкон Зарудин, и Санину ясно было слышно осторожное позвякивание его шпор. В зале Танаров тихо и грустно играл старый вальс, с расплывающимися кругообразными томными звуками.

Зарудин тихо подошел к Лиде и мягким ловким движением обнял ее за талию, и Санину было видно, как два силуэта легко слились в один, странно колеблющийся в лунном

тумане.

– О чем вы так задумались? – тихо шепнул Зарудин, трогая губами ее маленькое свежее ухо и блестя глазами.

У Лиды сладко и жутко поплыла голова. Как и всегда, когда она обнималась с Зарудиным, ее охватило странное чувство: она знала, что Зарудин бесконечно ниже ее по уму и развитию, что она никогда не может быть подчинена ему; но в то же время было приятно и жутко позволять эти прикосновения сильному, большому, красивому мужчине, как будто заглядывая в бездонную, таинственную пропасть с дерзкой мыслью: а вдруг возьму и брошусь... захочу и брошусь!

– Увидят... – чуть слышно прошептала она, не прижимаясь и не отдаляясь и еще больше дразня и возбуждая его этой отдающейся пассивностью.

– Одно слово, – еще прижимаясь к ней и весь заливаясь горячей возбужденной кровью, продолжал Зарудин, – придете?

Лида дрожала. Этот вопрос он предлагал ей уже не в первый раз, и всегда в ней что-то начинало томиться и дрожать, делая ее слабой и безвольной.

– Зачем? – глухо спросила она, глядя на луну широко открытыми и налитыми какой-то влагой глазами.

Зарудин не мог и не хотел ответить ей правды, хотя, как все легко сходящиеся с женщинами мужчины, в глубине души был уверен, что Лида и сама хочет, знает и только боится.

– Зачем... Да посмотреть на вас свободно, перекинуться

словом. Ведь это пытка... вы меня мучите... Лидия... придете? – страстно придавливая к своим дрожащим ногам ее выпуклое, упругое и теплое бедро, повторил он.

И от соприкосновения их ног, жгучего, как раскаленное железо, еще гуще поднялся вокруг теплый, душный, как сон, туман. Все гибкое, нежное и стройное тело Лиды замирало, изгибалось и тянулось к нему. Ей было мучительно хорошо и страшно. Вокруг все странно и непонятно изменилось: луна была не луна и смотрела близко-близко, через переплет террасы, точно висела над самой ярко освещенной лужайкой; сад, не тот, который она знала, а какой-то другой, темный и таинственный, придвинулся и стал вокруг. Голова медленно и тягуче кружилась. Изгибаясь со странной ленью, она освободилась у него из рук и сразу пересохшими, воспаленными губами с трудом прошептала:

– Хорошо...

И, пошатываясь, через силу ушла в дом, чувствуя, как что-то страшное, неизбежное и привлекательное тянет ее куда-то в бездну.

– Это глупости... это не то... я только шучу... Просто мне любопытно, забавно... – старалась она уверить себя, стоя в своей комнате перед темным зеркалом и видя только свой черный силуэт на отражающейся в нем освещенной двери в столовую. Она медленно подняла обе руки к голове, заломила их и страстно потянулась, следя за движениями своей гибкой тонкой талии и широких выпуклых бедер.

Зарудин, оставшись один, вздрогнул на красивых, плотно обтянутых ногах, потянулся, страстно зажмурившись, и, скаля зубы под светлыми усами, повел плечами. Он был привычно счастлив и чувствовал, что впереди ему предстоит еще больше счастья и наслаждения. Лида в момент, когда она отдастся ему, рисовалась так жгуче и необыкновенно сладострастно хороша, что ему было физически больно от страсти.

Сначала, когда он начал за ней ухаживать, и даже тогда, когда она уже позволила ему обнять и поцеловать себя, Зарудин все-таки боялся ее. В ее потемневших глазах было что-то незнакомое и непонятное ему, как будто, позволяя ласкать себя, она втайне презирала его. Она казалась ему такой умной, такой непохожей на всех тех девушек и женщин, лаская которых, он горделиво сознавал свое превосходство, такой гордой, что, обнимая ее, он замирал, точно ожидая получить пощечину, и как-то боялся думать о полном обладании ею. Иногда казалось, будто она играет им и его положение просто глупо и смешно. Но после сегодняшнего обещания, данного знакомым Зарудину по другим женщинам странным, срывающимся и безвольным голосом, он вдруг неожиданно почувствовал свою силу и внезапную близость цели и понял, что уже не может быть иначе, чем так, как хочет он. И к сладкому томительному чувству сладострастного ожидания тонко и бессознательно стал примешиваться оттенок злорадности, что эта гордая, умная, чистая и начитанная девушка бу-

дет лежать под ним, как и всякая другая, и он так же будет делать с нею что захочет, как и со всеми другими. И острая жестокая мысль стала смутно представлять ему вычурно унижающие сладострастные сцены, в которых голое тело, распущенные волосы и умные глаза Лиды сплетались в какую-то дикую вакханалию сладострастной жестокости. Он вдруг ясно увидел ее на полу, услышал свист хлыста, увидел розовую полосу на голом нежном покорном теле и, вздрогнув, пошатнулся от удара крови в голову. Золотые круги сверкнули у него в глазах.

Было даже физически невыносимо думать об этом. Зарудин дрожащими пальцами закурил папиросу, еще раз дрогнул на сильных ногах и пошел в комнаты.

Санин, который не слышал, но увидел и понял все, с чувством, похожим на ревность, пошел за ним.

«И везет же вот таким животным! – подумал он. – Черт знает что такое! Лида и он!»

Ужинали в комнатах. Марья Ивановна была не в духе. Тараров по обыкновению молчал и мечтал о том, как было бы хорошо, если бы он был такой, как Зарудин, и его любила такая девушка, как Лида. И ему казалось, что он любил бы ее не так, как Зарудин, не способный оценить такое счастье. Лида была бледна, молчалива и не смотрела ни на кого. Зарудин был весел и насторожен, как зверь на охоте, а Санин, как всегда, зевал, ел, пил много водки и нестерпимо, по-видимому, хотел спать. Но это не помешало ему после ужина

заявить, что спать он не хочет и, в виде прогулки, пойдет проводить Зарудина.

Была уже совсем ночь, и луна плыла высоко. Санин и Зарудин, почти молча, дошли до квартиры офицера. Санин всю дорогу посматривал на офицера и думал, не треснуть ли его по физиономии.

– Н-да, – заговорил он уже возле самого дома, – много есть на свете всякого сорта мерзавцев!

– То есть? – вопросительно и удивленно произнес Зарудин, высоко поднимая брови.

– Да так, вообще... А мерзавцы – самые занимательные люди...

– Что вы! – усмехнулся Зарудин.

– Конечно. На свете нет ничего скучнее честного человека... Что такое честный человек? Программа честности и добродетели давно всем известна, и в ней не может быть ничего нового... От этого старья в человеке исчезает всякое разнообразие, жизнь сводится в одну рамку добродетели, скучную и узкую. Не кради, не лги, не предай, не прелюбы сотвори... И главное, что все это в человеке сидит прочно: всякий человек и лжет, и предает, и «прелюбы» это самое творит по мере сил...

– Не всякий же! – снисходительно заметил Зарудин.

– Нет, всякий. Стоит только вдуматься в жизнь каждого человека, чтобы найти в ней, более или менее глубоко, грех... Предательство, например. В ту минуту, как мы отда-

ем Кесарево Кесарю, ложимся спокойно спать, садимся обедать, мы совершаем предательство...

– Что вы говорите! – невольно воскликнул Зарудин почти с возмущением.

– Конечно. Мы платим подати и отбываем повинности, значит, мы предаем тысячи людей той самой войне и несправедливости, которыми возмущаемся. Мы ложимся спать, а не бежим спасать тех, кто в ту минуту погибает за нас, за наши идеи... мы съедаем лишний кусок, предавая голоду тех людей, о благе которых мы, если мы добродетельные люди, должны были пещись всю жизнь. И так далее. Это понятно!.. Другое дело мерзавец, настоящий откровенный мерзавец! Прежде всего, это человек совершенно искренний и естественный...

– Естественный?!

– Всенепременно. Он делает то, что для человека совершенно естественно. Он видит вещь, которая ему не принадлежит, но которая хороша, он ее берет: видит прекрасную женщину, которая ему не отдается, он ее возьмет силой или обманом. И это вполне естественно, потому что потребность и понимание наслаждений и есть одна из немногих черт, которыми естественный человек отличается от животного. Животные, чем больше они – животные, не понимают наслаждений и не способны их добиваться. Они только отправляют потребности. Мы все согласны с тем, что человек не создан для страданий и не страдания же идеал человеческих

стремлений...

– Разумеется, – согласился Зарудин.

– Значит, в наслаждениях и есть цель жизни. Рай – синоним наслаждения абсолютного, и все так или иначе мечтают о рае на земле. И рай первоначально, говорят, и был на земле. Эта сказка о рае вовсе не вздор, а символ и мечта.

– Да, – заговорил, помолчав, Санин, – человеку от природы не свойственно воздержание, и самые искренние люди – это люди, не скрывающие своих вожделений... то есть те, которых в общежитии называют мерзавцами... Вот, например, вы...

Зарудин вздрогнул и отшатнулся.

– Вы, конечно, – продолжал Санин, притворяясь, что не замечает ничего, – самый лучший человек на свете. По крайней мере в своих глазах. Ну, признайтесь, встречали ли вы когда-нибудь человека лучше вас?

– Много... – нерешительно ответил Зарудин, который уже совершенно не понимал Санина и которому было решительно неизвестно, уместно ли теперь обидеться или нет.

– Назовите, – предложил Санин. Зарудин недоумевающе пожал плечами.

– Ну вот, – весело подхватил Санин, – вы самый лучший человек, и я, конечно, самый лучший, а разве нам с вами не хочется красть, лгать и «прелюбы» сотворить... прежде всего «прелюбы»?

Зарудин пожал плечами опять.

– Ори-ги-нально, – пробормотал он.

– Вы думаете? – с неуловимым оттенком обидного спросил Санин. – А я и не думал... Да, мерзавцы – самые искренние люди, притом и самые интересные, ибо пределов и границ человеческой мерзости даже и представить себе нельзя... Я мерзавцу с особенным удовольствием пожму руку.

Санин с необыкновенно открытым видом пожал руку Зарудину, глядя ему прямо в глаза, потом вдруг насупился и, уже совсем другим тоном пробормотав: «Прощайте, покойной ночи!» – ушел.

Зарудин несколько минут неподвижно простоял на месте, глядя вслед уходившему Санину. Он не знал, как принять слова Санина, и на душе у него было смутно и неприятно. Но сейчас же он вспомнил Лиду, усмехаясь, подумал, что Санин – брат Лиды, что он, в сущности, прав, и почувствовал к нему братскую приязнь и дружбу.

– Занимательный парень, черт возьми! – подумал он самодовольно, точно Санин тоже до некоторой степени уже принадлежал ему. Потом он отворил калитку и через освещенный луною двор пошел к своему флигелю.

Санин вернулся домой, разделся, лег, укрылся, хотел читать «Так говорит Заратустра», которого нашел у Лиды, но с первых страниц ему стало досадно и скучно. Напыщенные образы не трогали его души. Он плюнул и, бросив книгу, ментально заснул.

IV

К жившему в том же городе отставному полковнику и помещику Николаю Егоровичу Сварожичу приехал его сын, студент-технолог.

Он был выслан из Москвы под надзор полиции, как подозреваемый в участии в революционной организации. О том, что он арестован, просидел в тюрьме полгода и выслан из столицы, Юрий Сварожич еще раньше известил своих родных письмами, и его приезд не был для них неожиданностью. Хотя Николай Егорович был других убеждений, видел в поступках сына мальчишеское безумие и был страшно опечален его историей, но он его любил и принял ласково, стараясь избегать разговоров на щекотливую тему.

Юрий ехал два дня в вагоне третьего класса, где нельзя было спать от духоты, дурного запаха и рева младенцев. Он очень устал и, едва поздоровавшись с отцом и сестрой Людмилой, которую все в городе называли просто Лялей, как она сама окрестила себя в детстве, лег спать в комнате Ляли на ее кровати.

Проснулся он уже к вечеру, когда солнце садилось и его косые лучи красными пятнами чертили на стене силуэт окна. В соседней комнате стучали ложками и стаканами, слышался веселый смех Ляли и незнакомый Юрию приятный, барский мужской голос.

Сначала Юрию показалось, что он все еще едет в вагоне, который позвякивает буферами и оконными стеклами, и слышит в соседнем отделении голоса незнакомых ему пассажиров. Но сейчас же он опомнился, быстро приподнялся и сел на кровати.

– Да, – протянул он, сморщившись и ероша свои черные, густые и упрямые волосы. – Вот я и приехал!

И он стал думать, что ему не стоило сюда приезжать. Ему предоставлялось право выбора местожительства. Почему он поехал именно домой, Юрий не отдавал себе отчета. Он думал и хотел думать, что сказал первое, что пришло в голову, но это было не так: Юрий всю жизнь жил не собственным трудом, а помощью отца, и ему было страшно очутиться одному, без поддержки, в незнакомом месте, среди чужих людей. Он стыдился этого чувства и не признавался в нем даже самому себе. Но теперь он подумал, что сделал нехорошо. Родные не могли понять и одобрить его истории, это было ясно; к этому должен был примешаться и материальный интерес, – лишние годы сидения на шее у отца, – и все вместе делало то, что хороших, искренних и согласных отношений у них быть не могло. И, кроме того, в этом маленьком городке, в котором он не был уже два года, должно было быть очень скучно. Всех жителей маленьких уездных городов Юрий огулом считал мещанами, неспособными не только понимать, но даже интересоваться теми вопросами философии и политики, которые Юрий считал единственным смыслом и инте-

ресом жизни.

Юрий встал, подошел к окну, отворил его и высунулся в палисадник, разбитый под стенами дома. Весь он был покрыт красными, голубыми, желтыми, лиловыми и белыми цветами, пересыпанными, как в калейдоскопе. За палисадником темнел густой сад, сбегавший, как и все сады в этом заросшем и речном городке, к реке, которая бледным стеклом поблескивала внизу между деревьями. Вечер был тихий и прозрачный.

Юрию стало грустно. Он слишком много жил в больших каменных городах, и хотя всегда думал, что любит природу, она оставалась для него пустынной и не смягчала его чувств, не успокаивала, не радовала его, а возбуждала в нем непонятную, мечтательную, болезненную грусть.

– А... Ты уже встал, пора! – сказала Ляля, входя в комнату. Юрий отошел от окна.

Тяжелое чувство от сознания своего обособленного и неопределенного положения и тихая грусть, возбужденная умиранием дня, сделали то, что Юрию было неприятно видеть свою сестру веселой и слышать ее звонкий, беззаботный голос.

– Тебе весело? – неожиданно для самого себя спросил он.

– Вот тебе и на! – воскликнула Ляля, делая большие глаза, но сейчас же рассмеялась еще веселее, точно вопрос брата напомнил ей что-то очень забавное и радостное. – Что это тебе вздумалось справляться о моем веселье... Я никогда не

скупаю... Некогда.

И, принимая серьезный вид и, видимо, гордясь тем, что говорит, она прибавила:

– Такое интересное теперь время, что прямо грех скучать!.. Я теперь занимаюсь с рабочими, а потом много времени отнимает библиотека... Без тебя мы здесь народную библиотеку устроили. И хорошо пошла!

В другое время это было бы интересно Юрию и возбудило бы его внимание, но теперь что-то мешало ему.

Ляля делала серьезно лицо и забавно, как ребенок, ждала одобрения, а потому Юрий сделал над собою усилие и сказал:

– Вот как!

– Где же мне еще скучать! – довольно протянула Ляля.

– А вот мне все скучно, – опять невольно возразил Юрий.

– Любезно, нечего сказать! – шутя, возмутилась Ляля. –

Всего несколько часов дома... да и те проспал, а уже скучает!

– Ничего не поделаешь, это от Бога! – с легким оттенком самодовольства возразил Юрий. Ему казалось, что скучать лучше и умнее, чем веселиться.

– От Бога, от Бога! – притворно дуясь, пропела Ляля и замахнулась на него рукой:

– У-у!..

Юрий не замечал, что ему уже весело. Звонкий голос и жизнерадостность Ляли быстро и легко разогнали тяжелое чувство, которое он считал серьезным и глубоким. И Ляля

бессознательно не верила в его тоску, а потому несколько не обиделась его заявлением.

Юрий, улыбаясь, смотрел ей в лицо и говорил:

– Мне никогда не бывает весело!

Ляля смеялась, точно он сообщал ей что-то очень забавное и веселое.

– Ну ладно, рыцарь печального образа! Никогда, так и никогда. Пойдем лучше, я представлю тебе одного молодого человека... приятной наружности... Идем!

Ляля, смеясь, тянула брата за руку.

– Постой, что же это за приятный молодой человек?

– Мой жених! – звонко и весело выкрикнула Ляля прямо в лицо Юрию и в восторге от смущения и радости закружилась по комнате, раздувая платье.

Юрий и раньше из писем отца и самой Ляли знал, что молодой доктор, недавно приехавший в их город, ухаживает за Лялей, но не знал еще, что это дело решено.

– Вот как! – протянул он удивленно, и ему было странно, что эта маленькая, такая чистенькая и свеженькая Ляля, которую он все еще считал полудевочкой, уже имеет жениха и скоро выйдет замуж, сделается женщиной, женой... Он почувствовал к сестре нежность и неопределенную тихую жалость.

Юрий обнял Лялю за талию и пошел с ней вместе в столовую, где уже горела лампа, блеснул большой, ярко начищенный самовар и сидели Николай Егорович и незнакомый,

плотный, но молодой человек нерусского типа, со смуглым лицом и быстрыми любопытными глазами.

Он развязно, любезно и спокойно поднялся навстречу Юрию.

– Ну, познакомимся...

– Анатолий Павлович Рязанцев, – комически торжественно провозгласила Ляля, забавно вывертывая руку ладонью вверх.

– Прошу любить и жаловать, – так же шутя прибавил Рязанцев.

Они с искренним желанием приязни пожали руки и одну секунду думали почему-то поцеловаться, но не поцеловались и только дружелюбно и внимательно поглядели в глаза друг другу.

– Вот какой у нее брат! – с удивлением подумал Рязанцев, ожидавший, что у бойкой, белокурой и цветущей маленькой Ляли брат должен быть такой же светлый и жизнерадостный. А Юрий был высок, худ и черен, хотя так же красив, как и Ляля, и даже похож на нее тонкими правильными чертами лица.

Юрий же, глядя на Рязанцева, подумал, что вот тот самый человек, который в маленькой, чистенькой и свеженькой, как весеннее утро, девочке Ляле полюбил женщину. Полюбил, конечно, совершенно так же, как и сам Юрий любил женщин. И почему-то это было неприятно, и неловко было смотреть на Рязанцева и Лялю, точно те могли догадаться об его

мыслях.

Они чувствовали, что многое и важное должны сказать друг другу. Юрию хотелось спросить:

– Вы любите Лялю?.. Чисто ли, серьезно ли?.. Ведь жалко, гадко будет, если вы ее обманываете... Она такая чистая, невинная!

А Рязанцеву ответить:

– Да, я очень люблю вашу сестру, да ее и нельзя не любить: посмотрите, какая она чистенькая, свеженькая, хорошенькая, как мило она меня любит и какой у нее милый вырез возле шеи...

Но вместо этого Юрий не сказал ничего, а Рязанцев спросил:

– Вы высланы надолго?

– На пять лет, – ответил Юрий.

Николай Егорович, ходивший по комнате, на мгновение задержался, но справился и продолжал ходить чересчур правильными и размеренными шагами старого военного. Он еще не знал подробностей высылки сына, и это неожиданное известие кинулось ему в голову.

«Черт знает что такое!» – мысленно вспыхнул он.

Ляля поняла это движение отца и испугалась. Она боялась всяких ссор, споров и неприятностей и попыталась перевести разговор.

– Какая я глупая, – мысленно укорила она себя, – как не догадаться предупредить Толю.

Но Рязанцев не знал сути дела и, ответив на вопрос Ляли, хочет ли он чаю, опять стал расспрашивать Юрия:

– Что же вы теперь намерены делать?

Николай Егорович хмурился и молчал. И вдруг Юрий почувствовал его молчание, и, прежде чем успел сообразить последствия, в нем закипело раздражение и упрямство. Он нарочно ответил:

– Ничего пока...

– Как так ничего? – останавливаясь, спросил Николай Егорович. Голоса он не повысил, но в звуках его ясно послышался затаенный укор.

«Как ты можешь говорить „ничего“, как у тебя хватает совести говорить это, точно я обязан держать тебя на своей шее!.. Как ты смеешь забывать, что я стар, что тебе давно пора самому хлеб зарабатывать? Я ничего не говорю, живи, но как ты сам этого не понимаешь!» – сказал этот тон.

И тем острее чувствуя его, потому что сознавал за отцом право так думать, Юрий, тем не менее, оскорбился всем существом своим.

– Да так, ничего... что же мне делать? – вызывающе ответил он.

Николай Егорович хотел сказать что-то резкое, но промолчал и, только пожав плечами, опять стал ходить из угла в угол тяжелыми, размеренными на три темпа шагами. Джентльменское воспитание не позволило ему раздражиться в первый же день приезда сына.

Юрий следил за ним блестящими глазами и уже не мог сдерживаться, весь оцетинившись и насторожившись, чтобы вцепиться в малейший повод. Он прекрасно сознавал, что сам вызывает ссору, но уже не мог владеть своим упрямством и раздражением.

Ляля чуть не плакала и растерянно переводила умоляющие глаза с брата на отца. Рязанцев, наконец, понял, и ему стало жаль Лялю. Он поспешно и не очень ловко перевел разговор на другую тему.

Вечер прошел скучно и натянуто. Юрий не мог считать себя виноватым, потому что не мог согласиться, что политическая борьба не его дело, как думал Николай Егорович. Ему казалось, что отец не понимает самой простой вещи, потому что стар и неразвит, и он бессознательно чувствовал его виновным в своей старости и неразвитости и злился. Разговоры, которые поднимал Рязанцев, его не занимали, и, слушая вполуха, он все так же напряженно и злобно следил за отцом своими черными блестящими глазами.

К самому ужину пришли Новиков, Иванов и Семенов.

Семенов был большой чахоткою университетский студент, уже несколько месяцев живший в этом городе на уроки. Он был очень некрасив, худ и слаб, и на его преждевременно состарившемся лице неуловимо, но жутко лежала тонкая тень близкой смерти. Иванов был народный учитель, длинноволосый, широкоплечий и нескладный человек.

Они вместе гуляли на бульваре и, узнав о приезде Юрия,

зашли поздороваться.

С их приходом все оживилось. Начались остроты, шутки и смех. За ужином все выпили, и Иванов больше всех.

За те несколько дней, которые прошли со времени его неудачного объяснения с Лидой Саниной, Новиков немного успокоился. Ему стало казаться, что отказ был случайным, что он сам виноват в нем, не подготовив Лиду. Но все-таки ему было мучительно стыдно и неловко ходить к Саниным. Поэтому он старался видаться с Лидой не у них, а будто случайно встречаясь с нею то у знакомых, то на улице. И оттого, что Лида, жалевшая его и чувствовавшая себя как будто виноватой, была с ним преувеличенно ласкова и внимательна, Новиков опять стал надеяться.

– Вот что, господа, – сказал он, когда они уже уходили, – давайте-ка устроим пикник в монастыре... А?

Загородный монастырь был обычным местом прогулок, потому что стоял на горе, в красивом привольном и речном месте, недалеко от города, и дорога туда была хороша.

Ляля, больше всего на свете любившая всякий шум, прогулки, купанье, катанье на лодке и беготню по лесу, с увлечением ухватилась за эту мысль.

– Непременно, непременно... А когда?

– Да хоть и завтра! – ответил Новиков.

– А кого же мы пригласим еще? – спросил Рязанцев, которому тоже понравилась мысль о прогулке. В лесу можно было целоваться, обниматься и быть в раздражающей близости

к телу Ляли, которое остро дразнило его своей свежестью и чистотой.

– Да кого... Вот нас... шестеро. Позовем Шафрова.

– Это кто же такой? – спросил Юрий.

– Юный студиозус один тут есть такой.

– Ну... а Людмила Николаевна пригласит Карсавину и Ольгу Ивановну.

– Кого? – опять переспросил Юрий. Ляля засмеялась.

– Увидишь! – сказала она и загадочно выразительно поцеловала кончики пальцев.

– Вот как, – улыбнулся Юрий, – посмотрим, посмотрим...

Новиков помялся и неестественно равнодушно прибавил:

– Саниных можно позвать.

– Лиду непременно! – воскликнула Ляля не столько потому, что ей нравилась Санина, сколько потому, что знала о любви Новикова и хотела сделать ему приятное. Она была очень счастлива своей любовью, и ей хотелось, чтобы и все вокруг были так же счастливы и довольны.

– Только тогда придется и офицеров звать, – язвительно вставил Иванов.

– Что ж, позовем... чем больше народу, там лучше. Все вышли на крыльцо.

Луна светила ярко и ровно. Было тепло и тихо.

– Ну ночь, – сказала Ляля, незаметно прижимаясь к Рязанцеву.

Ей не хотелось, чтобы он уходил. Рязанцев крепко прижал

ее круглую теплую ручку локтем.

– Да, ночь чудная! – сказал он, придавая этим простым словам особенный, только им двоим понятный смысл.

– Да будет ей благо, – басом отозвался Иванов, – а я спать желаю. Покойной ночи, синьоры!

И он зашагал по улице, размахивая руками, как мельница крыльями.

Потом ушли Новиков и Семенов. Рязанцев долго прощался с Лялей под предлогом совещания о пикнике.

– Ну, бай, бай, – шутя, сказала Ляля, когда он ушел, потянулась и вздохнула, с сожалением покидая лунный свет, теплый ночной воздух и то, к чему они звали ее молодое, цветущее тело.

Юрий подумал, что отец еще не спит и что если они останутся вдвоем, то неприятное и ни к чему не ведущее объяснение будет неизбежным.

– Нет, – сказал он, глядя в сторону, на голубоватый туман, тянувшийся пеленой за черным забором над рекой, – я еще не хочу спать... Пойду пройдуся.

– Как хочешь, – отозвалась Ляля тихим и странно нежным голосом. Она еще раз потянулась, зажмурилась, как кошечка, улыбнулась куда-то навстречу лунному свету и ушла. Юрий остался один. С минуту он неподвижно стоял и смотрел на черные тени домов и деревьев, казавшиеся глубокими и холодными, потом встрепенулся и пошел в ту сторону, куда медленно ушел Семенов.

Больной студент не успел уйти далеко. Он шел тихо, согнувшись и глухо покашливая, и его черная тень бежала за ним по светлой земле. Юрий его догнал и сразу заметил происшедшую в нем перемену: во все время ужина Семенов шутил и смеялся едва ли не больше всех, а теперь он шел грустно, понуро, и в его глухом покашливании слышалось что-то грозное, печальное и безнадежное, как та болезнь, которою он был болен.

– А, это вы! – рассеянно и, как показалось Юрию, недоброжелательно сказал он.

– Что-то спать не хочется. Вот, провожу вас, – пояснил Юрий.

– Проводите, – равнодушно согласился Семенов.

Они долго шли молча. Семенов все покашливал и горбился.

– Вам не холодно? – спросил Юрий, так только, потому что его начинало тяготить это унылое покашливание.

– Мне всегда холодно, – как будто с досадой возразил Семенов.

Юрию стало неловко, точно он нечаянно коснулся больного места.

– Вы давно из университета? – опять спросил он. Семенов ответил не сразу.

– Давно, – сказал он.

Юрий начал рассказывать о студенческих настроениях, о том, что среди студентов считалось самым важным и совре-

менным. Сначала он говорил просто, но потом увлекся, оживился и стал говорить с выражением и горячностью.

Семенов слушал и молчал.

Потом Юрий незаметно перешел к упадку революционного настроения среди масс. И видно было, что он искренно страдает о том, что говорит.

– Вы читали последнюю речь Бебеля? – спросил он.

– Читал, – ответил Семенов.

– Ну и что?

Семенов вдруг с раздражением махнул своей палкой с большим крючком. Его тень так же махнула своей черной рукой, и это движение ее напомнило Юрию зловещий взмах крыла какой-то черной хищной птицы.

– Что я вам скажу, – торопливо и сбивчиво заговорил Семенов, – я скажу, что я вот умираю...

И опять он махнул палкой, и опять черная тень хищно повторила его движение. На этот раз и Семенов заметил ее.

– Вот, – сказал он горько, – у меня за спиной смерть стоит и каждое мое движение стережет... Что мне Бебель!.. Болтун болтает, другой будет болтать другое, а мне все равно не сегодня-завтра умирать.

Юрий смущенно молчал, и ему было грустно, тяжело и обидно на кого-то за то, что он слышал.

– Вот вы думаете, что все это очень важно... то, что случилось в университете и что сказал Бебель... А я думаю, что когда вам, как мне, придется умирать и знать наверное, что

умираешь, так вам и в голову не придет думать, что слова Бебеля, Ницше, Толстого или кого еще там... имеют какой-либо смысл!

Семенов замолчал.

Месяц по-прежнему светил ярко и ровно, и черная тень неотступно шла за ними.

– Организм разрушается... – вдруг произнес Семенов своим другим, слабым и жалким голосом.

– Если бы вы знали, как не хочется умирать... Особенно в такую ясную теплую ночь!.. – с жалобной тоской заговорил он, поворачивая к Юрию свое некрасивое, обтянутое кожей лицо, с ненормально блестящими глазами. – Все живет, а я умираю... Вот, вам кажется – и должна казаться – избитой эта фраза... А я умираю. Не в романе, не на страницах, написанных «с художественной правдой», а на самом деле умираю, и она не кажется мне избитой... Когда-нибудь и вам не будет казаться... Умираю, умираю, и все тут!

Семенов закашлялся.

– Я вот иногда начну думать о том, что скоро я буду в полной темноте, в холодной земле, с провалившимся носом и отгнившими руками, а на земле все будет совершенно так же, как и сейчас, когда я иду живой. Вы вот еще будете живы... Будете ходить, смотреть на эту луну, дышать, пройдете мимо моей могилы и остановитесь над нею по своей надобности, а я буду лежать и отвратительно гнить. Что мне Бебель, Толстой и миллионы других кривляющихся ослов! –

вдруг со злобой резко выкрикнул Семенов.

Юрий молчал, растерянный и расстроенный.

– Ну, прощайте, – сказал Семенов тихо. – Мне сюда. Юрий пожал ему руку и с глубокой жалостью посмотрел на его впалую грудь, согнутые плечи и на его палку с толстым крючком, которую Семенов зацепил за пуговицу своего студенческого пальто. Юрию хотелось что-то сказать, чем-нибудь утешить и обнадежить его, но он чувствовал, что ничем нельзя этого сделать, вздохнул и ответил:

– До свидания.

Семенов приподнял фуражку и отворил калитку. За забором еще слышались его шаги и глухое покашливание. Потом все смолкло.

Юрий пошел назад. И все, что еще полчаса тому назад казалось ему легким, светлым, тихим и спокойным – лунный свет, звездное небо, тополя, освещенные луной, и таинственные тени, – теперь показалось мертвым, зловещим и страшным, как холод огромной мировой могилы.

Когда он пришел домой, тихо пробрался в свою комнату и отворил окно в сад, ему в первый раз пришло в голову, что все то, чем он так глубоко, доверчиво и самоотверженно занимался, – не то, что было нужно. Ему представилось, что когда-нибудь, умирая, как Семенов, он будет мучительно, невыносимо жалеть не о том, что люди не сделались благодаря ему счастливыми, не о том, что идеалы, перед которыми он благоговел всю жизнь, останутся не проведенными

в мир, а о том, что он умирает, перестает видеть, слышать и чувствовать, не успев в полной мере насладиться всем, что может дать жизнь.

Но ему стало стыдно этой мысли, он сделал над собой усилие и придумал объяснение.

– Жизнь и есть в борьбе!

– Да, но за кого... не за себя ли, не за свою ли долю под солнцем? – грустно заметила тайная мысль. Но Юрий притворился, что не слышит, и стал думать о другом. Но это было трудно и неинтересно, мысль ежеминутно возвращалась на те же круги, и ему было скучно, тяжело и тошно до злых и мучительных слез.

V

Получив записку от Ляли Сварожич, Лида Санина передала ее брату. Она думала, что он откажется, и ей хотелось, чтобы он отказался. Она чувствовала, что ночью при лунном свете на реке ее будет так же властно и сладко тянуть к Зарудину, что это будет жуткое и интересное наслаждение, и вместе с тем ей было стыдно перед братом, что это будет именно с Зарудиным, которого брат, очевидно, презирал от души.

Но Санин сразу и охотно согласился.

Был совершенно безоблачный, теплый и нежаркий день. На небо было больно смотреть, и оно все трепетало от чистоты воздуха и сверкания бело-золотых солнечных лучей.

– Кстати, там барышни будут, вот и познакомишься... – машинально сказала Лида.

– А, это хорошо! – сказал Санин. – И притом погода самая благодатная. Едем.

В назначенное время подъехали Зарудин и Танаров на широкой эскадронной линейке, запряженной парой рослых лошадей из полкового обоза.

– Лидия Петровна, мы ждем! – весело закричал Зарудин, весь чистый, белый и надушенный.

Лида, одетая и легкое светлое платье, с розовым бархатным воротником и таким же широким поясом, сбежала с крыльца и подала Зарудину обе руки. Зарудин на мгновение

выразительно задержал ее перед собой, оглядывая ее фигуру быстрым и откровенным взглядом.

– Едем, едем, – понимая его взгляд и стыдясь и возбуждаясь им, закричала Лида.

И через несколько времени линейка быстро катилась по мало проторенной степной дороге, пригибая к земле жесткие стебли полевой травы, которая, выпрямляясь, хлестала по ногам. Свежий степной ветер легко шевелил волосы и бежал по обе стороны дороги в мягких волнах травы.

На выезде из города они догнали другую линейку, в которой сидели Ляля и Юрий Сварожичи, Рязанцев, Новиков, Иванов и Семенов. Им было тесно и неудобно и оттого весело, и настроены все были дружелюбно. Одному Юрию Сварожичу, после вчерашнего разговора с Семеновым, было немного неловко с ним. Ему казалось странным и даже немного неприятным, что Семенов острит и смеется так же беззаботно, как и все. Юрий не мог понять, как может Семенов смеяться после всего того, что было им говорено вчера.

– Рисовался он тогда, что ли? – думал Юрий, искоса поглядывая на больного студента. – Или он вовсе не так уж болен?

Но он сам смутился своей мысли и постарался забыть ее. Из обеих линеек посыпались перекрестные остроты и приветствия. Новиков, дурачась, соскочил со своей линейки и побежал по траве возле Лиды. Между ними как-то установилось молчаливое соглашение преувеличенно выказывать

дружбу. И оба были чересчур шутливы и дружески дерзки.

Все больше выясняясь и вырастая, показалась гора, на которой блестели главы и белели стены монастыря. Вся гора была покрыта рощей и казалась курчавой от зеленых верхушек дубов. Те же дубы росли на островах и внизу под горою, и между ними текла широкая и спокойная река.

Лошади, свернув с накатанной дороги, покатали по мягкой и сочной луговой траве, низко пригибая ее колесами и мягко чавкая копытами по сырой земле. Запахло водою и дубовым лесом.

В условленном месте, на особенно всем нравящейся лужайке, на траве и на разостланных ковриках, уже ожидали раньше приехавшие студент и две барышни в малороссийских костюмах, которые со смехом готовили чай и закуску.

Лошади, фыркая и помахивая хвостами от мух, остановились, и все приехавшие, оживленные дорогой, воздухом и запахом воды и леса, разом высыпали из обеих линеек.

Ляля стала звонко целоваться с двумя готовившими чай барышнями. Лида поздоровалась сдержанно и представила им своего брата и Юрия Сварожича. Барышни смотрели на них с молодым тайным любопытством.

– Да вы и между собой, кажется, незнакомы, – вдруг спохватилась Лида. – Это мой брат, Владимир Петрович, а это – Юрий Николаевич Сварожич.

Санин, улыбаясь, мягко и сильно пожал руку Юрию, который не обратил на него никакого внимания. Санину был

интересен всякий человек, и он любил встречаться с новыми людьми, а Юрий был убежден, что интересных людей мало, и потому всегда был равнодушен к новым знакомствам.

Иванов уже немного знал Санина, и то, что он о нем слышал, ему понравилось. Он с любопытством посмотрел на Санина и первый подошел и заговорил с ним. Семенов равнодушно подал ему руку.

– Ну, теперь можно и веселиться! – закричала Ляля. – Со скучными обязанностями покончено!

Сначала всем было неловко, потому что многие видели друг друга в первый раз. Когда же стали закусывать и мужчины выпили по несколько рюмок водки, а женщины – вина, неловкость исчезла, и стало весело. Много пили, смеялись, острили – и иногда очень удачно, – бегали взапуски и лазили по горе. Лес был так зелен и красив, везде было так тихо, светло и ярко, что ни у кого не осталось на душе ничего темного, заботного и злого.

– Вот, – сказал запыхавшийся Рязанцев, – если бы люди побольше так прыгали и бегали, девяти десятых болезней не было бы!

– И пороков тоже, – сказала Ляля.

– Ну, пороков в человеке всегда будет предостаточно, – заметил Иванов, и хотя то, что он сказал, никому не показалось особенно метким и остроумным, смеялись все искренно.

Пока пили чай, солнце стало садиться, и река стала золо-

той, а между деревьями потянулись длинные косые стрелы красноватого света.

– Ну, господа, на лодки! – крикнула Лида и первая, высоко подобрав платье, пустилась бегом к берегу. – Кто скорее!

И кто бегом, кто более солидно, все потянулись за ней и с хохотом и шалостями стали рассаживаться в большой, пестро раскрашенной лодке.

– Отчаливай! – молодым бесшабашным голосом крикнула Лида.

И лодка легко скользнула от берега, оставляя за собой широкие полосы, плавно расходящиеся к обоим берегам.

– Юрий Николаевич, что же вы молчите? – спросила Лида Сварожича.

– Говорить нечего, – улыбнулся Юрий.

– Неужели? – протянула Лида, закидывая голову и чувствуя, что все мужчины ею любят.

– Юрий Николаевич не любит болтать по пустякам, – начал Семенов, – и ему...

– А, ему надо серьезную тему? – перебила Лида.

– Смотрите, вот серьезная тема! – закричал Зарудин, показывая на берег.

Там, под обрывом, между узловатыми корнями старого покосившегося дуба, чернела узкая и угрюмая дыра, заросшая бурьяном.

– Это что же? – спросил Шафров, который был родом из других мест.

– Пещера здесь, – ответил Иванов.

– Какая пещера?

– А черт ее знает... Говорят, что здесь когда-то была фабрика фальшивых монетчиков. Их всех, как водится, переловили... Ужасно скверно, что это «так водится», – вставил Иванов.

– А то ты бы сейчас фабрику фальшивых двугривенных открыл? – спросил Новиков.

– Зачем?.. Целко-овых, друг, целковых!

– Гм... – произнес Зарудин и слегка пожал плечами. Ему не нравился Иванов, и шуток его он не понимал.

– Да... Ну, переловили, а пещеру забросили. Она завалилась, и теперь туда никто не ходит. Когда я был еще младенцем, я лазил туда. Там довольно интересно.

– Еще бы не интересно! – закричала Лида. – Виктор Сергеевич, пойдите туда... Вы храбрый!

У нее был странный тон, точно теперь, при людях и при свете, она хотела издеваться и мстить Зарудину за то странное и жуткое обаяние, которое производил он на нее вечером, наедине.

– Зачем? – недоумевая, спросил Зарудин.

– Я пойду, – вызвался Юрий и покраснел, испугавшись, что подумают, будто он рисуется.

– Дело – хорошее! – одобрил Иванов.

– Может, и ты пойдешь? – спросил Новиков.

– Нет, я лучше тут посижу. Все засмеялись.

Лодка пристала к берегу, и черная дыра сквозила теперь над самой головой.

– Юрий, не делай, пожалуйста, глупостей, – приставала к брату Ляля. – Ей-богу, глупости!

– Конечно, глупости, – шутя, соглашался Юрий. – Семенов, передайте мне свечу.

– А где я ее возьму?

– Да сзади вас, в корзине!

Семенов флегматично достал из корзины свечу.

– Вы в самом деле пойдете? – спросила одна из барышень, высокая, красивая, с полной грудью девушка, которую Ляля называла Зиной и фамилия которой была Карсавина.

– Конечно, отчего же нет? – притворяясь равнодушным, возразил Юрий и сам припомнил, как таким же равнодушным старался он быть во время опасных партийных походов. Это воспоминание почему-то было ему неприятно.

У входа в пещеру было сыро и темно. Санин заглянул туда и сказал: брр!

Ему было смешно, что Юрий ползет в неприятное, опасное место, потому только, что на него смотрят другие люди.

Юрий зажег свечу, стараясь не смотреть на других. Его уже мучила тайная мысль: не смешон ли он? Казалось, что как будто смешон, но в то же время как-то странно выходило, что не только не смешон, а удивителен, красив и возбуждает в женщинах то таинственное любопытство, которое так приятно и жутко. Он подождал, пока разгорится свеча, и,

смеясь, чтобы обеспечить себя от насмешки, шагнул вперед и сразу утонул в темноте. Даже свеча как будто потухла. И всем стало действительно жутко за него и любопытно.

– Смотрите, Юрий Николаевич, – закричал Рязанцев, – там, бывает, волки прячутся!

– У меня револьвер! – глухо отозвался Юрий, и голос его из-под земли прозвучал как-то странно, точно мертвый.

Он осторожно пробирался вперед. Стены были низкие, неровные и сырые, как в большом погребе. Дно то поднималось, то опускалось, и раза два Юрий чуть было не сорвался в какие-то ямы. Он подумал, что лучше воротиться или сесть, посидеть, а потом сказать, что ходил далеко.

Вдруг сзади послышались шаги, скользящие по мокрой глине, и прерывистое дыхание. Кто-то шел за ним. Юрий поднял свечу выше головы.

– Зинаида Павловна! – удивленно вскрикнул он.

– Она самая! – весело отозвалась Карсавина, подбирая платье, чтобы перескочить через яму.

Юрию было приятно, что это она, веселая, полная, красивая девушка. Он смотрел на нее блестящими глазами и улыбался.

– Ну, идемте же дальше! – несколько смущенно предложила девушка.

Юрий послушно и легко пошел вперед, уже совсем не думая об опасности и старательно освещая дорогу только Карсавиной.

Стены пещеры, из коричневой сырой глины, то придвигались, точно с молчаливой угрозой, то отступали и давали дорогу. Местами вывалились целые груды камней и земли, а на месте их чернели глубокие впадины. Громада земли, нависшая над ними, казалась мертвой, и что-то страшное было в том, что она не валится, а висит неподвижно, поддерживаемая своим невидимым могучим законом. Потом все выходы сошлись в одну большую и мрачную пещеру, с тяжелым воздухом.

Юрий обошел ее вокруг, ища выхода, и за ним ходили качающиеся тени и пятна света, глохшего во тьме. Но выходов было несколько и все завалены землей. В одном углу печально догнивали остатки деревянного помоста, напоминая вырытые из земли и брошенные доски старого сгнившего гроба.

– Мало любопытного! – сказал Юрий, невольно, и сам не замечая того, понижая голос. Громада земли давила.

– А все-таки! – прошептала Карсавина, блестящими от огня глазами оглядываясь вокруг. Ей было жутко, и она бессознательно держалась ближе к Юрию, точно отыскивая у него защиты.

И Юрий это заметил, и это было ему приятно, вызывая какую-то умиленную нежность к красоте и слабости девушки.

– Точно заживо погребенные, – продолжала Карсавина, – кажется, крикни... никто не услышит!

– Наверное, – усмехнулся Юрий.

И у него вдруг закружилась голова. Он искоса посмотрел на высокую грудь, едва прикрытую тонкой малороссийской рубашкой, и круглые покатые плечи. Мысль, что, в сущности, она у него в руках, и никто не услышит, была так сильна и неожиданна, что на мгновение у него потемнело в глазах. Но сейчас же он овладел собою, потому что был искренно и непоколебимо убежден, что изнасиловать женщину – отвратительно; а для него, Юрия Сварожича, и совершенно немыслимо. И вместо того чтобы сделать то, чего ему в эту минуту захотелось больше жизни, от чего силой и страстью загорелось все его тело, Юрий сказал:

– Давайте попробуем.

Странная дрожь в его голосе испугала его, ему показалось, что Карсавина догадается.

– Как? – спросила девушка.

– Я выстрелю, – пояснил Юрий, вынимая револьвер.

– А не обвалится?

– Не знаю, – почему-то ответил Юрий, хотя был убежден, что не обвалится, – а вы боитесь?

– Нет... Ну... стреляйте... – немного отодвигаясь, сказала Карсавина.

Юрий вытянул руку с револьвером и выстрелил. Сверкнула огненная полоска, дым, едкий и тяжелый, мгновенно затянул все кругом, и глухой гул тяжело и сердито пошел по горе. Но земля висела так же неподвижно, как и раньше.

– Только и всего, – сказал Юрий.

– Идем.

Они пошли назад, и когда Карсавина повернулась к Юрию спиной и он увидел ее крутые сильные бедра, опять то же желание пришло к нему, и стало трудно с ним бороться.

– Послушайте, Зинаида Павловна, – сказал Юрий, сам пугаясь своего голоса и вопроса, но притворяясь беззаботным, – вот интересный психологический вопрос: как вы не боялись со мною идти сюда?.. Вы же сами говорите, что если крикнуть, то никто не услышит... А ведь вы меня совсем не знаете...

Карсавина густо покраснела в темноте, но молчала. Юрий дышал тяжело. Ему было жгуче приятно, точно он скользил над какой-то бездной, и в то же время жгуче стыдно.

– Я думала, конечно, что вы порядочный человек... – слабо и неровно пробормотала девушка.

– Напрасно вы так думали! – возразил Юрий, все тешась тем же жгучим ощущением. И вдруг ему показалось, что это очень оригинально, что он говорит с ней так и что в этом есть что-то красивое.

– Я бы тогда... утопилась... – еще тише и еще больше краснея, проговорила Карсавина.

И от этих слов в душе Юрия появилось мягкое жалостливое чувство. Возбуждение сразу упало, и Юрию стало легко.

«Какая славная девушка!» – подумал он тепло и искренно, и сознание чистоты этой теплоты и искренности было так приятно ему, что слезы выступили на его глазах.

Карсавина счастливо улыбнулась ему, гордая своим ответом и его безмолвным, передавшимся ей одобрением. И пока они шли к выходу, девушка со странным волнением думала о том, почему ей было так не обидно, не стыдно, а волнующе приятно, что он спрашивал ее об этом.

VI

Оставшиеся наверху, постояв у пещеры и поострив над Сварожичем и Карсавиной, расселись на берегу. Мужчины закурили папиросы, бросая в воду спички и наблюдая, как расходятся по ней широкие ровные круги. Лида, тихо напевая, ходила по траве и, взявшись за пояс, выделывала какие-то па своими желтыми маленькими ботинками, а Ляля рвала цветы и бросала ими в Рязанцева, целуя его глазами.

– А не выпить ли нам пока что? – спросил Иванов Санина.

– Проникновенная идея, – согласился Санин.

Они спустились в лодку, откупорили пиво и стали пить.

– Пьяницы бессовестные! – сказала Ляля и бросила в них пучком травы.

– Ха-арашо! – с наслаждением произнес Иванов. Санин засмеялся.

– Меня всегда удивляло, что люди так ополчаются на вино, – сказал он, шутя, – по-моему, только пьяный человек и живет, как следует.

– Или как животное, – отозвался Новиков с берега.

– Хоть бы и так, – возразил Санин, – а все-таки пьяный делает только то, что ему хочется... хочется ему петь – поет, хочется танцевать – танцует и не стыдится своей радости и веселья...

– Иногда и дерется, – заметил Рязанцев.

– Бывает. Люди не умеют пить... они слишком озлоблены...

– А ты в пьяном виде не дерешься? – спросил Новиков.

– Нет, – сказал Санин, – я скорее трезвый подерусь, а в пьяном виде я самый добрый человек, потому что забываю много мерзости.

– Не все же таковы, – опять заметил Рязанцев.

– Жаль, конечно, что не все... Только мне до других, право, нет ни малейшего дела.

– Ну так нельзя говорить! – сказал Новиков.

– Почему нельзя? А если это – правда?

– Хорошая правда! – отозвалась Ляля, качнув головой.

– Самая хорошая, какую я знаю, – возразил за Санина Иванов.

Лида громко запела и с досадой оборвала.

– Однако они не торопятся! – сказала она.

– А зачем им торопиться, – возразил Иванов, – торопиться никогда не следует.

– А Зина-то... героиня без страха... и упрёка, конечно! – саркастически заметила Лида.

Танаров громко прыснул своим собственным мыслям и сконфузился.

Лида посмотрела на него, подбоченившись и упруго покачиваясь всем телом.

– Что ж, может быть, им там и очень весело! – загадочно прибавила она, пожимая плечом.

– Тс! – перебил Рязанцев.

Глухой гул вырвался из черной дыры.

– Выстрел! – крикнул Шафров.

– Что это значит? – плаксиво спрашивала Ляля, цепляясь за рукав Рязанцева.

– Успокойтесь, если это и волк, так они в это время смирные... да на двоих и не нападут... – успокаивал ее Рязанцев, с досадой на Юрия и его мальчишескую выдумку.

– Э, ей-богу! – тоже с досадой крикнул Шафров.

– Да идут, идут... не волнуйтесь! – презрительно скривив губы, сказала Лида.

Послышался приближающийся шорох, и скоро из темноты вынырнули Карсавина и Юрий.

Юрий потушил свечу и улыбнулся всем ласково и нерешительно, потому что не знал еще, как они отнеслись к его выходке. Он весь был осыпан желтой глиной, а у Карсавиной сильно было замазано плечо, которым она задела за стену.

– Ну что? – равнодушно спросил Семенов.

– Довольно оригинально и красиво, – нерешительно, точно оправдываясь, ответил Юрий. – Только проходы далеко не идут, засыпано. Там пол какой-то догнивает.

– А вы выстрел слышали? – оживленно блестя глазами, спрашивала Карсавина.

– Господа, мы уже все пиво выпили, и души наши возвеселились в достаточной мере! – закричал снизу Иванов. – Едем!

Когда лодка опять выбралась на широкое место реки, луна уже взошла. Было удивительно тихо и прозрачно; и в небе, и в воде, вверху и внизу одинаково сверкали золотые огоньки звезд, и казалось, что лодка плывет между двумя бездонными воздушными глубинами. Лес на берегу и в воде был черный и таинственный. Запел соловей. Когда все молчали, казалось, что это поет не птица, а какое-то счастливое, разумное, задумчивое существо.

– Как хорошо! – сказала Ляля, поднимая глаза вверх и кладя голову на круглое теплое плечо Карсавиной.

И потом опять долго молчали и слушали. Свист соловья звонко наполнял лес, отдавался трелью над задумчивой рекой и несся над лугами, где в лунном тумане чутко застыли травы и цветы, вдаль и вверх к холодному звездному небу.

– О чем он поет? – опять спросила Ляля, как будто нечаянно роняя руку ладонью вверх на колено Рязанцева, чувствуя, как это твердое и сильное колено вздрогнуло, и пугаясь, и радуясь этому движению.

– О любви, конечно! – полушутливо, полусерьезно ответил Рязанцев и тихонько накрыл рукой маленькую теплую и нежную ладонь, доверчиво лежавшую у него на коленях.

– В такую ночь не хочется думать ни о добре, ни о зле, – сказала Лида, отвечая собственным мыслям.

Она думала о том, дурно или хорошо она делает, наслаждаясь жуткой и влекущей игрой. И, глядя на лицо Зарудина, еще более мужественное и красивое при лунном свете,

темным блеском отливающим в его глазах, она чувствовала ту же знакомую сладкую истому и жуткое безволие во всем существе своем.

– А совсем о другом! – ответил ей Иванов.

Санин улыбался и не сводил глаз с высокой груди и красивой белеющей от луны шеи сидящей против него Карсавиной.

На лодку набежала темная легкая тень горы, и, когда лодка, оставляя за собой голубые серебристые полосы, опять выскользнула на освещенное место, показалось, что стало еще светлее, шире и свободнее.

Карсавина сбросила свою широкую соломенную шляпу и, еще больше выставив высокую грудь, запела. У нее был высокий, красивый, хотя и небольшой голос. Песня была русская, красивая и грустная, как все русские песни.

– Очень чувствительно! – пробормотал Иванов.

– Хорошо! – сказал Санин.

Когда Карсавина кончила, все захлопали, и хлопки странно и резко отозвались в темном лесу и над рекой.

– Спой еще, Зиночка! – приставала Ляля. – Или лучше прочти свои стихи...

– А вы и поэтесса? – спросил Иванов. – Ско-олько может Бог одному человеку поэзии отпустить!

– А разве это плохо? – смущенно шутя, спросила Карсавина.

– Нет, это очень хорошо, – отозвался Санин.

– Ежели, скажем, девица юная и прелестная, то кому же оно! – поддержал Иванов.

– Прочти, Зиночка! – упрашивала Ляля, вся нежная и горящая от любви.

Карсавина, смущенно улыбаясь, слегка отвернулась к воде и, не ломаясь, прочла тем же звучным и высоким голосом:

Милый, милый, тебе не скажу я,
Не скажу, как тебя я люблю.
Закрываю влюбленные очи —
Берегут они тайну мою...
Этой тайны никто не узнает...
Знают только тоскливые дни,
Только тихие синие ночи,
Только звезд золотые огни,
Только тонкие светлые сети
В сказки ночи влюбленных ветвей.
Знают все... Но не скажут, не скажут
О любви затаенной моей...

И все опять пришли в восторг и хлопали Карсавиной с ожесточением не потому, что стихи ее были хороши, а потому, что всем было хорошо и хотелось любви, счастья и сладкой грусти.

– Ночь, день и очи Зинаиды Павловны, будьте столь великодушны: сообщите, не я ли сей счастливец! – вдруг возопил Иванов так громко и неожиданно и таким диким басом, что

все вздрогнули.

– Это и я тебе могу сказать, – отозвался Семенов, – не ты!

– Увы мне! – провыл Иванов. Все смеялись.

– Плохи мои стихи? – спросила Карсавина Юрия.

Юрий подумал, что они очень не оригинальны и похожи на сотни подобных стихов, но Карсавина была так красива и так мило смотрела на него своими темными, застенчивыми глазами, что он сделал серьезное лицо и ответил:

– Мне показались звучными и красивыми.

Карсавина улыбнулась ему и сама удивилась, что похвала его оказалась так приятна ей.

– Ты еще не знаешь мою Зиночку, – сказала Ляля с искренним восторгом, – она вся звучная и красивая.

– Ишь ты! – удивился Иванов.

– Право, – точно оправдываясь, настаивала Ляля, – голос у нее звучный и красивый, сама она – красавица, стихи у нее звучные и красивые... и даже фамилия – красивая и звучная!

– Ух, ты, Боже мой! Шик, блеск и аромат, будем так говорить! – восхитился Иванов. – А впрочем, я с этим совершенно согласен.

– Пора домой! – резко сказала Лида, которой были неприятны похвалы Карсавиной. Она считала себя и красивее, и интереснее, и умнее ее.

– А ты, не споешь? – спросил Санин.

– Нет, – сердито ответила Лида, – я не в голосе.

И в самом деле – пора, – согласился Рязанцев, вспоминая, что завтра надо рано вставать, ехать в больницу и на вскрытие.

А всем остальным было жаль уезжать.

Когда ехали домой, все были молчаливы и чувствовали удовлетворенную томную усталость.

Опять, но теперь уже невидимая, щелкала по ногам степная трава, смутно белела позади поднятая колесами пыль и быстро ложилась на белую дорогу. Поля, голубоватые от лунной дымки, казались ровными, пустынными и бесконечными.

VII

Дня через три, поздно вечером Лида вернулась домой усталая и несчастная. У нее была тоска, куда-то тянуло, и она и не знала и знала – куда.

Войдя в свою комнату, она остановилась и, сжав руки, долго, бледнея, смотрела в поле.

Лида вдруг с ужасом поняла, как далеко зашла, отдавшись Зарудину. Она впервые почувствовала, что с того непоправимого и непонятого момента, в этом, очевидно, бесконечно ниже ее, глупом и пустом офицере появилась какая-то унижительная власть над нею. Она теперь не могла не прийти, если он потребует этого, уже не играла по своему капризу, то отдаваясь его поцелуям, то отстраняя и смеясь, а безвольно и покорно, как раба, отдавалась самым грубым его ласкам.

Как это случилось, она не могла понять: так же, как всегда, она владела им, и ласки его были подчинены ей, так же было приятно, жутко и забавно, и вдруг был один момент, когда огонь во всем теле ударил в голову каким-то беловатым туманом, в котором потонуло все, кроме жгучего, толкающего в бездну любопытного желания. Земля поплыла под ногами, тело стало бессильно и покорно, перед нею остались только темные, горящие, и страшные, и бесстыдные, и влекущие глаза, ее голые ноги бесстыдно и мучительно страстно вздрагивали от властного прикосновения обнажающих гру-

бых рук, хотелось еще и еще этого любопытства, этого бесстыдства, боли и наслаждения.

Лида вся задрожала от этого воспоминания, повела плечами и закрыла лицо руками.

Она, пошатываясь, прошла через комнату, открыла окно, долго глядела на луну, стоявшую прямо над садом, и слушала, сама того не замечая, певшего где-то далеко, в соседних садах одинокого соловья. Тоска ее давила. В душе была странная и мучительная смесь смутного желания и тоскующей гордости, при мысли, что она испортила себе жизнь для пустого и глупого человека, что ее падение – глупо, гадко и случайно. Что-то грозное начало вставать впереди. Она старалась разогнать набегающие тревожные предчувствия будущего упрямой и злой бравадой.

– Ну сошлась и сошлась! – сжимая брови и с каким-то болезненным наслаждением произнося это грубое слово, думала она. – Все это пустяки!.. Захотела и отдалась!.. А все-таки была счастлива, было так... – Лида вздрогнула и, вытянув вперед сжатые руки, потянулась. – И было бы глупо, если бы не отдалась!.. Не надо думать об этом... все равно не вернешь!

Она с усилием отошла от окна и стала раздеваться, развязывая шнурки юбок и спуская их тут же на пол.

«Что ж... Жизнь дана только один раз, – думала она, вздрагивая от свежего воздуха, мягко касавшегося ее голых плеч и рук. – Что я выиграла бы, если бы дожидалась закон-

ного брака?.. Да и зачем он мне?.. Но все ли равно, неужели я настолько глупа, чтобы придавать этому значение... Глупости!..» – Вдруг ей показалось, что и в самом деле все это пустяки, что с завтрашнего дня всему этому конец, что она взяла в этой игре то, что в ней было интересного, а теперь вольна, как птица, и впереди еще много жизни, интереса и счастья.

– Захочу – полюблю, захочу – разлюблю... – тихо пропела Лида и, прислушиваясь к звуку своего голоса, с удовольствием подумала, что у нее голос лучше, чем у Карсавиной.

– Да, все глупости... Захочу, так и черту отдамся! – с грубым и внезапным для нее самой порывом ответила вдруг она своим смутным мыслям и, закинув голые руки за голову, сильно и порывисто выпрямилась, так, что грудь вздрогнула.

– Ты еще не спишь, Лида? – спросил голос Санина за окном. Лида испуганно вздрогнула, но сейчас же улыбнулась, накинула на плечи большой платок и подошла к окну.

– Как ты меня испугал... – сказала она.

Санин подошел и положил локоть на подоконник. Глаза у него блестели, и он улыбался.

– Вот это уже напрасно! – весело и тихо сказал он. Лида вопросительно повела головой.

– Без платка ты была гораздо лучше... – пояснил он так же тихо и выразительно.

Лида недоумевающе повернулась к нему и инстинктивно завернулась плотнее в платок.

Санин засмеялся. Лида смущенно облокотилась грудью на подоконник и выставила голову за окно, Санин дышал ей в щеку.

– Ты – красавица! – сказал он.

Лида быстро взглянула на него и испугалась того, что почувствовалось ей в выражении его лица. Она порывисто отвернулась в сад и всем телом почувствовала, что Санин смотрит на нее как-то особенно. И это показалось ей так ужасно и гадко, что у нее похолодело в груди и вздрогнуло сердце. Точно так же на нее смотрели все мужчины, и это нравилось ей, но с его стороны почему-то было невероятно, невозможно. Она сделала над собой усилие и улыбнулась.

– Я знаю...

Санин молчал и смотрел на нее. Когда она облокотилась на окно, рубашка и платок опустились, и сбоку была видна верхняя часть освещенной луной белой и неуловимо нежной груди.

– Люди постоянно ограждают себя от счастья китайской стеной, – сказал Санин, и его дрожащий и тихий голос был странен и еще больше, почти до ужаса, испугал Лиду.

– Как? – беззвучно спросила она, не отрывая глаз от темного сада и боясь встретиться с ним взглядом. Ей казалось, что тогда произойдет то, чего даже возможности нельзя допустить.

И в то же время она уже не сомневалась и знала, и ей было страшно, гадко и интересно. Голова у нее горела, и она ни-

чего не видела перед собой, с ужасом, омерзением и любопытством ощущая на щеке горячее и напряженное дыхание, от которого у нее шевелились волосы на виске и мурашки пробегали по голой спине под платком.

– Да так... – ответил Санин, и голос его сорвался.

Лида почувствовала, точно молния пробежала по всему ее телу, она быстро выпрямилась и, сама не замечая, что делает, нагнулась к столу и разом потушила лампу.

– Пора спать! – сказала она и потянула к себе окно. Когда лампа потухла, на дворе стало светлее, и отчетливо показалась фигура Санина и его лицо, освещенное синим светом луны. Он стоял в глубокой росистой траве и смеялся.

Лида отошла от окна и машинально опустилась на кровать. Все в ней дрожало и билось, и мысли путались. Она слышала шаги Санина, уходившего по шуршащей траве, и прижимала рукой колотившееся сердце.

«Что я, с ума сошла, что ли? – с омерзением подумала она. – Какая гадость! Случайная фраза, а я уже... Что это, эротомания? Неужели я гадкая, испорченная!.. Как низко надо пасть, чтобы подумать...»

И вдруг Лида, уткнувшись головой в подушку, тихо и горько заплакала.

«Чего же я плачу?» – спрашивала она себя, не понимая причины своих слез и только чувствуя себя несчастной, жалкой и униженной. Она плакала о том, что отдалась Зарудину, и о том, что уже она не прежняя, гордая и чистая, и о том,

что ей показалось страшного и обидного в глазах брата. Она подумала, что раньше он не мог бы смотреть на нее так, а это потому, что она пала.

Но одно чувство было сильнее, горьче и понятнее ей: стало больно и обидно, что она – женщина и что всегда, пока она будет молода, сильна, здорова и красива, лучшие силы ее пойдут на то, чтобы отдаваться мужчинам, доставлять им наслаждение и тем больше презираться ими, чем больше наслаждения она доставит им и себе.

«За что? Кто дал им это право... Ведь я такой же свободный человек... – спрашивала Лида, напряженными глазами глядя в тусклую тьму комнаты. – Неужели я никогда не увижу другой, лучшей жизни!»

Все ее молодое сильное тело властно говорило о том, что она имеет право брать от жизни все, что интересно, приятно, нужно ей, и что она имеет право делать все, что хочет, со своим, ей одной принадлежащим, прекрасным, сильным, живым телом.

Но мысль билась в каких-то спутанных сетях, рвалась в тисках и падала бессильно и тоскливо.

VIII

Юрий Сварожич давно занимался живописью, любил ее и отдавал ей все свободное время. Когда-то он мечтал стать художником, но сначала отсутствие денег, а потом партийная деятельность загородили ему путь, и теперь он занимался искусством только порывами и без определенной цели.

И оттого, что у него не было определенной цели и не было школы, живопись не доставляла ему приятного удовлетворения, а возбуждала в нем тоску и разочарование. Каждый раз, когда работа не давалась ему, Юрий раздражался и страдал, а когда удавалась, он впадал в тихую и мечтательную задумчивость, исходившую из смутного сознания, что все это бесполезно и не дает ему успеха и счастья.

Юрию очень понравилась Карсавина. Он любил таких высоких, красиво крупных и полных женщин, с красивыми голосами и нежными, немного сентиментальными глазами. Все то, что он думал о ее симпатичности, чистоте и душевной глубине, передавалось ему через ее красоту и нежность, и почему-то Юрий не признавался себе в этом и старался уверить самого себя, что девушка нравится ему не плечами, грудью, глазами и голосом, а именно своею девственностью и чистотой. И думать так ему казалось легче, благороднее и красивее, хотя чистота и девственность было именно тем, что волновало его, зажигая кровь и возбуждая желание. С

первого же вечера в нем выросла смутная, знакомая ему, но еще не сознаваемая на этот раз жестокая жажда лишить ее чистоты и невинности, как вырастала эта неумолимая жажда и при виде всех красивых женщин.

Потому, что его мысли теперь занимала красивая и здоровая девушка, полная радостной солнечной жизни, Юрию пришлось в голову написать жизнь. Он, как всегда легко воспламеняясь, пришел в восторг от своей идеи, и ему показалось, что на этот раз он непременно справится с задачей до конца.

Подготовив большое полотно, Юрий с лихорадочной поспешностью, точно боясь опоздать, принялся за картину. Когда он клал первые мазки и на полотне были только красивые сочные пятна, все внутри его дрожало восторгом и силой, и его будущая картина во всех подробностях легко и интересно вставала перед ним. Но чем дальше подвигалась работа, тем больше и больше возникало технических трудностей, которые Юрий не мог преодолеть. То, что в воображении представлялось ему ярким, сильным и прекрасным, на полотне выходило плоским и бессильным. И уже подробности не прельщали его, а сбивали и раздражали. Юрий перестал останавливаться на них и стал писать широко и небрежно, но тогда, вместо яркой и могучей жизни, начала выясняться пестро и небрежно наляпанная, грубая женщина. В ней уже не было ничего, что казалось Юрию оригинальным и прекрасным, а все было вяло и шаблонно. И тогда Юрий

увидел, что картина его неоригинальна, что он просто подражает картинам Мухи и что самая идея картины банальна.

И Юрию, как всегда, стало тяжело и грустно.

Если бы он почему-то не думал, что плакать стыдно, он бы заплакал, лег бы в подушку лицом и стал бы хныкать и жаловаться кому-то и на что-то, но не на свое бессилие. Но вместо того он угрюмо сидел перед картиной и думал, что жизнь вообще скучна, мутна и бессильна, что в ней нет ничего, что еще могло бы интересовать его, Юрия. Тут он с ужасом представил себе, что еще много лет придется, быть может, прожить тут в городке.

«Тогда смерть!» – с холодком на лбу подумал Юрий.

И ему захотелось нарисовать смерть. Он взял нож и с какой-то тяжелой для него самой злобой стал счищать свою «Жизнь». Его раздражало, что то, над чем он с таким восторгом трудился, исчезает с трудом. Краска отставала неохотно, нож мазал, соскакивал и два раза врезался в полотно. Потом оказалось, что уголь не рисует по масляной поверхности, и это причинило Юрию острое страдание. Он взял кисть и стал рисовать прямо коричневой краской, а потом опять стал писать, медленно, небрежно, с тяжелым, грустным чувством. Картина, которую он теперь задумал, не теряла, а выигрывала от его небрежности и от тусклого, тяжелого тона красок. Но первоначальная идея смерти почему-то сама собою исчезла, и Юрий рисовал уже «Старость». Он писал ее в виде изможденной, костлявой старухи, бредущей по избитой до-

роге, в тихие и печальные сумерки. На горизонте погасала последняя заря, и в ее зеленоватом зареве чернели кресты и неопределенные темные силуэты. На спину старухи страшной тяжестью налегал тяжелый, черный гроб и давил ее костлявые плечи. И взор у старухи был мутный, безотрадный, и одна нога ее уже стояла на краю черной ямы. Вся картина была сумеречная, грустна и зловеща.

Юрия звали обедать, но он не пошел и все писал. Потом пришел Новиков и стал что-то рассказывать, но Юрий не слушал и не отвечал.

Новиков вздохнул и улегся на диван. Он был рад молчать и думать и к Сварожичу пришел только потому, что не любил сидеть дома один. Он был грустно и мучительно расстроен. Отказ Лиды все еще давил его, и нельзя было разобрать, стыдно ли ему или грустно. Он был очень правдив и ленив и не поймал тех сплетен о Лиде и Зарудине, которые уже мутно всплывали в городке. Лиду он ни к кому не ревновал, а только страдал от разрушенной мечты, которая одно время казалась ему так близка и ярка, что он уже был счастлив.

Новиков стал думать, что все в жизни для него испорчено, но ему все-таки не приходило в голову, что если это так, то и жить не стоит и надо умереть. Наоборот, он думал о том, что теперь, когда его собственная жизнь стала одним мучением, его долг, перестав заботиться о личном счастье, посвятить свою жизнь другим людям. Он не мог отдать себе отчета, из чего это вытекает, но уже смутно решил бросить все и ехать

в Петербург, возобновить сношения с партией и броситься очертя голову на смерть, мысль эта показалась ему высокой и прекрасной, а сознание того, что прекрасная, высокая мысль – его мысль, смягчило грусть и обрадовало его. Собственный образ вырастал в его глазах, окруженный милым, светлым, грустным ореолом, и невольный печальный укор Лиде чуть не заставил его заплакать.

Потом ему стало скучно. Сварожич все писал и не обращал на него никакого внимания. Новиков лениво встал и пошел.

Картина была не окончена, но именно потому и производила впечатление какого-то сильного намека. Пока это было то, чего Юрий не смог бы окончить.

Новикову картина показалась чудной. Он даже слегка разинул рот и посмотрел на Юрия с наивным детским восторгом.

– Ну что? – спросил Юрий, отодвигаясь.

Ему самому казалось, что хотя картина, конечно, не лишена недостатков и недостатки эти даже, пожалуй, очевидны и велики, но все-таки она интереснее всех картин, какие он когда-либо видел. Почему это так, Юрий не отдавал себе отчета, но если бы Новиков сказал, что картина плоха, он искренно обиделся и огорчился бы. Но Новиков тихо и восторженно сказал:

– Оч-чень хорошо!

И Юрий почувствовал себя гением, презирающим свое

создание. Он красиво вздохнул, швырнул кисти, измазав угол кушетки, и отошел, не глядя на картину.

– Эх, брат! – сказал он.

Он чуть было не признался себе и Новикову в том смутном сознании, которое вырывало у него радость удачи, то есть в том, что он все равно ничего не сумеет сделать из этого удачного наброска. Но вместо того он подумал и сказал вслух:

– Ни к чему это все!

Новиков подумал, что Юрий рисуется, но сейчас же его собственная разочарованная грусть кольнула его в сердце, и он подумал: «И правда».

Но, помолчав, возразил:

– Как, к чему?

Юрий не мог точно ответить на этот вопрос и промолчал. Новиков еще немного посмотрел на картину и лег на диван.

– А я, брат, прочел твою статью в «Крае», – заговорил он опять, – здорово!..

– Ну ее к черту! – с досадой, непонятной ему самому, и припоминая слова Семенова, отозвался Юрий: – Что я ей сделаю?.. Так же будут казнить, грабить, насильничать... Тут не статьями надо действовать! Я жалею, что написал... Да и что? Ну прочтут ее два-три идиота, что из того?.. Какое мне, в конце концов, дело?.. Чего биться головой в стену, спрашивается!

Перед глазами Юрия прошли первые годы его увлечения

партийной работой: конспиративные собрания, пропаганда, риск и неудачи, собственный восторг и полное равнодушие именно тех, которых он хотел спасти. Он прошелся по комнате и махнул рукой.

– С этой точки зрения и ничего делать не стоит, – протянул Новиков и, вспомнив Санина, прибавил: – Эгоисты вы все, только и всего!

– Да и не стоит, – под влиянием тех же воспоминаний и сумерек, которые начали уже бледнить все в комнате, горячо и искренно заговорил Юрий. – Если говорить о человечестве, то что значат все наши усилия, конституции и революции, когда мы даже не можем представить себе приблизительно перспектив, ожидающих человечество... Быть может, в той самой свободе, о которой мы мечтаем, заложены начала разрушения, и человек, достигши своего идеала, пойдет назад и опять встанет на четвереньки... Для того, чтобы начать все сначала?.. А если думать даже только о себе, то... то чего я могу добиться? В самом лучшем случае я могу своими талантами и делами стяжать себе славу, упиться почтением людей, еще ниже и ничтожнее меня, то есть именно тех, которых я не могу уважать, и до почтения которых, в сущности, мне и дела не должно быть... А потом жить, жить, до могилы... не дальше! И лавровый венок под конец так прирастет к лысому черепу, что даже надоест...

– Только о себе! – притворно насмешливо пробормотал Новиков. – Так!

Но Юрий не расслышал и продолжал, с грустью и болезненным удовольствием прислушиваясь к своим собственным словам, которые казались ему мрачными и красивыми и возбуждали в нем самолюбивое подъемное чувство:

– А в худшем случае, буду непризнанным гением, смешным мечтателем, объектом для юмористических рассказов... нелепым, никому не нужным...

– Ага! – с торжеством перебил Новиков и даже привстал, – «никому не нужным» – значит, ты сам сознаешь!

– Странный ты человек, – в свою очередь перебил его Юрий, – неужели ты думаешь, что я не знаю, для чего можно жить и во что можно верить!.. Я, быть может, и на крест пошел бы с радостью, если бы я верил, что моя смерть спасет мир!.. Но этой веры у меня нет: что бы я ни сделал, в конечном итоге я ничего не изменю в ходе истории, и вся польза, которую я могу принести, будет так мала, так ничтожна, что, если бы ее и вовсе не было, мир ни на йоту не потерпел бы убыли. А между тем для этой меньше чем йоты я должен жить и страдать и мучительно ждать смерти!

Юрий не заметил, что он говорит уже о чем-то другом, отвечая не на слова Новикова, а на свои странные и тяжелые чувства. Он вдруг остановился опять, внезапно вспомнив Семенова, и почувствовал, что по спине пробежало гадливое и холодное ощущение ужаса.

– Знаешь, меня мучает эта неизбежность, – тихо и доверчиво сказал он, машинально глядя в потемневшее окно, – я

знаю, что это естественно, что ничего против этого я сделать не могу, но это ужасно и безобразно!

Новиков почувствовал, что это так, и ему стало грустно и страшно, но все-таки он возразил:

– Смерть – полезное физиологическое явление...

«Вот дурак!» – с бешенством подумал Юрий и с раздражением возразил:

– Ах, Боже мой!.. Да какое нам дело, принесет ли наша смерть кому-нибудь пользу или нет!

– А твоя крестная смерть!

– То другое дело, – нерешительно и мгновенно остывая, возразил Юрий.

– Ты сам себе противоречишь, – с чувством превосходства заметил Новиков, великодушно не глядя на Юрия.

Юрий поймал этот тон и весь загорелся. Он стал ворошить свои черные упрямые волосы и злиться.

– Никогда я себе не противоречу... Это вполне понятно, если я умираю сам, по своему собственному желанию...

– Все одно, – продолжал, но сдаваясь, тем же тоном Новиков, – вам всем просто хочется фейерверка, аплодисментов... Эгоизм это все!..

– Ну и пусть... это не меняет дела...

Разговор спутался. Юрий почувствовал, что действительно вышло что-то не так, и не мог поймать нити, которая еще несколько минут назад казалась ему натянутой, как струна. Он походил по комнате, сердито дыша, и, успокаивая себя,

подумал, как всегда в таких случаях:

– Бывает иногда, что я как-то не в ударе... иной раз говоришь ясно, точно все перед глазами стоит, а иной раз точно вот кто-то связал во рту язык... все выходит нескладно... грубо... Это бывает!

Они помолчали. Юрий походил по комнате, постоял у окна и взялся за фуражку.

– Пойдем пройдемся, – сказал он.

– Пойдем, – согласился Новиков, с тайной надеждой и страхом и радостью думая о том, что они могут случайно встретить Лиду Санину.

IX

Они прошли по бульвару раз и другой, не встретив знакомых, и слушали музыку, по обыкновению игравшую в саду. Играла она нестройно и фальшиво, но издали казалась нежной и грустной. Навстречу им все попадались мужчины и женщины, заигрывавшие друг с другом. Их смех и громкие, возбужденные голоса не шли к тихой грустной музыке и тихому грустному вечеру и раздражали Юрия. В самом конце бульвара к ним подошел Санин и весело поздоровался. Юрию он не нравился, и поэтому разговор не вязался. Санин смеялся надо всем, что попадалось им на глаза, потом встретил Иванова и ушел с ним.

– Куда вы? – спросил Новиков.

– Угостить друга хочу! – отвечал Иванов, достал из кармана и торжественно показал бутылку водки.

Санин весело засмеялся.

Юрию и эта водка, и этот смех показались неестественными и пошлыми, и он брезгливо отвернулся. Санин это заметил, но не сказал ничего.

– Благодарю, мол, тебя, Господи, что я не таков, как этот мытарь! – двусмысленно усмехаясь, пробасил Иванов.

Юрий покраснел.

«Тоже... острит еще!» – подумал он, презрительно, пожал плечами и отошел.

– Новиков, бессознательный фарисей, пойдем с нами! – пристал Иванов...

– Какого черта?

– Водку пить!

Новиков тоскливо оглянул бульвар, но Лиды не было видно нигде.

– Лида дома сидит и в своих грехах кается, – улыбаясь, заметил Санин.

– Глупости, – обидчиво пробормотал Новиков, – у меня больной...

– Который умрет и без твоей помощи, – отозвался Иванов. – Впрочем, и водку мы можем выпить без твоего содействия.

«Напиться, что ли!» – с горечью подумал Новиков и сказал:

– Ну ладно... пойдем!

Они ушли, и Юрию еще долго слышен был грубый бас Иванова и беззаботно-ласковый смех Санина.

Он опять пошел вдоль бульвара. Его окликнули женские голоса. Зина Карсавина и учительница Дубова сидели на одной из бульварных скамеек. Было уже совсем темно, и из тени едва виднелись их фигуры, в темных платьях, без шляп и с книгами в руках. Юрий быстро и охотно подошел.

– Откуда? – спросил он, здороваясь.

– В библиотеке были, – ответила Карсавина.

Дубова молча подвинулась, очищая возле себя место, и

хотя Юрию хотелось сесть возле Карсавиной, но было неловко, и он сел рядом с некрасивой учительницей.

– Отчего у вас такое мрачно-раздирательное лицо? – спросила Дубова, по привычке язвительно кривя свои тонкие, сухие губы.

– С чего вы взяли, мрачное? Самое веселое. А впрочем, и вправду, скучно что-то...

– Делать вам, видно, нечего, – насмешливо возразила Дубова.

– А вам есть что делать?

– Да, плакать некогда.

– Я и не плачу.

– Ну, хнычете... – шутила Дубова.

– Так уж жизнь моя сложилась теперь, что я и смеяться разучился.

В голосе его прорвались такие горькие нотки, что все невольно примолкли. Юрий помолчал и улыбнулся.

– Один мой приятель говорил мне, что жизнь моя назидательна, – сказал он, хотя никто этого не говорил.

– В каком смысле? – спросила Карсавина осторожно.

– В смысле того, как не следует жить человеку.

– А, ну расскажите. Авось и мы извлечем какую-нибудь пользу из этого примера... – предложила Дубова.

Юрий свою жизнь считал исключительно неудачной, а себя исключительно несчастным человеком. В этом было какое-то грустное удовлетворение, и было приятно жаловаться

на свою жизнь и людей. С мужчинами он никогда не говорил об этом, инстинктивно чувствуя, что они ему не поверят, но с женщинами, особенно молодыми и красивыми, охотно и подолгу говорил о себе. Он был красив и хорошо говорил, и женщины всегда проникались к нему жалостью и влюбленностью.

И на этот раз, начав с шутки, Юрий легко вошел в привычный тон и долго говорил о своей жизни. По его словам выходило так, что он, человек огромной силы, заеден средой и обстоятельствами, что его не поняли в партии и что в том, что из него вышел не вождь народа, а обыкновенный высланный по ничтожной причине студент, виновата роковая случайность и людская глупость, а не он сам. Юрию, как всем людям с большим самолюбием, не приходило в голову, что это не доказывает его исключительной силы и что всякий гениальный человек окружен такими же случайностями и людьми. Ему казалось, что только его одного преследует тяжелый и неодолимый рок.

И так как он рассказывал очень красиво, живо и ярко, то выходило похоже на правду, и девушки верили ему, жалели и грустили вместе с ним. Музыка играла все так же нестройно, но жалобно, вечер был темный, задумчивый, и им всем было мечтательно-грустно. Когда Юрий замолчал, Дубова, отвечая на свои собственные думы о том, что ее жизнь скучна, однообразна и что скоро она уже состарится, не испытав счастья и любви, тихо спросила:

– Скажите, Юрий Николаевич, вам никогда не приходила в голову мысль о самоубийстве?

– Почему вы меня спрашиваете об этом?

– Так.

Они помолчали.

– Вы, значит, были в комитете? – с любопытством спросила Карсавина.

– Да, – коротко и как будто неохотно ответил Юрий, но ему было приятно признаться в этом, потому что он думал, будто это придает ему какой-то мрачный интерес в глазах красивой и молодой девушки.

Потом Юрий проводил их домой. Дорогой много говорили и смеялись, и уже не было грустно.

– Какой он славный! – сказала Карсавина, когда Юрий ушел.

– Смотри, не влюбись! – погрозила пальцем Дубова.

– Ну вот еще! – с тайным инстинктивным испугом вскрикнула Карсавина.

Юрий пришел домой в возбужденном и хорошем настроении духа. Взглянул на начатую картину, ничего не почувствовал и с удовольствием лег спать. А ночью ему снились сладострастные и солнечные картины, молодые и красивые женщины.

Х

На другой вечер Юрий пошел опять на то место, где он встретился с Карсавиной и Дубовой. Целый день ему было приятно вспоминать проведенный с ними вечер, и хотелось опять встретиться, поговорить о том же и опять увидеть то же выражение участия и ласки в веселых и нежных глазах.

Вечер был совершенно ясный, тихий, жаркий. В воздухе над улицами стояла мелкая сухая пыль, и на бульваре никого не было, кроме случайных редких прохожих.

Юрий сердито тряхнул головой на досадное чувство, поднявшееся у него в груди, точно его кто-то обидел, и медленно пошел по бульвару, глядя под ноги.

«Скука какая, – подумал он, – что делать?»

Навстречу ему быстрыми шагами, помахивая свободной рукой, шел студент Шафров и еще издали учтиво улыбался ему.

– Что вы тут слоняетесь? – дружелюбно спросил он, оставившаяся и подавая Сварожичу крепкую, широкую ладонь.

– Да скучно что-то и делать нечего. А вы куда? – лениво и пренебрежительно спросил Юрий. Он всегда говорил так с Шафровым, которого, как бывший член комитета, считал наивным студентиком, играющим в революцию.

Шафров счастливо и самодовольно улыбнулся.

– У нас сегодня чтение, – сказал он, показывая пачку то-

еньких разноцветных брошюрок.

Юрий машинально взял у него одну брошюрку и, развернув, прочел длинное сухое заглавие популярной социальной статьи, давно им самим прочитанной и забытой.

– Где вы читаете? – спросил Юрий с той же пренебрежительной улыбкой, возвращая брошюрку.

– В городском училище, – ответил Шафров, называя то училище, в котором служили Карсавина и Дубова.

Юрий вспомнил, что Ляля уже говорила ему об этих чтениях, но тогда он не обратил на них внимания.

– Можно мне пойти с вами? – спросил он Шафрова.

– Пожалуйста, – радостно улыбаясь, поспешно согласился Шафров.

Он считал Юрия настоящим деятелем и, преувеличивая его партийную роль, чувствовал к нему почтение, граничащее с влюбленностью.

– Я очень интересуюсь этим делом, – счел нужным прибавить Юрий, с радостью думая о том, что вечер будет занят, и о том, что можно увидеть Карсавину.

– Пожалуйста, пожалуйста, – опять сказал Шафров.

– Ну, так пойдете.

И они быстро пошли по бульвару, свернули на мост, по обеим сторонам которого влажно пахло свежестью и водой, и вошли в двухэтажное здание училища, где уже собирались люди.

В большом, еще темном зале, установленном ровными ря-

дами стульев и скамеек, смутно белел экран для волшебного фонаря и слышался сдержанно веселый смех. Около окна, в которое видны были потемневшее небо и верхушки темно-зеленых деревьев, стояли Ляля и Дубова. Они встретили Юрия радостными восклицаниями.

– Вот хорошо, что пришел! – сказала Ляля. Дубова крепко пожала ему руку.

– Что же вы не начинаете? – спросил Юрий, украдкой оглядывая темный зал и не видя Карсавиной. – А Зинаида Павловна не участвует? – неровно и разочарованно прибавил он.

Но в эту минуту на кафедре, возле самого экрана, чиркнула спичка и осветила Карсавину, зажигавшую свечи. Ее красивое и свежее лицо было ярко снизу освещено и весело улыбалось.

– Еще бы я не участвовала, – звонко откликнулась она, сверху протягивая Юрию руку.

Юрий обрадовано, но молча подал ей руку, и она, слегка опираясь на него, мягко соскочила с кафедры, пахнув в лицо Юрию запахом здоровья и свежести.

– Пора начинать, – сказал Шафров, появляясь из другой комнаты.

Сторож, тяжело ступая большими сапогами, прошел по залу, одну за другой зажигая большие, светлые лампы, и зал осветился ярким и веселым светом. Шафров отворил дверь в коридор и громко сказал:

– Пожалуйте, господа!

Послышалось сначала робкое, а потом торопливое топотанье ног, и в двери стали входить люди. Юрий смотрел на них с любопытством: привычный зоркий интерес пропагандиста пробудился в нем. Это были и старые, и молодые люди, и дети. В первом ряду никто не сел, и уже потом его заняли какие-то неизвестные Юрию дамы, толстый смотритель училища и уже знакомые Юрию учителя и учительницы мужской и женской прогимназии. А весь остальной зал затопили люди в чуйках, пиджаках, солдаты, мужики, бабы и много детей в пестрых рубашках и платьях.

Юрий сел рядом с Карсавиной за стол и стал слушать, как Шафров спокойно, но дурно читал о всеобщем избирательном праве. Голос у него был глухой и негибкий, и все, что он читал, приобретало характер статистической таблицы, но слушали его со вниманием, и только сидевшие в первом ряду интеллигентные люди скоро начали шептаться и шевелиться. Юрию стало досадно на них и жаль, что Шафров дурно читает. И когда студент устал, Юрий тихо сказал Карсавиной:

– Давайте я дочитаю.

Карсавина ласково, как-то сквозь ресницы, взглянула на него.

– Вот и хорошо... Читайте.

– А не неловко? – улыбаясь ей, как заговорщик, спросил Юрий.

– Где же неловко! Все будут рады.

И, воспользовавшись перерывом, она сказала Шафрову. Шафров устал и сам тяготился тем, что читает плохо, он не только согласился, но даже обрадовался.

– Пожалуйста, пожалуйста, – по своей привычке повторил он и уступил место.

Юрий умел и любил читать. Не глядя ни на кого, он прошел на кафедру и начал сильным, звучным голосом. Раза два он оглянулся на Карсавину и оба раза встретил ее блестящий и выразительный взгляд. Смущенно и радостно улыбаясь ей, он поворачивался к книге и начинал читать еще громче и выразительнее, и ему казалось, что он для нее делает какое-то непостижимо хорошее и интересное дело.

Когда он кончил, из первого ряда ему зааплодировали. Юрий серьезно поклонился и, сходя с кафедры, широко улыбнулся Карсавиной, точно хотел сказать ей: «Это для тебя!»

Публика, топоча ногами, переговариваясь и, двигая стульями, стала расходиться, а Юрий познакомился с двумя дамами, которые сказали ему несколько приятных слов по поводу его чтения.

Потом начали тушить огни, и в комнате стало еще темнее, чем прежде.

– Спасибо вам, – тепло сказал Шафров, пожимая руку Юрию, – если бы у нас всегда так читали!

Чтение было его делом, и потому он считал себя обязан-

ным Юрию как бы за личное одолжение, хотя и говорил, что благодарит его за народ. Шафров выговаривал это слово твердо и уверенно.

– Мало у нас делают для народа, – говорил он с таким видом, точно посвящал Юрия в большую тайну, – а если и делают что, так кое-как... спустя рукава. Странно мне это, право: для увеселения скучающих бар нанимают дюжинами первоклассных актеров, певиц, чтецов, а для народа сядет читать вот такой чтец, как я... – Шафров с добродушной иронией махнул рукой, – и все довольны... Чего же им, мол, еще!

– Это правда, – сказала Дубова, – противно читать: целые столбцы в газетах посвящены тому, как чудно играют артисты, а тут...

– А ведь какое хорошее дело! – задумчиво сказал Шафров и любовно стал собирать свои книжечки.

«Святая наивность!» – подумал Юрий, но присутствие Карсавиной и собственный успех сделали его добрым и мягким, и его даже немного умилила эта простота.

– Куда же вы теперь? – спросила Дубова, когда они вышли на улицу.

На дворе было гораздо светлее, чем в комнатах, хотя на небе уже затеплились звезды.

– Мы с Шафровым пойдем к Ратовым, – сказала Дубова, – а вы проводите Зину.

– С удовольствием, – искренно сказал Юрий. И они разошлись.

Всю дорогу до квартиры Карсавиной, которая вместе с Дубовой снимала маленький флигель в большом, но негустом саду.

Юрий и Карсавина проговорили о впечатлении, вынесенном из чтения, и Юрию все больше и больше казалось, что он сделал что-то очень большое и хорошее. У калитки Карсавина сказала:

– Зайдите к нам.

– Могу, – весело согласился Юрий.

Карсавина отворила калитку, и они вошли в маленький, заросший травой двор, за которым темнел сад.

– Идите в сад, – сказала Карсавина, смеясь, – я бы пригласила вас в комнаты, да боюсь: я дома с утра не была и не знаю, прибрано ли у нас достаточно для приема!

Она ушла во флигель, а Юрий медленно прошел в пахучий и зеленый сад. Далеко он не пошел, а остановился на дорожке и с жадным любопытством смотрел на открытые темные окна флигеля, и ему казалось, что там происходит что-то особенное, красивое и таинственное.

На крыльце показалась Карсавина, и Юрий едва узнал ее: она сняла свое черное платье и оделась в тонкую, с широким вырезом и короткими рукавами малороссийскую рубашку с синей юбкой.

– Вот и я... – сказала она, почему-то конфузливо улыбаясь.

– Вижу... – с таинственным и понятным ей выражением

ответил Юрий.

Она улыбнулась и слегка отвернулась, и они пошли по дорожке между зеленых, низких кустов сирени и высокой травы.

Деревья были маленькие и больше вишневые, с крепко пахнущими клеем молодыми листьями. За садом была левада, покрытая цветами и высокой некошенной травой.

– Сядем здесь, – сказала Карсавина.

Они сели на полуразвалившийся плетень и стали смотреть на леваду, на прозрачную погасавшую зарю.

Юрий притянул к себе гибкую ветку сирени, и с нее брызнуло мелкими капельками росы.

– Хотите, я вам спою? – сказала Карсавина.

– Конечно, хочу! – ответил Юрий.

Карсавина, как и тогда на реке, выпрямила грудь, отчетливо обозначившуюся под тонкой рубашкой, и запела:

Любви роскошная звезда...

Голос ее легко, чисто и страстно звенел в вечернем воздухе. Юрий затих, едва дыша и не спуская с нее глаз. Она чувствовала его взгляд, закрывала глаза, выше подымала грудь и пела все лучше и громче. Казалось, все затихло и слушало, и Юрию припомнилась та кажущаяся, внимательная и таинственная тишина, которая воцаряется, когда поет в лесу весной соловей.

Когда она замолчала, после высокой серебристой ноты, стало как будто еще тише. Заря совсем погасла, и небо затемнело и углубилось. Чуть видно и чуть слышно заколебались листья, шевельнулась трава, и, плывя в воздухе, что-то нежное и пахучее, как вздох, налетело с левады и расплылось по саду, Карсавина блестящими в сумраке глазами оглянулась на Юрия.

– Что же вы молчите? – спросила она.

– Уж очень тут хорошо! – прошептал Юрий и опять потянул брызгающую росой ветку.

– Да, хорошо! – мечтательно отозвалась Карсавина.

– Хорошо вообще жить на свете! – прибавила она, помолчав.

В голове Юрия шевельнулось что-то привычное, неискренно грустное, но не оформилось и исчезло.

За левадой кто-то пронзительно свистнул два раза, и опять все затихло.

– Нравится вам Шафров? – неожиданно спросила Карсавина и сама засмеялась этой неожиданности.

Ревнивое чувство шевельнулось в груди Юрия, но он серьезно ответил, немного принуждая себя:

– Он – славный парень.

– С каким он увлечением отдается своему делу! Юрий промолчал.

На леваде стал подыматься легкий беловатый туман, и трава побелела от росы.

– Сыро становится, – сказала Карсавина, пожимая плечами. Юрий невольно посмотрел на ее круглые, мягкие плечи и смутился, она поймала его взгляд и тоже смутилась, но ей было приятно и весело.

– Пойдемте.

И они с сожалением пошли назад по узкой дорожке, слегка толкая друг друга. Сад опустел, потемнел, и, когда Юрий оглянулся, ему показалось, что, должно быть, теперь в саду начнется своя, никому неведомая, таинственная жизнь; между низкими деревьями, по росистой траве заходят тени, сдвинется сумрак, и заговорит тишина каким-то неслышным зеленым голосом. Он сказал об этом Карсавиной. Девушка оглянулась и долго смотрела в темный сад задумчивыми потемневшими глазами. И Юрий подумал, что если бы она вдруг сбросила одежды и нагая, белая, веселая, убежала по росистой траве в слепую, таинственную чашу, это не было бы странно, а прекрасно и естественно, и не нарушило бы, а дополнило зеленую жизнь темного сада. Юрию хотелось сказать ей и это, но он не посмел, а заговорил опять о чтениях и о народе. Но разговор не вязался и умолк, как будто они говорили совсем не то, что было нужно. Так, молча, дошли они до калитки, улыбаясь друг другу и задевая плечами мокрые, брызгающие росой кусты. Им казалось, что все притихло и все так же задумчиво и счастливо, как они.

На дворе по-прежнему было тихо и пусто, и чернел открытыми окнами белый флигелек. Но калитка на улицу была

отворена, и в комнатах слышались торопливые шаги и стук отодвигаемых ящиков комода.

– Оля пришла, – сказала Карсавина.

– Зина, это ты? – спросила ее из комнаты Дубова, и по голосу слышно было, что произошло что-то скверное.

Она вышла на крыльцо растерянная и бледная.

– Где ты пропадала... Я тебя ищу... Семенов умирает, – запыхавшись, торопливо проговорила она.

– Что? – с ужасом переспросила Карсавина и шагнула к ней.

– Да, умирает... У него кровь хлынула горлом... Анатолий Павлович говорит, что конец... В больницу его повезли... И как странно, неожиданно... сидели мы у Ратовых и пили чай, он был такой веселый, о чем-то спорил с Новиковым, а потом вдруг закашлялся, встал, пошатнулся, и кровь так и хлынула... прямо на скатерть, в блюдечко с вареньем... густая, черная!..

– Что же он... знает? – с жутким любопытством спросил Юрий, мгновенно вспоминая лунную ночь, черную тень и раздраженно-грустный, слабый голос: «Вы еще будете живы, пройдете мимо моей могилы, остановитесь по своей надобности, а я...»

– Кажется, знает, – нервно шевеля руками, ответила Дубова, – посмотрел на нас всех и спросил: «Что это?..» – а потом весь затрясся и проговорил еще: «Уже?..» Ах, как это гадко и страшно!

И все замолчали.

Уже вовсе стемнело, и хотя по-прежнему все было прозрачно и красиво, но им казалось, будто сразу стало темно и уныло.

– Ужасная штука смерть! – сказал Юрий и побледнел. Дубова вздохнула и потупилась. У Карсавиной задрожал подбородок, и она жалобно и виновато улыбнулась. У нее не могло быть такого гнетущего чувства, как у других, потому что жизнь наполняла все ее тело и не давала ей сосредоточиться на смерти. Она как-то не могла поверить и представить себе, что теперь, когда стоит такой ясный летний вечер и в ней самой все так счастливо и полно светом и радостью, может кто-нибудь страдать и умирать. Это было естественно, но ей почему-то казалось, что это дурно. И она, стыдясь своих ощущений, бессознательно старалась подавить их и вызвать другие, а потому больше всех выразила участия и испуга.

– Ах, бедный... что же он?

Карсавина хотела спросить: скоро ли он умрет, но поперхнулась этим словом и, цепляясь за Дубову, задавала бессмысленные и бесполезные вопросы.

– Анатолий Павлович сказал, что он умрет сегодня ночью или завтра утром, – глухо сказала Дубова.

Карсавина робко и тихо заговорила:

– Пойдемте к нему... или, может быть, не надо?.. Я не знаю...

И у всех явился один и тот же вопрос: надо ли идти смот-

реть, как умирает Семенов, и хорошо или дурно это будет? И всем хотелось пойти, и было страшно увидеть, и как будто это было очень хорошо и как будто бы очень дурно.

Юрий нерешительно пожал плечами.

– Пойдемте... Там можно и не входить, а может быть...

– Может быть, он захочет кого-нибудь увидеть, – облегченно согласилась Дубова.

– Пойдем, – решительно сказала Карсавина.

– Шафров и Новиков там, – как бы оправдываясь, прибавила Дубова.

Карсавина забежала в дом за шляпой и кофточкой, и все, хмурые и грустные, пошли через город к большому трехэтажному дому, серо и плохо оштукатуренному, в котором помещалась больница, и где умирал теперь Семенов.

В коридорах, с низкими и гулкими сводами, было темно и остро пахло карболкой и йодоформом. В отделении для сумасшедших, когда они проходили мимо, кто-то сердито и скоро говорил странно напряженным голосом, но никого не было видно, и оттого стало жутко. Они пугливо оглянулись на темное квадратное окошечко. Старый и седой мужик с длинной белой бородой, похожей на нагрудник, и в длинном белом фартуке повстречался им в коридоре, шаркая большими сапогами.

– Вам кого? – спросил он, останавливаясь.

– Студента к вам привезли... Семенова... сегодня... – сказала Дубова.

– В шестой палате... пожалуйста наверх, – сказал служитель и ушел. Слышно было, как он звучно плюнул на пол и зашаркал ногой.

Наверху было светлее и чище, и потолки были без сводов. Дверь, на которой была прибита дощечка с надписью «кабинет врача», была открыта. Там горела лампа и кто-то позвякивал склянками.

Юрий заглянул туда и окликнул.

Склянки перестали звенеть, и вышел Рязанцев, как всегда свежий и веселый.

– А! – сказал он громко и весело, очевидно привыкнув к обстановке, которая давила других. – А я сегодня дежурный. Здравствуйте, барышни!

И сейчас же, высоко приподняв брови и совсем другим, грустным и значительным голосом сказал:

– Кажется, уже без памяти. Пойдемте. Там Новиков и другие.

И пока они гуськом шли по коридору, чересчур чистому и пустынному, мимо больших белых дверей с черными номерами, Рязанцев говорил:

– За священником уже послали. Удивительно, как скоро его скрутило! Я даже удивился... Впрочем, он последнее время все простужался, а это в его положении было швах!.. Вот здесь он...

Рязанцев отворил высокую белую дверь и вошел. Остальные запутались в дверях и, неловко толкаясь, прошли за ним.

Палата была большая и чистая. Четыре кровати были пусты и аккуратно прикрыты твердыми серыми одеялами с прямыми складками, почему-то напоминающими о гробах; на одной сидел маленький сморщенный старичок в халате, пугливо озиравшийся и на вошедших, и на шестую кровать, на которой лежал, вытянувшись под таким же твердым одеялом, Семенов. Возле него, на стуле, сгорбившись, сидел Новиков, а у окна стояли Иванов и Шафров. Всем казалось странным и неловким в присутствии умирающего Семенова здороваться и пожимать руки, но почему-то было так же неловко и не делать этого, как будто подчеркивая близость смерти, и потому произошла заминка. Кто поздоровался, кто нет. И все остановились там, где стояли, с робким и жутким любопытством глядя на Семенова.

Семенов дышал редко и тяжело. Он был вовсе не похож на того Семенова, которого все знали. Он был и вообще мало похож на живых людей. Хотя у него были те же черты лица, что и при жизни, и те же члены тела, что и у всех людей, но казалось, что и черты лица его, и тело какие-то особенные, страшные и неподвижные. То, что оживляло и двигало так просто и понятно телами других людей, казалось, не существовало для него. Где-то, в глубине его странно неподвижного тела совершалось что-то торопливое и страшное, точно поспешая с какой-то необходимой и уже неотвратимой работой, и вся жизнь его ушла туда, как будто смотрела на эту работу и слушала с напряженным, необъяснимым вниманием.

Лампа, горевшая посреди потолка, ясно и отчетливо освещала неподвижные, не глядящие, не слышащие черты его лица.

Все стояли и, не спуская глаз, смотрели, молча, задерживая дыхание, точно боясь нарушить что-то великое, и в тишине страшно отчетливо было слышно уродливое, свистящее и трудное дыхание Семенова.

Отворилась дверь, и застучали дробные старческие шаги. Пришел маленький и толстенький священник с псаломщиком, худым и черным человеком. И с ними пришел Санин. Священник, покашливая, поздоровался с докторами и вежливо поклонился всем. Ему как-то чересчур поспешно и превеличленно учтиво ответили все разом и опять замерли. Санин, не здороваясь, сел на окно и с любопытством стал смотреть на Семенова и на присутствующих, стараясь понять, что он и они чувствуют и думают.

Семенов дышал все так же и не шевелился.

– Без сознания? – мягко спросил священник, ни к кому не обращаясь.

– Да... – поспешно ответил Новиков.

Санин издал какой-то неопределенный звук. Священник вопросительно на него поглядел, но, не услышав ничего, отвернулся, поправил волосы, надел епитрахиль и начал тоненьким и сладким тенорком с большим выражением читать, что полагалось при смерти человека христианской религии.

У псаломщика оказался хриплый и неприятный бас, и эти

два неподходящие друг к другу голоса сплетались и расходились и печально и странно в своем диссонансе зазвучали под высоким потолком.

Когда раздалось резкое и громкое причитание, все с невольным испугом оглянулись на лицо умирающего. Новикову, который был ближе всех, показалось, что веки Семенова чуть-чуть дрогнули и неглядящие глаза немного повернулись в сторону голосов. Но другим показалось, что Семенов оставался таким же странно неподвижным.

Карсавина при первых же звуках заплакала тихо и жалобно и не отирала слез, которые текли по ее молодому и красивому лицу. И все поглядели на нее, и Дубова заплакала, а мужчины почувствовали слезы на глазах и старались удержать их, стискивая зубы. Каждый раз, когда пение становилось громче, девушки плакали сильнее, а Санин морщился и досадливо двигал плечами, думая, что, если Семенов слышит, ему должно быть невыносимо слушать это, тяжелое даже для здоровых и далеких от смерти людей, пение.

– Вы бы потише, – сердито сказал он священнику.

Священник сначала любезно наклонил ухо, но, вслушавшись, насупился и зачитал еще громче. Псаломщик строго оглянулся на Санина, и все пугливо поглядели на него, как будто он сказал что-то дурное и неприличное.

Санин с досадой махнул рукой и замолчал.

Когда все кончилось и священник завернул крест в эпитрахиль, стало еще тяжелее. Семенов по-прежнему не дви-

гался.

И вот у всех стало появляться ужасное для них, но неодолимое чувство: хотелось, чтобы все кончилось скорее и Семенов, наконец, умер. И все со стыдом и страхом старались скрыть и подавить это желание, боясь взглянуть друг на друга.

– Хоть бы уже скорее, – тихо сказал Санин. – Тяжелая штука!

– Н-да! – отозвался Иванов.

Они говорили тихо, и было очевидно, что Семенов не услышит, но все-таки другие с негодованием оглянулись на них.

Шафров хотел что-то сказать, но в это время раздался новый, невыразимо жалкий и печальный звук, заставивший всех болезненно вздрогнуть.

– И...и-и... – простонал Семенов.

И потом, как будто найдя то, что было ему нужно, он, уже не смолкая, стал тянуть этот долгий, стонящий звук, прерываемый только хриплым и трудным дыханием.

Сначала окружающие как будто не поняли, в чем дело, но сейчас же Карсавина, Дубова и Новиков заплакали. Священник медленно и торжественно стал читать отходную. На его пухлом и добродушном лице выразилось умиление и возвышенная печаль. Прошло несколько минут. Семенов вдруг замолчал.

– Кончился... – пробормотал священник.

Но в это мгновение Семенов медленно и трудно зашевелил слипшимися губами, лицо его исказилось, как бы улыбаясь, и все слышали его глухой, невероятно слабый и страшный голос, идущий, казалось, откуда-то из самой глубины его груди, как из-под крышки гроба:

– На-астоящий ракло! – проговорил он, глядя прямо на священника.

Потом вздрогнул, открыл глаза, с выражением безумного ужаса, и вытянулся.

Все слышали его слова, но никто не пошевелился, и только выражение возвышенной печали мгновенно сбежало с запотевшего красного лица священника. Он боязливо оглянулся, но никто не смотрел на него, и только Санин улыбнулся.

Семенов опять зашевелил губами, но звука не было, и только один редкий и светлый ус его опустился. Потом он опять вытянулся и стал еще длиннее и страшнее.

И больше не было ни одного звука, ни одного движения.

Теперь никто не заплакал. Приближение смерти было страшнее и печальнее ее наступления. И всем было даже как-то странно, что это томительное, мучительное дело закончилось так скоро и так просто. Они еще постояли возле постели, глядя в мертвое заострившееся лицо, как будто ожидая еще чего-нибудь и стараясь вызвать в себе жалость и ужас, с напряженным вниманием наблюдали, как Новиков закрыл глаза и сложил руки Семенову. Потом стали уходить, сдержанно топоча ногами. В коридоре уже горели лампы, и там

было все так просто и домовито, что всем вздохнулось свободнее. Впереди шел священник. Он дробно семенил ногами и, стараясь, чтобы задобрить молодежь, сказать какую-нибудь любезность, вздохнул и мягко проговорил:

– Жаль молодого человека, тем более, что он, очевидно, умер нераскаянным... Но милосердие Божие, знаете, того...

– Да... конечно! – из вежливости ответил шедший ближе других Шафров.

– У него семья? – спросил священник, ободрясь.

– Право, не знаю, – недоумевающе ответил Шафров.

Все переглянулись, и всем показалось странным и нехорошим, что никто не знает, есть ли у Семенова семья и где она.

– Сестра где-то в гимназии учится, – заметила Карсавина.

– А!.. Ну-с, до свиданья! – сказал священник, пухлыми пальцами приподнимая шляпу.

– До свиданья! – ответили все разом.

Выйдя на улицу, они облегченно вздохнули и остановились.

– Ну, куда теперь? – спросил Шафров.

Сначала все топтались в нерешительности, а потом как-то сразу стали прощаться и расходиться в разные стороны.

XI

Когда Семенов увидел кровь и почувствовал зловещую пустоту вокруг и внутри себя, когда его потом поднимали, несли и укладывали и делали за него то, что он всю жизнь делал сам, он понял, что умирает, и ему было странно, что он вовсе не испугался смерти.

Дубова, когда рассказывала о его страхе, заключила о нем потому, что она сама испугалась, и в этом состоянии испуга здорового человека при виде смерти не могла допустить, чтобы сам умирающий не боялся смерти неизмеримо больше. И его бледность и блуждающий взгляд, которые происходили от слабости и потери крови, она, как и другие, приняла за выражение страха. Но это не было им, как не был им и тот вопрос «уже?», который Семенов задал доктору.

Семенов всегда и особенно с тех пор, как узнал, что у него чахотка, боялся смерти. В первое время, когда он узнал, состояние его было ужасно мучительно и было, вероятно, похоже на состояние человека, без надежды на помилование приговоренного к смертной казни.

Ему почти показалось, что с этого мгновения мир больше не существует, что безвозвратно исчезло все то красивое, приятное и веселое, что Семенов находил в нем прежде, что все умирает и находится в состоянии мучительной агонии, которая вот-вот, каждую минуту и секунду, должна разре-

шиться чем-то невыносимо ужасным, зиявшим, как черная бездна.

Именно в виде огромной, круглой, совершенно черной бездны и представлялась Семенову смерть. И куда бы он ни шел, что бы он ни делал, эта круглая, черная дыра стояла перед ним, и в ее черной пустоте терялись и исчезали все звуки, краски и ощущения.

Это было ужасное состояние, но оно скоро стало ослабевать. Чем дальше шло время, и чем больше приближался Семенов к смерти, тем дальше, непонятнее и тусклее становилась она для него.

Все вокруг – все звуки, краски и ощущения – продолжали оставаться такими же, какими их всегда знал Семенов.

Так же светило солнце и так же делали свои дела люди, и так же приходилось и важное и пустое делать самому Семенову. По-прежнему он вставал и старательно умывался утром, обедал в полдень, находил приятным вкусное и неприятным невкусное, по-прежнему был рад солнцу и луне и сердился на затянувшийся дождь и слякоть, по-прежнему играл по вечерам на бильярде с Новиковым и другими, по-прежнему читал книги и не мог не находить одни важными и интересными, другие же скучными и глупыми. Сначала ему странно, обидно и даже больно было, что все остается по-прежнему не только в природе и в окружающих людях, но и в нем самом. Он пробовал изменить этот порядок, заставить всех заинтересоваться им и его смертью, понять весь ужас

его положения, понять, что все кончено. Но когда он рассказал об этом своим знакомым, то увидел, что рассказывать не следовало. Знакомые сначала удивились, потом не поверили, хотя и высказали сочувствие и недоверие к приговору врача, а потом постарались отогнать неприятное впечатление, настойчиво заговаривая о другом, и через минуту сам Семенов, не замечая того, уже вместе с ними говорил не о смерти, а о жизни. И все усилия его втянуть весь мир в то, что совершалось в нем самом, оказались совершенно бессильными.

Тогда он постарался уединиться, углубиться в себя и одиноко страдать полным и непоколебимым сознанием своего ужаса своей смерти. Но именно оттого, что вокруг и в его жизни все оставалось по-прежнему, совершенно нелепым казалось то, что может быть иначе и что он, Семенов, не всегда будет существовать точно так же, как и теперь. И мысль о смерти, сначала остро вонзившаяся ему в сердце, стала тупеть и отпускать сжатую душу. Все чаще и чаще стали набегать моменты полного забвения, и жизнь вновь запестрела красками, движениями и звуками.

Ощущение близости круглой, черной дыры появлялось в нем только по вечерам, когда он оставался один. Если он тушил лампу, ему казалось, что в темноте что-то бесформенное и безликое немедленно встает над ним и неумолчно шепчет: шш... шш... шш... – и на этот беззвучный, непрерывный шепот мрака в нем самом что-то отвечает шепотом, тоскливым и страшным. И тогда он чувствовал, будто все

больше и больше сливается с этим шепотом, пустотою и мраком и собственное тело колеблется в этом хаосе шепота, пустоты и мрака, как тоненькая, жалкая лучинка, каждое мгновение готовая раствориться, исчезнуть без следа.

Тогда он стал спать при лампе. При ее свете шепот становился неслышным, тьма отступала, и исчезало ощущение всасывающей пустоты, потому что она наполнялась тысячами жизненных мелочей, привычных и понятных ему: стульями, светом, чернильницей, собственными ногами, недописанным письмом, которое нужно дописать, образом с никогда не зажигаемой лампадкой, сапогами, которые Семенов забыл выставить за дверь, и другими вещами и заботами, во множестве копошившимися кругом.

Но все-таки и тогда шепот слышался из тех углов, куда не проникал свет лампы: там сгущалась темнота и чудилась все та же всасывающая, как бездонная трясина, пустота. Семенов боялся смотреть в темноту и думать о ней. Стоило ему только вспомнить о тьме и пустоте, как они выступали из всех углов, наполняли комнату, обступали Семенова, гасили лампу, заглушали заботы и закрывали от него мир непроницаемой пеленой жуткого холодного тумана. Это было невыразимо ужасно и мучительно. В такие минуты хотелось плакать, как маленький ребенок, и биться головой о стену.

Но с каждым днем, с тем днем, на который уменьшалась жизнь Семенова, эти ощущения становились все более и более привычными. Они возрастали со страшной новой силой

только тогда, когда какое-нибудь слово, жест, вид похорон, кладбища, гроба напоминал Семенову, что все-таки он умирает. И он избегал этих напоминаний, перестав даже ходить по тем улицам, которые вели к кладбищу, и никогда не ложась спать на спине со сложенными на груди руками.

В нем образовалось как бы две жизни: одна прежняя, большая, явная, которая не могла вместить мысли о смерти, забывала о ней, делала свое дело и надеялась жить во что бы то ни стало вечно, и другая – тайная, неуловимая, скрытая, как червь в яблоке, которая черным мраком просачивалась сквозь первую жизнь и, как яд, отравляла ее нестерпимой и неизбежной мукой.

В этой двойной жизни было нечто такое, что Семенов, когда наконец лицом к лицу столкнулся со смертью и понял, что жизнь кончена, почти не испугался.

«Уже?» – спросил он только для того, чтобы знать наверное.

И поняв по лицам окружающих, что «уже», Семенов только удивился, что это так просто и естественно, как конец трудного, измучившего непосильной заботой дела. Но сейчас же особенным, новым, внутренним сознанием он понял, что иначе и быть не могло, потому что смерть пришла тогда, когда в его организме не было уже сил жить.

Ему стало только жаль, что он больше никогда ничего не увидит. И когда его везли на извозчике в больницу, он молча, широко раскрытыми и полными слез глазами, смотрел

вокруг, стараясь одним взглядом охватить все и страдая, что не может до мельчайших подробностей удержать в памяти весь мир, с его небом, людьми, зеленью и синеющими воздушными далями. И равно были ему невыразимо дороги и милы и те мелочи, которых он никогда не замечал, и то, что он считал важным и прекрасным: и потемневшее прозрачное небо с золотыми звездами, и худая спина извозчика в продранном синем армяке, и Новиков с печальным испуганным лицом, и пыльная дорога, и дома с зажигающимися в окнах блестящими огоньками, и темные деревья, молчаливо убегающие назад, и стук колес, и вечерний теплый ветер, все, что он видел, слышал и ощущал.

И потом, в больнице, он торопливо и жадно обегал глазами палату, следил, запоминал всякое движение, всякое лицо и вещь, пока физические страдания не стали вытеснять все окружающее и одевать его одиночеством. Все его ощущения перешли куда-то в глубину груди, к источнику страдания. Мало-помалу он стал куда-то отодвигаться от жизни. Когда что-нибудь появлялось перед ним, оно уже казалось ему чужим и ненужным. Началась последняя борьба между жизнью и смертью, и она наполнила все существо его, образовав свой особый, одинокий мир колебаний, вспышек жизни, падений, замираний и отчаянных усилий.

Иногда наставала минута просветления, муки затихали, дыхание становилось глубже и спокойнее, и сквозь белую пелену проступали более или менее ясно образы и звуки.

Но они казались незначительными и слабыми, точно доносились издалека.

Семенов ясно слышал звуки, но как будто и не слышал их, и как будто фигуры двигались беззвучно, точно тени в синематографе; порой появлялись в круге зрения знакомые лица, но как будто они были неизвестными, не возбуждающими ничего в памяти.

Около соседней кровати человек, со странным бритым лицом, читал газету, но Семенову уже не приходило в голову понять, почему и кому он читает. Он отчетливо слышал, что выборы в парламент отсрочены, что совершено покушение на великого князя, но слова были какие-то пустые, рождающиеся и лопающиеся в пустоте, как воздушные пузырьки, без следа и звука. Двигались губы, скрывались и открывались зубы, вращались круглые глаза, шевелился лист бумаги, лампа горела на потолке ровно, и как будто какие-то большие, зловещие черные мухи беззвучно и безостановочно летали вокруг нее.

Что-то родилось в мозгу, затлелось, как светлая точка, и стало разгораться, освещая все больше и больше вокруг. И вдруг Семенов вполне ясно и сознательно подумал, что теперь все уже для него ненужно и что вся та суета, которая шла в мире, не могла и часа прибавить к жизни Семенова, которому нужно умереть.

И Семенов снова погрузился в колеблющиеся волны черного тумана, и вновь началась беззвучная смертельная борьба.

ба между двумя страшными, тайными силами, уничтожающими одна другую в усилиях незаметных, но охватывающих судорогой весь его мир.

Во второй раз Семенов вернулся к жизни, когда заплакали и запели над ним, что было совершенно ненужно и не имело никакой связи с тем, что происходило в нем. Но оно на мгновение опять родило в нем светлую точку, раздуло ее, и Семенов увидел и понял до самой глубины это возвышенно печальное лицо человека, которому до него и до которого ему не было никакого дела.

Это было последнее от жизни, затем наступило уже совершенно непонятное и невообразимое для живых людей.

XII

– Пойдем ко мне, в Бозе почившего помянем! – сказал Иванов Санину.

Санин молча кивнул головой.

Они зашли в магазин за водкой и закуской и пошли дальше, догоняя Юрия Сварожича, который, понурившись, медленно шел по бульвару.

Смерть Семенова произвела на Юрия смутное и тягостное впечатление, разобраться в котором казалось и необходимым, и невозможным.

«Что ж, все это очень просто, – пытался Юрий провести в мозгу прямую и короткую линию – человека не было раньше, чем он родился, и это не кажется ужасным и непонятным... человека не будет, когда он умрет, и это так же просто и понятно... Смерть, как полная остановка машины, выработывавшей жизненную силу, вполне понятна, и в ней нет ужаса... Был когда-то мальчик Юра, который ходил в гимназию, разбивал носы врагам второклассникам и рубил крапиву, у него была своя особенная, удивительно сложная и занимательная жизнь. Потом этот Юра умер, а вместо него вот ходит и думает совсем другой человек, студент Юрий Сварожич. Если бы их свести вместе, то Юра не мог бы понять нынешнего Юрия и даже поэтому возненавидел бы его, как человека, который, чего доброго, сделается его репетитором

и наделает ему кучу неприятностей!.. Значит, между ними пропасть, значит, мальчик Юра действительно умер... Умер Юра, умер я сам и даже не заметил этого до сих пор. Так совершилось. Это просто и естественно!.. Да... А то, что мы теряем, умирая? – что, в сущности говоря?.. В жизни, во всяком случае, больше дурного, чем радостного... Правда, радость все-таки есть, и терять ее тяжело, но то облегчение от массы зла, которое приносит смерть, должно дать все-таки плюс. Да, это очень просто и ничуть не страшно! – с облегченным вздохом сказал вслух Юрий, но тотчас же мысленно перебил себя с острым ощущением тончайшей душевной боли: – Нет!.. То, что целый мир, живой, необычайно тонкий и сложный, в одно мгновение превращается в ничто, в бревно, в мерзлое полено. Это уже не перерождение мальчика Юры в Юрия Сварожича, а это нелепо и омерзительно противно, а потому ужасно и непонятно!..»

Тонкий, холодный налет покрыл лоб Юрия.

Он стал напрягать все силы своего мозга, чтобы понять то состояние, которое каждому человеку кажется невозможным пережить, но которое все-таки каждый переживает, как вот только что пережил Семенов.

«И он не умер от страху! – усмехаясь странности этой мысли, подумал Юрий. – Напротив, он еще издевался над нами, с этим попом, пением и слезами...»

Казалось, что есть тут какой-то один пункт, который, если понять, вдруг осветит все. Но как будто глухая и неодолимая

стена стояла между его душой и этим пунктом. Ум скользил по неуловимо гладкой поверхности, и в ту минуту, когда казалось, что смысл уже близок, мысль оказывалась опять внизу, на том же самом месте. И в какую бы сторону ни закидывалась сеть тончайших мыслей и представлений, в них неизменно попадали все те же плоские и до боли надоедавшие слова: ужасно и непонятно!.. Дальше мысль не шла и, очевидно, не могла идти.

Это было мучительно и ослабляло и мозг, и душу, и все тело. К сердцу подступала тоска, мысли делались вялы и бесцветны, голова болела, и хотелось сесть тут же на бульваре и махнуть рукой на все, даже на самый факт жизни.

«Как мог Семенов смеяться, зная, что через несколько мгновений все будет кончено!.. Что он – герой? Нет, тут не в героизме дело. Значит, смерть вовсе не так страшна, как я думаю?..»

И это время Иванов громко и неожиданно окликнул его.

– А, это вы! Куда? – вздрогнув, спросил Юрий.

– Поминать прах новопреставленного раба! – грубо и весело ответил Иванов. – Пойдемте с нами, что вы все в одиночку околачиваетесь!

Должно быть, потому, что Юрию было страшно и грустно, Санин и Иванов не показались ему такими неприятными, как всегда.

– Что ж, пойдемте! – согласился он, но сейчас же вспомнил свое превосходство над ними и сказал себе: «Ну, что мне

с ними делать? Водку пить, пошлости говорить?» Он уже хотел заставить себя отказаться, но все существо его инстинктивно воспротивилось одиночеству, и Юрий пошел.

Иванов и Санин молчали, и так, молча, дошли они до самого дома Иванова.

Было уже совсем темно, и у калитки, на лавочке, неопределенно мерещилась фигура человека с толстой крючковой палкой.

– А, дядько, Петр Ильич! – радостно закричал Иванов.

– Я, – глухой октавой отозвался человек, и мощный голос его мужественно прогудел в воздухе.

Юрий вспомнил, что дядя Иванова был старый, пьянственный певчий соборного хора. У него были седые усы, как у николаевского солдата, и от его затасканной черной тужурки всегда скверно пахло.

– Буб-бу! – слабым ударом в бочку отдался его голос, когда Иванов познакомил его с Юрием.

Юрий неловко подал ему руку и не знал, что сказать и как держать себя с таким человеком. Но он сейчас же вспомнил, что для Юрия Сварожича должны быть одинаковы все люди, и пошел рядом со старым певчим, старательно уступая ему дорогу.

Иванов жил в комнате, больше похожей на чулан, чем на жилье, так много было в ней пыли, хламу и беспорядка. Но когда хозяин зажег лампу, Юрий увидел, что все стены увешаны гравюрами с картин Васнецова, а кучи хлама оказались

грудами книг.

Юрию все еще было как-то неловко, и, чтобы скрыть это, он стал внимательно рассматривать гравюры.

– Любите Васнецова? – спросил Иванов и, не слушая ответа, ушел за посудой.

Санин сказал Петру Ильичу, что умер Семенов.

– Царство небесное, – опять загудело в бочке, и, помолчав, Петр Ильич прибавил: – Ну, что ж... и хорошо. Все, значит, исполнено.

Юрий задумчиво посмотрел на него и вдруг почувствовал симпатию к старому певчему.

Пришел Иванов и принес хлеб, соленых огурцов на тарелке и рюмки. Расставив все это на столе, покрытом газетной бумагой, он взял бутылку и коротким, почти незаметным движением выбил пробку, не пролив ни одной капли.

– Ловко! – похвалил Петр Ильич.

– Сейчас видно, который человек понимающий! – самодовольно пошутил Иванов, разливая по рюмкам зеленовато-белую жидкость.

– Ну, господа, – беря свою рюмку и возвышая голос, заговорил он, – за упокой души и все прочее!

Стали закусывать, потом выпили еще и еще. Мало говорили, больше пили. В маленькой комнате скоро стало жарко и душно. Петр Ильич закурил папиросу и сразу затянул все синими полосами дурного табачного дыму. От выпитой водки, от дыму и жары у Юрия стала кружиться голова. Он

опять вспомнил Семенова.

– Скверная штука смерть!

– Почему? – спросил Петр Ильич. – Смерть?.. О-о!.. Но это... это необходимо!.. Смерть!.. А если бы жить вечно?.. О-о!.. Вы остерегайтесь так говорить... Вечная жизнь!.. Что такое?!

Юрий вдруг подумал, что если бы он жил вечно... Ему представилась какая-то бесконечная серая полоса, томительно и бесцельно разворачивающаяся в пустоте, как будто с одного вала наматываясь на другой. Всякое представление о красках, звуках, о глубине и полноте переживаний как-то стиралось и бледнело, сливаясь в одну серую муть, текущую без русла и движения. Это уже не было жизнью, это была та же смерть. Юрию стало положительно страшно.

– Да, конечно... – пробормотал он.

– А на вас, как видно, большое впечатление произвело, – заметил Иванов.

– А на кого же это не произведет впечатления? – вместо ответа спросил Юрий.

Иванов неопределенно качнул головой и стал рассказывать Петру Ильичу о последних минутах Семенова.

В комнате становилось уже невыносимо душно. Юрий машинально наблюдал, как водка, блестя на свету лампы, переливалась в тонкие красные губы Иванова, и чувствовал, что все вокруг начинает тихо кружиться и расплываться.

– А-а-а-а... – запело у него в ушах тоненьким таинствен-

но-печальным голоском.

– Нет, страшная штука смерть! – сам того не замечая, повторил он, как будто отвечал этому таинственному голоску.

– Чересчур вы нервничаете! – пренебрежительно отозвался Иванов.

– А вы на это не способны? – машинально спросил Юрий.

– Я?.. Ну н-нет!.. Помирать мне, конечно, неохота: это пустое дело, и жить не в пример веселее... но ежели уж смерть, так что ж... помру в одночасье и без всяких антимоний.

– Не умирал ты и не знаешь, – улыбнулся Санин.

– И то правда! – засмеялся Иванов.

– Все это слыхано, – вдруг с тоскливым озлоблением заговорил Юрий, – говорить можно все, а все-таки смерть остается смертью!.. Она ужасна сама по себе, и человеку, который... ну, отдает себе отчет в своей жизни, этот неизбежный насильственный конец должен убивать всякую радость жизни!.. Какой смысл!

– И это слыхано, – с насмешкой перебил Иванов, тоже внезапно озлобляясь. – Все вы думаете, что только вы...

– Какой смысл? – задумчиво переспросил Петр Ильич.

– Да, никакого! – с тем же непонятным озлоблением закричал Иванов.

– Нет, это невозможно, – возразил Юрий, – уж слишком все вокруг мудро и...

– А по-моему, ничего хорошего нет, – отозвался Санин.

– Что вы говорите... А природа?

– Что ж природа, – слабо улыбаясь, махнул рукой Санин. – Ведь это так только принято говорить, что природа совершенна... А по правде говоря, она так же плоха, как и человек: каждый из нас, даже без особого напряжения фантазии, может представить себе мир во сто раз лучше того, что есть... Почему не быть бы вечному теплу, свету и сплошному саду, вечно зеленому и радостному?.. А смысл? Смысл, конечно, есть... его не может не быть просто потому, что цель определяет ход вещей, без цели может быть только хаос. Но эта цель лежит вне нашей жизни, в основах всего мира... Это понятно... Мы не можем быть ее началом, следовательно, не можем быть и концом. Наша роль чисто вспомогательная и очевидно пассивная. Тем фактом, что мы живем, исполняется наше назначение... Наша жизнь нужна, а следовательно, и смерть нужна...

– Кому?

– А я почем знаю! – засмеялся Санин. – Да и какое мне дело!.. Моя жизнь – это мои ощущения приятного и неприятного, а что за пределами – черт с ним!.. Какую бы мы гипотезу ни выработали, она останется только гипотезой, и на основании ее строить свою жизнь было бы глупо. Кому нужно, тот пусть об этом и беспокоится, а я буду жить.

– Выпьем по сему случаю! – предложил Иванов.

– А в Бога вы верите? – спросил Петр Ильич, поворачивая к Санину помутневшие глаза. – Теперь никто не верит... не верят даже в то, что можно верить...

– Я в Бога верю, – опять засмеялся Санин, – вера в Бога осталась во мне с детства, и я не вижу никакой необходимости ни бороться с нею, ни укреплять ее. Это выгоднее всего: если Бог есть, я принесу ему искреннюю веру, а если Его нет, то мне же лучше...

– Но на основании веры или безверия строится жизнь, – заметил Юрий.

– Нет, – качнул головой Санин, и лицо его сложилось в равнодушно веселую улыбку, – я не на этом основании строю свою жизнь.

– А на каком же? – устало спросил Юрий.

«А-а-а... не надо больше пить...» – тоскливо подумал он, проводя рукой по холодно-потному лбу.

Может быть, Санин что-нибудь ответил, может быть, нет, но Юрий не слышал: у него закружилась голова, и на секунду стало дурно.

– ...я верю, что есть Бог, но вера существует во мне сама по себе, – говорил дальше Санин, – он есть или нет, но я его не знаю и не знаю, чего ему от меня нужно... Да и как я мог бы это знать при самой горячей вере!.. Бог есть Бог, а не человек, и никакой человеческой мерки к нему приложить нельзя. В его творчестве, которое мы видим, есть все: и зло, и добро, и жизнь, и смерть, и красота, и безобразие... все... а так как при этом исчезает всякая определенность, всякий смысл и обнаруживается хаос, то, следовательно, его смысл – не человеческий смысл, а его добро и зло – не человеческие

добро и зло... Наше определение Бога всегда будет идолопоклонничеством, и всегда мы будем оделять своего фетиша физиономией и одеждами применительно к местным климатическим условиям... Нелепость!

– Так-с! – крикнул Иванов. – Правильно!

– Для чего же тогда и жить? – спросил Юрий, с отвращением отодвигая свою рюмку.

– А для чего же и умирать?

– Я знаю одно, – ответил Санин, – я живу и хочу, чтобы жизнь не была для меня мучением. Для этого надо прежде всего удовлетворять свои естественные желания. Желание – это все: когда в человеке умирают желания, умирает и его жизнь, а когда он убивает желания – убивает себя!

– Но желания могут быть злыми?

– Может быть.

– Тогда как?..

– Так же, – ласково ответил Санин и посмотрел в лицо Юрию светлыми немигающими глазами.

Иванов высоко поднял брови, недоверчиво взглянул на Санина и промолчал. Молчал и Юрий, и почему-то ему было жутко смотреть в эти светлые ясные глаза, и почему-то он старался не опустить взгляда.

Несколько минут было тихо, и отчетливо слышалось, как одиноко и отчаянно билась с налету о стекло окна ночная бабочка. Петр Ильич грустно покачивал головой, опустив пьяное лицо к залитой грязной газете. Санин все улыбался.

Юрия и раздражала, и привлекала эта постоянная улыбка.

– Какие у него прозрачные глаза! – бессознательно подумал он.

Санин вдруг встал, отворил окно и выпустил бабочку. Как взмах большого мягкого крыла удивительно приятно и легко прошла по комнате волна чистого прохладного воздуха.

– Да, – проговорил Иванов, отвечая на собственные мысли, – люди бывают всякие, а по сему случаю – выпьем.

– Нет, – покачал головой Юрий, – я не буду больше пить.

– П-почему?

– Я вообще мало пью...

От водки и жары у Юрия уже болела голова, и хотелось на воздух.

– Ну, я пойду... – сказал он, вставая.

– Куда?.. выпьем еще!..

– Нет, право, мне нужно... – рассеянно отвечал Юрий, отыскивая фуражку.

– Ну, до свидания!

Когда Юрий уже затворял двери, то слышал, как Санин, возражая Петру Ильичу, говорил: «Да, если не будете, как дети, но ведь дети не различают добра и зла, они только искренни... в этом их...»

Юрий затворил дверь, и сразу стало тихо.

Луна стояла уже высоко, легкая и светлая. На Юрия пахнуло влажным от росы прохладным воздухом. Все было соткано из лунного света, красиво и задумчиво. Юрию, когда

он шел один по ровным от лунного света улицам, было странно и трудно думать, что где-то есть молчаливая черная комната, где на столе желтый и недвижимый лежит мертвый Семенов.

Но почему-то он не мог вызвать опять те тяжелые и страшные мысли, которые еще так недавно подавляли всю его душу, завлакивая весь мир черным туманом. Ему было только тихо и грустно, и хотелось, не отрываясь, смотреть на далекую луну.

Проходя по пустой, при луне казавшейся широкой и странно гладкой площади, Юрий стал думать о Санине.

«Что это за человек?» – спросил он и в недоумении долго колебался.

Ему было неприятно, что нашелся человек, которого он, Юрий, не мог определить сразу, и оттого хотелось определить непременно дурно.

«Фразер, – с недобрым удовольствием подумал он, – когда-то рисовались отвращением к жизни, высшими непонятными запросами, а теперь рисуются животностью...»

И, бросив Санина, Юрий стал думать о себе, что вот он ничем не рисуется, а все в нем, и страдания, и думы, особенное, ни на кого не похожее. Это было приятно, но чего-то не хватало, и Юрий стал вспоминать покойного Семенова.

Он грустно подумал, что никогда больше не увидит больного студента, и Семенов, которого он никогда особенно не любил, стал ему близок и дорог до слез. Юрий представил

себе студента лежащим в могиле, с прогнившим лицом, с телом, наполненным червями, медленно и омерзительно копошащимися в разлагающемся месиве, под позеленевшим сырым и жирным мундиром. И, весь вздрогнув от отвращения, Юрий вспомнил слова покойного.

«...Я буду лежать, а вы пройдете и остановитесь надо мною по собственной надобности...»

«А ведь это все люди! – с ужасом подумал Юрий, пристально глядя на дорожную жирную пыль. – Я иду и топчу мозги, сердца, глаза... ох!»

Он почувствовал какую-то противную слабость под коленями.

«Умру и я... умру, и по мне так же будут ходить и думать то же, что я думаю теперь... Да, надо, пока еще не поздно, жить и жить!.. Хорошо жить, так жить, чтобы не пропадал даром ни один момент моей жизни... А как это сделать?»

На площади было пусто и светло, и над всем городом стояла чуткая и загадочная лунная тишина.

И струны громкие Баянов

Не бу-удут го-о-ворить о нем... —

тихо пропел Юрий.

– Скучно, грустно, страшно! – громко проговорил он, точно жалуясь, но сам испугался своего голоса и оглянулся: не слышал ли кто.

«Я пьян...» – подумал он.

Ночь была светлая и молчаливая.

XIII

Когда Карсавина и Дубова уехали куда-то погостить, жизнь Юрия Сварожича пошла ровно и однообразно.

Николай Егорович был занят хозяйством и клубом, а Ляля и Рязанцев так очевидно тяготились чьим бы то ни было присутствием, что Юрию было неловко с ними. Само собой сделалось так, что он стал ложиться спать рано, а вставать поздно, почти к самому обеду. И целый день, сидя то в саду, то в своей комнате, он напряженно шевелил мыслями и ожидал мощного прилива энергии, чтобы начать делать что-то большое.

Это «большое» принимало каждый день новое выражение: то это была картина, то – ряд статей, которые, незаметно для самого Юрия, должны были доказать всему миру, какую глубокую ошибку сделали социал-демократы, не предоставив Юрию Сварожичу первой роли в партии, иногда это было общение с народом и живая непосредственная работа в нем, но всегда все было важно и сильно.

Но день проходил так же, как приходил, и не приносил ничего, кроме скуки. Раза два приходили к нему Новиков, Шафров, сам Юрий ходил на чтения и в гости, но все это было чуждо ему, разбросано, не имело связи с тем, что томилось внутри его.

Один раз Юрий зашел к Рязанцеву. Доктор жил в чистой и

большой квартире, и в его комнатах была масса вещей, предназначенных для развлечения здорового и сильного человека: гимнастические приборы, гири, резины, рапиры, удочки, сетки для перепелов, мундштуки и трубки. От всего пахло здоровым мужским телом и самодовольством.

Рязанцев встретил его приветливо и развязно, показал ему все свои вещи, смеялся, рассказывал анекдоты, предлагал курить и пить и, в конце концов, позвал его на охоту.

– У меня ружья нет, – сказал Юрий.

– Да возьмите у меня, у меня их пять, – возразил Рязанцев.

Он видел в Юрии брата Ляли, и ему хотелось сойтись с ним поближе и понравиться ему. Поэтому он так горячо и настойчиво предлагал Юрию взять любое из его ружей, так весело и охотно притащил все, разобрал их, объяснял устройство и даже выстрелил на дворе в цель, что наконец и Юрий почувствовал желание так же весело смеяться, двигаться, стрелять и согласился взять ружье и патроны.

– Ну вот и отлично, – искренно обрадовался Рязанцев. – А я как раз собирался завтра на перелет... Вот и поедем вместе, а?

– С удовольствием, – согласился Юрий.

Вернувшись домой, он, сам того не замечая, часа два возился с ружьем, рассматривал его, пригонял ремень к своим плечам, вскидывал приклад, целился в лампу и сам старательно смазал старые охотничьи сапоги.

На другой день, к вечеру, на беговых дрожках, запряжен-

ных сытой гнедой лошадыю, приехал за ним веселый и свежий Рязанцев.

– Готовы? – закричал он в окно Юрию.

Юрий, нацепивший уже на себя ружье, патронташ и ягдташ и неловко путающийся в них, смущенно улыбаясь, вышел из дому...

– Готов, готов, – сказал он.

Рязанцев был просторно и легко одет и с некоторым удивлением посмотрел на снаряжение Юрия.

– Так вам тяжело будет, – сказал он, улыбаясь, – вы снимите это все и положите вот сюда. Приедем на место, там и наденете.

Он помог Юрию снять вооружение и уложить его под сиденье дрожек. Потом они быстро поехали, во всю рысь доброй лошади. День был к концу, но было еще жарко и пыльно. Колеса дробно потряхивали дрожки, и Юрию приходилось держаться за сиденье. Рязанцев без умолку говорил и смеялся, а Юрий с дружелюбным удовольствием смотрел в его плотную спину, обтянутую пропотевшим под мышками чесучовым пиджаком, и невольно подражал ему в смехе и шутках. Когда они выехали в поле и по ногам их легко защелкали полевые жесткие травы, стало прохладнее, легче, и пыль упала.

У какой-то бесконечной, плоской, с белевшими по ней арбузами, бахчи Рязанцев остановил запотевшую лошадь и залившимся баритоном долго кричал, приставив ко рту обе ру-

ки:

– Кузьма-а... Кузьма-а-а...

Какие-то крошечные люди, еле видные на другом конце бахчи, подняли головы и долго смотрели на кричавших, а потом от них отделился один и долго шел по рядам, пока не стало видно, что это высокий и седой мужик, с большой бородой и свисшими вперед корявыми руками.

Он медленно подошел и, широко улыбаясь, сказал:

– Здоров, Анатолий Павлович, кричать-то!

– Здравствуй, Кузьма, как живешь?.. Лошадь у тебя пусть, а?

– Можно и у меня, – спокойно и ласково сказал мужик, беря лошадь под уздцы. – На охоту, гляди?.. А это кто ж такие будут? – спросил он, приветливо присматриваясь к Юрию.

– Николая Егоровича сынок, – весело ответил Рязанцев.

– А... То-то я гляжу, ровно на Людмилу Николаевну лицом схожи... Так, так...

Юрию почему-то было приятно, что этот старый и приветливый мужик знает его сестру и так просто, ласково говорит о ней.

– Ну идем, – весело и возбужденно сказал Рязанцев, доставая из передка и надевая ружье и сумки.

– Час добрый, – сказал им вслед Кузьма, и слышно было, как тпрукал на лошадь, заворачивая ее под курень.

До болота пришлось идти с версту, и солнце уже совсем село, когда земля стала сочнее и покрылась луговой свежей

травой, осокой и камышами. Заблестела вода, запахло сыростью, и стало смеркаться. Рязанцев перестал курить, широко расставил ноги и вдруг сделался совершенно серьезен, точно приступал к очень важному и ответственному делу. Юрий отошел от него вправо и за камышами выбрал нетопкое и удобное стоять местечко. Прямо перед ним была вода, казавшаяся чистой и глубокой от светлой зари, отражавшейся в ней, а за нею чернел слившийся в одну темную полосу другой берег.

И почти тотчас же, откуда-то неожиданно появляясь и тяжело махая крыльями, стали по две, по три лететь утки. Они внезапно появлялись из-за камышей и, поворачивая головки то туда, то сюда, отчетливо видные на еще светлом небе, пролетали над головами людей. Первый, и удачно, выстрелил Рязанцев. Убитый им селезень комком перевернулся в воздухе и тяжело шлепнулся где-то в стороне, всплеснув воду и с шумом приминая тростинки.

– С полем! – звучно и довольно прокричал Рязанцев и захохотал.

– А он, в сущности, славный парень! – почему-то подумал Юрий.

Потом выстрелил сам, и тоже удачно, но убитая им утка упала где-то далеко, и он никак не мог найти ее, хотя и порезал себе руки осокой и попал в воду по колено. Но неудача только оживила его: теперь все, что бы ни случилось, было хорошо.

Пороховой дым как-то особенно приятно пахнул в прозрачном и прохладном воздухе над рекой, а огоньки выстрелов с веселым треском красиво и ярко вспыхивали среди уже потемневшей зелени. Убитые утки тоже красиво кувыркалились на фоне бледно-зеленоватого неба, по которому расплывалась заря и слабо поблескивали первые бледные звездочки. Юрий чувствовал необыкновенный прилив силы и веселья, и ему казалось, что никогда он не испытывал ничего интереснее и живее.

Потом утки стали лететь все реже и реже, и в сгустившихся сумерках трудно уже было целиться.

– Э-гей! – прокричал Рязанцев. – Пора домой!

Юрию жаль было уходить, но он все-таки пошел навстречу Рязанцеву, уже не разбирая воды, шлепая по лужам и путаясь в тростниках. Сошлись, блестя глазами и сильно, но легко дыша.

– Ну что, – спросил Рязанцев, – удачно?

– Еще бы! – ответил Юрий, показывая полный ягдташ.

– Да вы лучше меня стреляете! – как будто даже обрадовался Рязанцев.

Юрию была приятна эта похвала, хотя он всегда думал, что не придает никакого значения физической силе и ловкости.

– Ну где же лучше! – самодовольно возразил он. – Просто повезло!

Уже совсем стемнело, когда они подошли к куреню. Бахча

утонула во мраке, и только ближайшие ряды мелких арбузов, отбрасывая длинные плоские тени, белели от огня. Около куреня фыркала невидимая лошадь, потрескивая, горел маленький, но яркий и бойкий костер из сухого бурьяна, слышался крепкий мужицкий говор, бабий смех и чей-то, показавшийся Юрию знакомым, ровный веселый голос.

– Да это Санин, – удивленно сказал Рязанцев. – Как он сюда попал?

Они подошли к костру. Сидевший в круге света белобородый Кузьма поднял голову и приветливо закивал им.

– С удачей, что ли? – глухим басом из-под нависших усов спросил он.

– Не без того, – отозвался Рязанцев.

Санин, сидевший на большой тыкве, тоже поднял голову и улыбнулся им.

– Вы как сюда попали? – спросил Рязанцев.

– Мы с Кузьмой Прохоровичем давнишние приятели, – еще больше улыбаясь, пояснил Санин.

Кузьма довольно оскалил желтые корешки съеденных зубов и дружелюбно похлопал Санина по колену своими твердыми, не сгибающимися пальцами.

– Так, так, – сказал он. – Анатолий Павлович, садись, кавунца покушай. И вы, панич... Как вас звать-то?

– Юрий Николаевич, – несколько предупредительно улыбаясь, ответил Юрий.

Он чувствовал себя неловко, но ему уже очень нравился

этот спокойный старый мужик с его ласковым, полурусским, полухохлацким говором:

– Юрий Миколаевич, так... Ну, знакомы будем. Садись, Юрий Миколаевич.

Юрий и Рязанцев сели к огню, подкатив две тяжелые твердые тыквы.

– Ну покажите, покажите, что настреляли, – заинтересовался Кузьма.

Груда битой птицы, пятная землю кровью, вывалилась из ягдташей. При танцующем свете костра она имела странный и неприятный вид. Кровь казалась черной, а скрюченные лапки как будто шевелились.

Кузьма потрогал селезня под крыло.

– Жирен, – сказал он одобрительно, – ты бы мне парочку, Анатолий Павлович... куда тебе столько!

– Берите хоть все мои, – оживленно предложил Юрий и покраснел.

– Зачем все... Ишь, добрый какой, – засмеялся старик. – А я парочку... чтоб никому не обидно!

Подожли поглядеть и другие мужики и бабы. Не подымая глаза от огня, Юрий не мог разглядеть их. То одно, то другое лицо, попадая в полосу света, ярко появлялось из темноты и исчезало.

Санин, поморщившись, поглядел на убитых птиц, отодвинулся и скоро встал. Ему было неприятно смотреть на красивых сильных птиц, валявшихся в пыли и крови, с разби-

тыми, поломанными перьями.

Юрий с любопытством следил за всеми, жадно откусывая ломти спелого, сочного арбуза, который Кузьма резал складным с костяной желтой ручкой ножиком.

– Кушай, Юрий Миколаевич, хорош кавун... Я и сестрицу, Людмилу Миколаевну, и папашу вашего знаю... Кушай на здоровье...

Юрию все нравилось здесь: и запах мужицкий, похожий на запах хлеба и овчины вместе, и бойкий блеск костра, и тыква, на которой он сидел, и то, что когда Кузьма смотрел вниз, видно было все его лицо, а когда подымал голову, оно исчезало в тени и только глаза блестели, и то, что казалось, будто тьма висит над самой головой, придавая веселый уют освещенному месту, а когда Юрий взглядывал вверх, сначала ничего не было видно, а потом вдруг показывалось высокое, величественное спокойное темное небо и далекие звезды.

Но в то же время ему было почему-то неловко, и он не знал, о чем говорить с мужиками.

А другие, и Кузьма, и Санин, и даже Рязанцев, очевидно вовсе не выбирая темы для разговора, разговаривали так просто и свободно, толкуя обо всем, что попадалось на глаза, что Юрий только дивился.

– Ну а как у вас насчет земли? – спросил он, когда на минуту все умолкли, и сам почувствовал, что вопрос вышел напряженным и неуместным.

Кузьма посмотрел на него и ответил:

– Ждем-пождем... авось что и будет.

И опять заговорили о бахче, о цене на арбузы и еще о каких-то своих делах, а Юрию почему-то стало еще более неловко и еще больше приятно сидеть здесь и слушать.

Послышались шаги. Маленькая рыжая собачонка с крепко закрученным белым хвостом появилась в круге света, завиляла, понюхала Юрия и Рязанцева и стала тереться о колени Санина, погладившего ее по жесткой и крепкой шерсти. За нею показался белый от огня маленький старичок, с жиденькой клочковатой бородкой и маленькими глазками. В руке он держал рыжее одноствольное ружье.

– Наш сторож... дедушка... – сказал Кузьма. Старичок сел на землю, положил ружье и посмотрел на Юрия и Рязанцева.

– С охоты... так... – прошамкал он, обнаруживая голые сжеванные десны. – Эге... Кузьма, картоху варить пора, эге...

Рязанцев поднял ружье старичка и, смеясь, показал его Юрию. Это было ржавое, тяжелое, связанное проволокой пистонное ружье.

– Вот фузея! – сказал он.

– Как ты из него, дедушка, стрелять не боишься?

– Эге ж... Бач, трохи не убывея... Степан Шапка казав мини, шо и без пыстона може выстрелить... Эге... без пыстона... казав, как сера останется, так и без пыстона выстре-

лит... Вот я отак положив на колено, курок взвив, курок взвив, а пальцем отак... а оно как б-бабахнет!.. Трохи не убывся!.. Эге, эге... курок взвив, а оно как б-бабахнет... ах трохи не убывся...

Все засмеялись, а у Юрия даже слезы на глаза выступили, так трогателен показался ему этот старичок с клочковатой седенькой бороденкой и шамкающим ртом. Смеялся и старичок, и глазки у него слезились.

– Трохи не убывся!..

В темноте, за кругом света, слышался смех и голоса девок, дичившихся незнакомых господ. Санин в нескольких шагах, совсем не там, где его предполагал Юрий, зажег спичку, и когда вспыхнул розовый огонек, Юрий увидел его спокойно ласковые глаза и другое, молодое и чернобровое лицо, наивно и весело глядевшее на Санина темными женскими глазами.

Рязанцев подмигнул в ту сторону и сказал:

– Дедушка, ты бы за внучкой-то присматривал, а?

– А что за ней глядеть, – добродушно махнул рукой старый Кузьма, – их дело молодое!

– Эге ж, эге! – отозвался старичок, голыми руками доставая из костра уголек.

Санин весело засмеялся в темноте. Но женщина, должно быть, застыдилась, потому что они отошли и голоса их стали чуть слышны.

– Ну, пора, – сказал Рязанцев, вставая. – Спасибо, Кузьма.

– Не на чем, – ласково отозвался Кузьма, рукавом стряхивая с белой бороды приставшие к ней черные семечки арбуза.

Он подал руку Юрию и Рязанцеву. Юрию опять было и неловко, и приятно пожать его жесткие несгибающиеся пальцы.

Когда они отошли от огня, стало виднее. Вверху засверкали холодные звезды, и там показалось удивительно красиво, и спокойно, и бесконечно. Зачернелись сидевшие у костра люди, лошади и силуэт воза с кучей арбузов. Юрий наткнулся на круглую тыкву и чуть не упал.

– Осторожнее, сюда... – сказал Санин. – До свиданья.

– До свиданья, – ответил Юрий, оглядываясь на его высокую темную фигуру, и ему показалось, будто к Санину прижалась стройная и высокая женщина. У Юрия сердце сжалось и сладко заныло. Ему вдруг вспомнилась Карсавина, и стало завидно Санину.

Опять застучали колеса дрожек и зафыркала добрая отдохнувшая лошадь. Костер остался позади, и замерли говор и смех. Стало тихо. Юрий медленно поднял глаза к небу и увидел бесчисленную сеть бриллиантовых шевелящихся звезд.

Когда показались заборы и огни города и залаяли собаки, Рязанцев сказал:

– А философ этот Кузьма, а?

Юрий посмотрел ему в темный затылок, делая усилие,

чтобы из-за своих задумчивых, грустно нежных мыслей понять, что он говорит.

– А. Да, – не скоро ответил он.

– Я и не знал, что Санин такой молодец! – засмеялся Рязанцев.

Юрий окончательно опомнился и представил себе Санина и то, как ему показалось, удивительно нежное и красивое женское лицо, которое он увидел при свете спички. Ему опять стало бессознательно завидно, и оттого он вдруг вспомнил, что поступки Санина по отношению к этой крестьянской девушке должны считаться скверными.

– И я не знал! – с иронией сказал он.

Рязанцев не понял его тона, чмокнул на лошадь, помолчал и нерешительно, но со вкусом сказал:

– Красивая девка, а?.. Я ее знаю... Это того старичка внука...

Юрий помолчал. Какое-то добродушное и весело задумчивое очарование быстро сползло с него, и прежний Юрий уже ясно и твердо знал, что Санин дурной и пошлый человек.

Рязанцев как-то странно передернул плечами и головой и решительно крякнул:

– А, черт... Ночь-то!.. Даже меня разобрало!.. Знаете, а не поехать ли нам, а?

Юрий сразу не понял.

– Есть красивые девки... Поедем, а? – хихикающим голосом продолжал Рязанцев.

Юрий густо покраснел в темноте. Запретное чувство шевельнулось в нем с животной жадью, жуткие и любопытные представления кольнули его вспыхнувший мозг но он сделал над собой усилие и сухо ответил:

– Нет, пора домой... – И уже зло прибавил: – Ляля нас ждет. Рязанцев вдруг сжался, как-то осунулся и стал меньше.

– Ну да... впрочем, пора и в самом деле... – торопливо пробормотал он.

Юрий, от злобы и омерзения стискивая зубы и с ненавистью глядя в широкую спину в белом пиджаке, проговорил:

– Я вообще не охотник до таких походов.

– Ну да... ха-ха... – трусливо и неприязненно засмеялся Рязанцев и замолчал.

«Эх, черт... неловко вышло!» – думал он. Они молча доехали до дому, и дорога показалась им бесконечной.

– Вы зайдете? – спросил Юрий, не глядя.

– Н-нет, у меня больной, знаете... а?.. Да и поздно, а? – нерешительно возразил Рязанцев.

Юрий слез с дрожек и хотел даже не брать ружья и дичи. Все, что принадлежало Рязанцеву, казалось ему теперь отвратительным. Но, Рязанцев сказал:

– А ружье?

И Юрий против воли вернулся, с отвращением забрал снаряды и птиц, неловко подал руку и ушел. Рязанцев тихо проехал несколько сажен, и вдруг, быстро свернув в переулок, колеса затарахтели в другую сторону. Юрий прислушался с

ненавистью и несознаваемой тайной завистью.

– Пошляк! – пробормотал он, и ему стало жаль Лялю.

XIV

Занеся вещи в дом и не зная, что с собой делать, Юрий тихо вышел на крыльцо в сад.

В саду было темно, как в бездне, и странно было видеть над ним горящее звездами, блестящее небо.

На ступеньках крыльца задумчиво сидела Ляля, и ее маленькая серая фигурка неопределенно мерещилась в темноте.

– Это ты, Юра? – спросила она.

– Я, – ответил Юрий и, осторожно спустившись вниз, сел с нею рядом. Ляля мечтательно положила голову ему на плечо. От ее неприкрытых волос в лицо Юрию пахнуло свежим, чистым и теплым запахом. Это был женский запах, и Юрий с бессознательным, но тревожным наслаждением вдохнул его.

– Хорошо поохотились? – ласково спросила Ляля и, помолчав, прибавила тихо и нежно: – А где Анатолий Павлович?.. Я слышала, как вы подъехали.

«Твой Анатолий Павлович – грязное животное!» – хотел крикнуть Юрий с внезапным приливом злобы, но вместо того неохотно ответил:

– Право, не знаю... к больному поехал.

– К больному... – машинально повторила Ляля и замолчала, глядя на звезды.

Она не огорчилась, что Рязанцев не зашел к ней: девушке

хотелось побыть одной, чтобы его присутствие не помешало ей обдумать наполняющее ее молодые душу и тело, такое дорогое ей, такое таинственное и важное чувство. Это было чувство какого-то желанного и неизбежного, но жуткого перелома, за которым должна отпасть вся прежняя жизнь и должно начаться новое. До того новое, что сама Ляля должна тогда стать совсем другой.

Юрию странно было видеть всегда веселую и смешливую Лялю такой тихой и задумчивой. Оттого, что он сам был весь наполнен грустными раздраженными чувствами, Юрию все – и Ляля, и далекое звездное небо, и темный сад, – все казалось печальным и холодным. Юрий не понимал, что под этой беззвучной и неподвижной задумчивостью была не грусть, а полная жизнь: в далеком небе мчалась неизмерно могучая неведомая сила, темный сад изо всех сил тянул из земли живые соки, а в груди у тихой Ляли было такое полное счастье, что она боялась всякого движения, всякого впечатления, которое могло нарушить это очарование, заставить замолчать ту, такую же блестящую, как звездное небо, и такую же заманчиво-таинственную, как темный сад, музыку любви и желания, которая бесконечно звучала у нее в душе.

– Ляля... ты очень любишь Анатолия Павловича? – тихо и осторожно, точно боясь разбудить ее, спросил Юрий.

– Разве можно об этом спрашивать? – не подумала, а почувствовала Ляля, но сейчас же опомнилась и благодарно прижалась к брату за то, что он заговорил с нею не о чем-

нибудь другом, ненужном и мертвом для нее теперь, а именно о любимом человеке.

– Очень, – ответила она так тихо, что Юрий скорее угадал, чем услышал, и сделала мужественное усилие, чтобы улыбкой удержать счастливые слезы, выступившие на глазах.

Но Юрию в ее голосе послышалась тоскливая нотка, и еще больше жалости к ней и ненависти к Рязанцеву явилось в нем.

– За что же? – невольно спросил он, сам пугаясь своего вопроса.

Ляля удивленно посмотрела на него, но не увидела его лица и тихонько засмеялась.

– Глу-упый!.. За что!.. За все... Разве ты сам никогда не был влюблен?.. Он такой хороший, добрый, честный...

«...красивый, сильный!» – хотела добавить Ляля, но до слез покраснела в темноте и не сказала.

– А ты его хорошо знаешь? – спросил Юрий.

«Эх, не надо этого говорить, – подумал он с грустью и раздражением. – Зачем?.. Разумеется, он кажется ей лучше всех на свете!»

– Анатолий ничего от меня не скрывает! – с застенчивым торжеством ответила Ляля.

– И ты в этом уверена? – криво усмехнулся Юрий, чувствуя, что уже не может остановиться.

В голосе Ляли зазвучало беспокойное недоумение, когда она ответила:

– Конечно, а что, разве?..

– Ничего, я так... – испуганно возразил Юрий.

Ляля помолчала. Нельзя было понять, что в ней происходит.

– Может быть, ты что-нибудь знаешь... такое? – вдруг спросила она, и странный, болезненный звук ее голоса поразил и испугал Юрия.

– Да нет... Я так. Что я могу знать, а тем более об Анатолии Павловиче?

– Нет, ты не сказал бы так! – звенящим голосом настаивала Ляля.

– Я просто хотел сказать, что вообще... – путался Юрий, уже замирая от стыда. – Мы, мужчины, порядочно-таки испорчены... все...

Ляля помолчала и вдруг облегченно засмеялась.

– Ну, это-то я знаю...

Но смех ее показался Юрию совершенно неуместным.

– Это не так легко, как тебе кажется! – с раздражением и злой иронией возразил он. – Да и не можешь ты всего знать... Ты себе еще и представить не можешь всей гадкости жизни... ты еще слишком чиста для этого!

– Ну вот, – польщенно усмехнулась Ляля, но сейчас же, положив руку на колено брата, серьезно заговорила: – Ты думаешь, я об этом не думала? Много думала, и мне всегда было больно и обидно: почему мы так дорожим своей чистой, репутацией... боимся шаг сделать... ну, пасть, что ли, а

мужчины чуть не подвигом считают соблазнить женщину... Это ужасно несправедливо, не правда ли?

– Да, – горько ответил Юрий, с наслаждением бичуя свои собственные воспоминания и в то же время сознавая, что он, Юрий, все-таки совсем не то, что другие. – Это одна из величайших несправедливостей в мире... Спроси любого из нас: женится ли он на... – публичной женщине, – хотел сказать Юрий, но замялся и сказал: – На кокотке, и всякий ответит отрицательно... А чем, в сущности говоря, всякий мужчина лучше кокотки?.. Та, по крайней мере, продается за деньги, ради куска хлеба, а мужчина просто... распушенно развратничает и всегда в самой гнусной, извращенной форме... Ляля молчала.

Невидимая летучая мышь быстро и робко влетела под балкон, раза два ударилась шуршащим крылом о стену и с легким звуком выскользнула вон. Юрий помолчал, прислушиваясь к этому таинственному звуку ночной жизни, и заговорил опять, все больше и больше раздражаясь и увлекаясь своими словами.

– А хуже всего то, что все не только знают это и молчат, как будто так и надо, но даже разыгрывают сложные трагикомедии... освящают брак, лгут, что называется, и перед Богом, и перед людьми!.. И всегда самые чистые святые девушки, – прибавил он, думая о Карсавиной и к кому-то ревнуя ее, – достаются самым испорченным, самым грязным порой даже зараженным мужчинам... Покойный Семенов однажды

сказал, что чем чище женщина, тем грязнее мужчина, который ею обладает... И это правда!

– Разве? – странно спросила Ляля.

– О, еще бы! – со взрывом горечи усмехнулся Юрий.

– Не знаю... – вдруг проговорила Ляля, и в голосе ее задрожали слезы.

– Что? – не расслышав, переспросил Юрий.

– Неужели и Толя такой же, как и все! – сказала Ляля, первый раз так называя Рязанцева при брате, и вдруг заплакала. – Ну конечно... такой же! – выговорила она сквозь слезы.

Юрий с ужасом и болью схватил ее за руки.

– Ляля, Лялочка... что с тобой!.. Я вовсе не хотел... Милая... перестань, не плачь! – бессвязно повторял он, отнимая от лица и целуя ее мокрые маленькие пальчики.

– Нет... я знаю... это правда... – повторяла Ляля, задыхаясь от слез.

Хотя она и говорила, что уже думала об этом, но это только казалось ей: на самом деле она никогда не представляла себе тайную жизнь Рязанцева. Она, конечно, знала, что он не мог любить ее первую, и понимала, что это значит, но это сознание как-то не переходило в ясное представление, только скользя по душе.

Она чувствовала, что любит его и что он любит ее, и это было самое главное, остальное было уже не важно, но теперь, оттого, что брат говорил с резким выражением осуждения и презрения, ей показалось, что перед ней раскрывается без-

дна, что это безобразно, непоправимо, что в ней навеки рухнуло невозвратимое счастье, и она уже не может больше любить Рязанцева.

Юрий, чуть сам не плача, уговаривал ее, целовал, гладил по волосам, но она все плакала, горько и безнадежно.

– Ах, Боже мой, Боже мой! – как ребенок, захлебываясь слезами, приговаривала Ляля, и оттого, что было темно, она казалась такой маленькой и жалкой, а слезы ее такими беспомощно горькими, что Юрий почувствовал невыносимую жалость.

Бледный и растерянный, он побежал в дом, больно стукнулся виском о дверь и принес, разливая на пол и себе на руки, стакан воды.

– Лялечка, перестань же... Ну, можно ли так!.. Что с тобой!.. Анатолий Павлович, может быть, лучше других... Ляля! – твердил он с отчаянием.

Ляля вся тряслась от рыданий, и зубы ее бессильно колоутились о края стакана.

– Что тут такое? – встревоженно спросила горничная, появляясь в дверях. – Барышня, чтой-то вы!..

Ляля, опираясь на крыльцо, встала и, не переставая плакать, шатаясь и вздрагивая, вошла в комнаты.

– Барышня, голубушка, что с вами... Может, барина позвать?.. Юрий Николаевич!..

Из своего кабинета твердой и мерной походкой вышел Николай Егорович и остановился в дверях, с удивлением глядя

на плачущую Лялю.

– Что случилось? – спросил он.

– Да, так... пустяки, – насильно улыбаясь, ответил Юрий, – говорили о Рязанцеве... ерунда!

Николай Егорович пытливо посмотрел на него, что-то подумал, и вдруг на его стариковском лице бывшего джентльмена выразилось крайнее негодование.

– Черт знает что такое! – круто пожал он плечами и, повернувшись налево кругом, ушел.

Юрий страшно покраснел, хотел сказать что-то грубое, но ему стало мучительно стыдно и чего-то страшно. Чувствуя оскорбленную злобу против отца, растерянную жалость к Ляле и болезненное презрение к себе, он тихо вышел на крыльцо, сошел по ступенькам и пошел в сад.

Маленькая лягушонка порывисто пискнула и дернулась у него под ногой, лопнув, как раздавленный желудь, Юрий поскользнулся, весь вздрогнул и, охнув, далеко отскочил в сторону. Он долго машинально тер ногой о мокрую траву, чувствуя в спине нервный холод отвращения.

Тоска в душе и гадкое брезгливое чувство в ноге заставили его болезненно морщиться. Все казалось Юрию нудным и мерзким. Ощупью он нашел в темноте скамью и сел, напряженными, сухими и злыми глазами вглядываясь в сад и ничего не видя, кроме расплывчатых пятен мрака. В голове у него копошились тусклые и тяжелые мысли.

Он смотрел на то место, где, в темной траве, где-то уми-

рала или, быть может, в страшных мучениях уже умерла раздавленная им маленькая лягушонка. Там принял конец целый мир, полный своеобразной и самостоятельной жизни, но действительно ужасного, невообразимого страдальческого конца его не было ни слышно, ни видно.

И какими-то неуловимыми путями Юрию пришла в голову мучительная и непривычная для него мысль, что все, занимающее его жизнь, даже самое важное, ради чего он одно любил, а другое ненавидел, иное отталкивал против желания, а иное принимал против воли, все это – и добро и зло – только легкое облако тумана вокруг одного его. Для мира, в его огромном целом, все мучительнейшие и искреннейшие переживания так же не существуют, как и эти неизвестные страдания маленького животного. Воображая, что его страдания, его ум и его добро и зло ужасно важны кому-нибудь, кроме него самого, он нарочно и явно бессмысленно плел какую-то сложную сеть между собой и миром. И один момент смерти сразу порвет все эти сети и оставит его одного без оплаты и итога.

Опять ему вспомнился Семенов и равнодушие покойного студента к самым заветным мыслям и целям, так глубоко волновавшим его, Юрия, и миллионы ему подобных, вдруг глубоко отделилось тем наивным и откровенным любованием жизнью, удовольствием, женщинами, луной и соловьиным свистом, которое так поразило и даже неприятно кольнуло его на другой день после скорбного разговора с Семе-

НОВЫМ.

Тогда ему было непонятно: как мог он, Семенов, придавать значение таким пустякам, как катанью на лодке и красивым телам девушек, после того, как он сознательно оттолкнул самые глубокие мысли и высокие понятия; но теперь Юрий легко понял, что иначе и быть не могло: все эти пустяки были жизнью – настоящей, полной захватывающих переживаний и влекущих наслаждений жизнью, а все великие понятия были лишь пустыми, ничего не предвещающими в необъятной тайне жизни и смерти, комбинациями слов и мыслей. Как бы они ни казались важными и окончательными, после них будут и не могут не быть не менее значительные и последние слова и мысли.

Этот вывод был так не свойствен Юрию и так неожиданно сплелся из его мыслей о добре и зле, что Юрий растерялся. Перед ним открылась какая-то пустота, и на одну секунду острое ощущение ясности и свободы, похожее на то чувство, которое во сне подымает человека на воздух, чтобы он летел куда хочет, озарило его мозг. Но Юрий испугался. Страшным напряжением он собрал все распавшиеся привычные мысли и понятия о жизни, и пугающее, слишком смелое ощущение исчезло. Стало вновь темно и сложно.

Одну минуту Юрий готов был допустить, что смысл настоящей живой жизни в осуществлении своей свободы, что естественно, а следовательно, и хорошо жить только наслаждениями, что даже Рязанцев, со своей точки зрения еди-

ницы низшего разбора, цельнее и логичнее его, стремясь к возможно большим половым наслаждениям, как острейшим жизненным ощущениям. Но по этой мысли надо было допустить, что понятие о разврате и чистоте – сухие листья, прикрывающие молодую свежую траву, и даже самые поэтические, целомудренные девушки, даже Ляля и Карсавина имеют право свободно окунуться в самый поток чувственных наслаждений. И Юрий испугался своей мысли, счел ее грязной и кощунственной, ужаснулся тому, что она возбуждает его, и вытеснил ее из головы и сердца привычными, тяжелыми и грозными словами.

– Ну да, – думал он, глядя в бездонное блестящее небо, запыленное звездами, – жизнь – ощущение, но люди не бессмысленные звери и должны направлять свои желания к добру и не давать им власти над собою... «Что, если есть Бог над звездами!» – вспомнил Юрий, и жуткое чувство смутного благоговения придавило его к земле. Он не отрываясь смотрел на большую блестящую звезду в хвосте Большой Медведицы и бессознательно вспомнил, что мужик Кузьма с бахчи называл эти величавые звезды «возом».

Почему-то, тоже бессознательно, это воспоминание показалось неуместным и даже как будто оскорбило его. Он стал смотреть в сад, после звездного неба казавшийся совсем черным, и опять начал думать:

«Если лишить мир женской чистоты, так похожей на первые весенние, еще совсем робкие, но такие прекрасные и

трогательные цветы, то что же святого останется в человеке?..»

Тысячи молодых, прекрасных и чистых, как весенние цветы, девушек в солнечном свете, на весенней траве, под цветущими деревьями представились ему. Невысокие груди, круглые плечи, гибкие руки, стройные бедра, изгибаясь, стыдливо и таинственно мелькнули перед его глазами, и голова его сладко закружилась в сладострастном восторге.

Юрий медленно провел рукой по лбу и вдруг опомнился.

– У меня нервы расстроились... надо идти спать.

Неудовлетворенный, расстроенный и еще томимый мгновенным сладострастным видением, Юрий с беспредметной злобой в душе, порывисто делая все движения, пошел в дом.

И уже лежа в постели и тщетно стараясь заснуть, он вспомнил Рязанцева и Лялю.

«Почему, собственно, возмущает, что Рязанцев любит Лялю не одну и не первую?..»

Мысль не дала ему ответа, но перед ним, возбуждая тихую нежность и невыразимо приятно лаская разгоряченный мозг, выплыл образ Зины Карсавиной, и как ни старался он затемнить свое чувство, стало понятно, зачем нужно ему, чтобы она была чистой и нетронутой.

«А ведь я люблю ее!» – в первый раз подумал Юрий, и эта мысль вдруг вытеснила все остальные и вызвала на глаза влажность умиления своим новым чувством... Но в следующую минуту Юрий с озлобленной насмешкой уже спра-

шивал себя: «А почему я сам любил других женщин прежде нее?.. Правда, я не знал еще о ее существовании, но ведь и Рязанцев не знал о Ляле. И в свое время мы оба думали, что та женщина, которой мы хотим обладать в настоящий момент, и есть „настоящая“, самая нужная и подходящая нам. Мы ошибались, но, может быть, ошибаемся и теперь!.. Значит, или хранить вечное целомудрие, или дать полную свободу себе... и женщине, конечно, наслаждаться любовью и страстью... Впрочем, что ж я, – с облегчением перебил себя Юрий, – Рязанцев... не то скверно, что он любил, а то, что он и теперь продолжает пользоваться несколькими женщинами, а я нет...»

Эта мысль наполнила Юрия чувством гордости и чистоты, но только на мгновение, а в следующую минуту он опять вспомнил о чувстве, охватившем его при видении тысяч пронизанных солнцем гибких и чистых девушек, и смутился в полном бессилии овладеть собой и справиться с хаосом чувств и мыслей.

Юрий почувствовал, что ему неудобно лежать на правом боку, и с неловким усилием повернулся.

«В сущности, – подумал он, – все женщины, каких я только знал, не могли бы меня удовлетворить на всю жизнь... Значит, то, что я называл настоящей любовью, неосуществимо, и мечтать о ней просто глупо!..»

Юрию стало неловко и на левом боку, и, путаясь вспотевшим липким телом в сбившейся горячей простыне, он пе-

ревернулся опять. Было жарко и неудобно. Начиная болеть голова.

«Целомудрие – идеал, но человечество погибло бы при осуществлении этого идеала, – неожиданно пришло ему в голову, – значит, это нелепость. А... тогда и вся жизнь – нелепость!» – с такой злобой стискивая зубы, что перед глазами завертелись золотые круги, почти вслух сказал Юрий.

И до самого утра, лежа в тяжелой и неудобной позе, с тупым отчаянием в душе, Юрий ворочал похожие на камни тяжелые и противоречивые мысли.

Наконец, чтобы выпутаться из них, он стал уверять себя, что он сам – дурной, излишне сладострастный и эгоистичный человек и его сомнения – просто скрытая похоть. Но это только еще тяжелее придавило душу, подняло в мозгу сумбур самых разнообразных представлений, и мучительное состояние разрешилось наконец вопросом:

– Да с какой стати я себя так мучаю, наконец?

И с чувством отвращения к самому процессу какого бы то ни было мышления, в тупой нервной усталости Юрий заснул.

XV

Ляля до тех пор плакала в своей комнате, уткнувшись лицом в подушку, пока не заснула. Утром она встала с больной головой и напухшими глазами.

Первой ее мыслью было то, что не надо плакать, потому что сегодня, к обеду, придет Рязанцев и ему будет неприятно, что у нее заплаканное некрасивое лицо. Но сейчас же она вспомнила, что все равно все кончено и нельзя больше любить, ощутила острое горе и жгучую любовь и опять заплакала.

– Какая гадость, какая мерзость! – прошептала Ляля, чувствуя, что задыхается от горьких, еще невыплаканных слез. – За что?.. За что?.. – твердила она, и в душе у нее была неисходная грусть о навеки ушедшем невозвратимом счастье.

Ей было удивительно и гадко, что Рязанцев мог так легко и постоянно лгать ей.

«И не он один, а значит, и все лгали, – с недоумением думала Ляля, – ведь все, решительно все радовались нашей свадьбе и говорили, что он хороший, честный человек! Нет, впрочем... они не лгали, а просто не считали этого... дурным... Какая гадость!»

И Ляле стало противно смотреть на привычную обстановку, напоминавшую людей, теперь противных ей. Она прислонилась лицом к стеклу окна и стала сквозь слезы смотреть

в сад.

На дворе было пасмурно и шел редкий, но крупный дождь. Капли тяжело постукивали по стеклу и быстро сбегали вниз, а Ляле было трудно различить, когда слезы, а когда дождевые капли застилали перед нею сад. В саду было сыро, и повисшие мокрые листья были бледны и печально вздрагивали. Стволы деревьев почернели от воды, и мокрая трава забито прилегла к грязной земле.

И Ляле казалось, что вся ее жизнь несчастна, будущее безнадежно, прошедшее черно.

Горничная приходила звать ее пить чай, но Ляля долго не понимала ее слов. Потом, в столовой, ей было стыдно, когда с ней заговаривал отец. Ей казалось, что он говорит с нею с особенной жалостью, что уже все знают, что ее грязно и гадко обманул любимый человек. Во всяком слове ей слышалась эта оскорбительная жалость, и Ляля ушла к себе. Она опять села к окну и, глядя в плачущий серый сад, стала думать:

«Зачем он лицемерил?.. Зачем так обидел?.. Значит, он не любит меня?.. Нет, Толя меня любит... и я его люблю! Так в чем же дело? Да, он обманул меня: он еще раньше любил каких-то других скверных женщин! И они любили его... Как я? – спросила себя Ляля с наивным и жгучим любопытством. – Вот вздор, какое мне теперь до этого дело! Ведь с ними он обманул меня, и теперь все кончено! Какая я бедная, несчастная!.. Ну нет, мне есть дело: он меня обманывал!

Ну, а если бы признался? Все равно! Это гадко... он уже ласкал других, как меня, и даже больше... Это ужасно! Какая я несчастная...»

Вот лягушка по дорожке
Скачет, вытянувши ножки! —

мысленно пропела Ляля, глядя на маленький серый комочек, боязливо прыгавший через мокрую скользкую дорожку.

«Да, я несчастна, и все кончено! — опять подумала она, когда лягушка ускакала в траву. — Для меня это было так чудно, так хорошо, а для него старая привычная вещь... Потому-то он всегда избегал говорить о прошлом! Оттого мне казалось, что все время у него лицо такое, будто он что-то думает... Он думал: все это я знаю, все знаю, и что ты чувствуешь, знаю, и то, что сейчас сделает... А я-то!.. Как стыдно, как гадко... Никогда, никогда я уже не буду никого любить!»

Ляля заплакала и положила голову щекой на холодный подоконник, сквозь слезы наблюдая, в какую сторону идут тучи.

«А ведь Толя сегодня приедет обедать! — с испугом вдруг вспомнила она и вскочила с места. — Что же я ему скажу? Что надо говорить в таких случаях?»

Ляля раскрыла рот и уставилась в стену испуганными недоумевающими глазами.

«Надо спросить Юрия!» — вспомнила она и успокоилась.

«Милый Юрий! Какой он честный и хороший», – с нежными слезами на глазах подумала Ляля, и так же стремительно, не откладывая, как всегда все делала, пошла к Юрию.

Но там сидел Шафров и говорил о каких-то делах. Ляля с недоумением остановилась в дверях.

– Здравствуйте, – сказала она задумчиво.

– Здравствуйте, – поздоровался Шафров, – идите к нам, Людмила Николаевна... тут такое дело, что ваша помощь необходима.

Ляля, все с таким же недоумевающим лицом, покорно села к столу и машинально стала перебирать пальцами зеленые и красные брошюры, кучами наваленные повсюду.

– Видите ли, в чем дело, – поворачиваясь к ней с таким видом, точно ему предстояло объяснить ей что-то страшно запутанное и длинное, говорил Шафров. – Курские товарищи находятся в крайне стесненном положении... надо им непременно помочь. Вот я придумал дать концерт... а?

При этой знакомой прибавке «а?» Ляля вспомнила, зачем она пришла, и взглянула на Юрия с доверием и надеждой.

– Отчего же, это очень хорошо... – машинально ответила она, удивляясь, что Юрий совсем не смотрит на нее.

После вчерашних Лялиных слез и собственных ночных дум Юрий чувствовал себя разбитым и не готовым отвечать Ляле. Он ожидал, что сестра придет за советами, и терялся в полном бессилии прийти к какому-нибудь удовлетворительному решению. Как он не мог отказаться от своих слов,

разубедить Лялю и толкнуть ее обратно к Рязанцеву, так он не мог и нанести решительный удар ее наивному, птичьему счастью.

– Вот мы решили так, – продолжал Шафров, еще больше придвигаясь к Ляле, точно дело все усложнялось и запутывалось, – пригласим петь Санину и Карсавину... сначала они споют соло, потом дуэтом... У одной контральто, у другой сопрано, это будет красиво... Потом я сыграю на скрипке. Потом споет Зарудин, а Танаров будет аккомпанировать...

– Разве офицеры будут участвовать в таком концерте? – так же машинально, думая совсем о другом, спросила Ляля.

– О, будут! – замахал руками Шафров. – Только бы согласилась Санина, а они от нее не отстанут. Притом Зарудин рад петь где угодно, лишь бы петь. А это привлечет к нам офицеров, и мы сбор сделаем на славу...

– Карсавину пригласите, – посоветовала Ляля, с печальным недоумением глядя на брата. «Не может быть, чтобы он забыл, – думала она, – как же он может разговаривать об этом дурацком концерте, когда я...»

– Да ведь я же и говорю! – удивился Шафров.

– Ах, да, – слабо улыбнулась Ляля. – Ну... а Лида Санина... да, впрочем, вы говорили...

– Ну да, ну да, – кивнул головой Шафров. – Но кого бы еще, а?

– Не знаю, – рассеянно сказала Ляля, – у меня голова болит что-то.

Юрий быстро оглянулся на нее и со страданием отвернулся к книгам. С бледным личиком и большими потемневшими глазами, она показалась ему удивительно слабенькой и печальной.

«Ах, зачем, зачем я сказал ей это, – подумал он, – для меня-то самого это так неясно, и для всех это проклятый вопрос, а для ее маленькой души... Зачем я сказал!»

Он чуть не дернул себя за волосы.

– Барышня, – позвала из дверей горничная, – Анатолий Павлович приехали...

Юрий опять испуганно оглянулся на Лялю и, встретив ее остановившийся страдальческий взгляд, растерянно сказал Шафрову:

– Вы читали Чарльза Брэдли?..

– Читал. Мы вместе с Дубовой и Карсавиной читали. Любопытная вещь.

– Да... А разве они приехали?

– Да.

– Когда? – с тайным волнением спросил Юрий.

– Еще позавчера.

– Разве? – переспросил Юрий, прислушиваясь к тому, что делает Ляля. Ему было мучительно стыдно и страшно, точно он обманул Лялю.

Ляля постояла, потрогала что-то на столе и нерешительно пошла к двери.

«Что я наделал!» – с искренним чувством, прислушиваясь

к ее необычным неровным шагам, подумал Юрий.

Ляля прошла в зал, чувствуя, что внутри ее все застыло в напряженно скорбном недоумении. Было похоже, точно она заблудилась в туманном лесу. По дороге она взглянула в зеркало и увидела там потемневшее больное лицо.

– Ну и пусть... пусть видит! – подумала она.

Посреди столовой стоял Рязанцев и говорил Николаю Егоровичу своим веселым барски самоуверенным голосом:

– Явление это, конечно, странное, но оно совершенно безвредно...

При звуках его голоса что-то вздрогнуло и оборвалось в груди Ляли. Увидев ее, Рязанцев круто оборвал речь, подошел к ней и так подал ей обе руки, точно хотел обнять, но чтобы это движение было заметно и понятно только ей одной.

Ляля снизу взглянула ему в лицо, и губы у нее вздрогнули. Она молча и с усилием высвободила свою руку и, пройдя в зал, отворила стеклянную дверь на балкон. Рязанцев со спокойным удивлением посмотрел ей вслед.

– Моя Людмила Николаевна изволит сердиться, – с шутливой важностью сказал он Николаю Егоровичу.

Николай Егорович захохотал.

– Ну что ж, идите мириться!

– Ничего не поделаешь! – комически вздохнул Рязанцев и вышел за Лялей на балкон.

Дождь все шел, и его тонкий водяной звук непрерывно

стоял в воздухе. Но тучи, светлея и редая, уже расплывались вверх.

Прижавшись щекой к мокрому холодному дереву столба, Ляля выставила голову на дождь, и ее волосы сразу намокли.

– Моя принцесса гневается... Лялечка! – сказал Рязанцев и потянул ее к себе, прижимаясь губами к мокрым пахучим волосам.

И от этого прикосновения, такого знакомого и счастливо-го, все растаяло в груди Ляли, и, прежде чем она успела сообразить что-нибудь, руки ее, почти против воли, обвилась вокруг крепкой шеи Рязанцева, и между долгими дурманящими поцелуями Ляля сказала:

– Я на тебя страшно сердита... ты гадкий!

И ей самой было странно, что ничего нет ни страшного, ни тяжелого, ни непоправимого, в конце концов, какое ей дело! Лишь бы любить и быть любимой этим большим, красивым, с такой широкой грудью человеком.

Но за обедом ей было стыдно смотреть на Юрия, с недоумением поглядывавшего на сестру, и, улучив мгновение, Ляля умоляюще прошептала ему:

– Я гадкая...

Юрий криво улыбнулся. В глубине души он был рад, что все кончилось так благополучно, но старался развить в себе презрение к этой мещанской терпимости и мещанскому счастью. Он ушел к себе в комнату и почти до вечера просидел один, а когда к сумеркам посветлело и прояснилось

небо, взял ружье и пошел на охоту, на то же место, где был вчера с Рязанцевым. О том, что произошло, Юрий старался не думать.

После дождя все болото ожило. Послышалась масса новых разнообразных звуков, и то там, то тут трава шевелилась, как живая, от скрытой в ней таинственной жизни. Лягушки дружно изо всех сил заливались на все голоса, какая-то птица выводила несложные скрипучие ноты, похожие на тррр... тррр... утки бойко крякали где-то близко, в мокрой осоке, но на выстрел не летели. Юрию и не хотелось стрелять. Он вскинул ружье на плечо и пошел домой, прислушиваясь и приглядываясь к хрустальным звукам и глубоким, то темным, то ярким краскам вечера.

«Хорошо, – думал он, – все хорошо, только человек безобразен».

Издали он увидел огонек на бахче и освещенные фигуры Кузьмы и того же Санина, сидевших возле самого огня.

«Что он тут, живет, что ли?» – с удивлением и любопытством подумал Юрий.

Кузьма что-то говорил и смеялся, размахивая рукой. Смеялся и Санин. Огонек, еще розовый, а не красный, как ночью, горел, как свечка, вверху мирно и мягко вызвездило небо. Пахло свежей землей и обрызнутой влагой травой.

Юрий почему-то боялся, чтобы его не заметили, и ему было грустно, что он не может пойти к ним, что между ними и им стоит что-то непонятное, как будто даже несуществую-

щее, пустое, но совершенно неодолимое, как пространство, лишенное воздуха.

Он почувствовал себя совершенно одиноким. Мир, с его вечерними красками, огоньками, звездами, людьми и звуками, воздушный и светлый, стал отдельно от Юрия, маленького и темного внутри, как темная комната, в которой что-то томится и плачет. И чувство одинокой тоски так охватило его, что когда он проходил вдоль бахчи, сотни арбузов, белевших в сумерках, напоминали ему человеческие черепа, разбросанные по полю.

XVI

Лето развернулось, переполняясь теплом и светом, и казалось, что между сверкающим голубым небом и истомленной от зноя землей дрожит и струится золотая дымка. В горячем мареве, разомлев от жары и опустив неподвижные листья, сонно стояли деревья, и короткие жидкие тени беспомощно лежали в пыльной нагретой траве.

Но в комнатах было прохладно. Отсветы сада мягко зеленели на потолке, и странно живые, когда все застыло в знойном покое, легко колыхались на окнах гардины.

Распахнув белый китель, Зарудин медленно расхаживал из угла в угол и с особой, тщательно им выработанной ленивой небрежностью показывал крупные белые зубы, дымил папиросой. А Танаров, весь взмокший от поту, в одной рубашке и рейтузах, лежал на диване и украдкой озабоченно следил за ним маленькими черными глазками. Ему до зарезу нужны были пятьдесят рублей, но он уже два раза просил их у Зарудина и, не решаясь просить в третий раз, тоскливо ждал, когда Зарудин сам вспомнит.

Зарудин помнил, но в течение последнего месяца он проиграл семьсот рублей, и ему было жаль денег.

«За ним уже и так двести пятьдесят, – думал он, не глядя на Танарова и понемногу раздражаясь от жары и обиды, – странно, честное слово!.. Мы, конечно, в хороших отноше-

ниях, но как ему не стыдно все-таки... Хотя бы извинился, что много должен и тому подобное!.. Не дам!» – с жестокой радостью прибавил он мысленно.

Вошел денщик, маленький и веснушчатый, вываленный в пуху. Он криво и вяло остановился во фронт и, не глядя на Зарудина, сказал:

– Вашброд, дозвоьте доложить, что как их благородие требовали пива, так пиво все вышедши.

Зарудин с вспыхнувшим раздражением невольно взглянул на Танарова.

«Ну вот! – подумал он. – Черт его знает, это становится, наконец, невыносимо!.. Знает, что у меня свободного гроша нет, а выдумывает еще пиво!..»

– Водка опять же кончается, – прибавил солдат.

– Да, ну пошел к черту... Там у тебя два рубля остались, и купи, что нужно, – с возрастающей досадой отмахнулся Зарудин.

– Никак нет. Ничего не осталось.

– Как так, что ты врешь! – останавливаясь, возразил Зарудин.

– Так что их благородие приказали прачке отдать, так я рубль семь гривен отдал, а тридцать копеек на стол в кабинете положил, вашброд!..

– Ах, да... приторно небрежно, краснея и волнуясь, отозвался Танаров, – я вчера сказал... неловко, знаешь... Целую неделю баба ходит...

Красные пятна появились на твердо выбритых щеках Зарудина, и под их тонкой кожей недобро задвигались скулы. Он молча прошелся по комнате и вдруг остановился против Танарова.

– Послушай, – странно задрожавшим, остро-оскорбительным голосом проговорил он, – я попросил бы тебя не распоряжаться моими деньгами...

Танаров весь вспыхнул и пришел в движение.

– Гм, странно... такие пустяки... – оскорбленно пробормотал он, пожимая плечами.

– Дело не в пустяках, – с жестоким удовольствием, точно мстя ему за что-то, возразил Зарудин, – а в принципе... С какой стати, скажи, пожалуйста!

– Я... – начал было Танаров.

– Нет уж, я тебя попрошу! – настойчиво, тем же угнетающим тоном перебил Зарудин. – Наконец, ты мог бы мне сказать... А это крайне неудобно!

Танаров беспомощно пошевелил губами и потупился, перебирая задрожавшими пальцами перламутровый мундштучок. Зарудин еще немного подождал ответа, потом круто повернулся и, звеня ключом, полез в стол.

– На, купи что нужно... – сердито, но уже спокойнее сказал он солдату, подавая сто рублей.

– Слушаю, – ответил солдат и, повернувшись налево кругом, вышел.

Зарудин медленно, с чувством щелкнул ключами шкатул-

ки и задвинул ящик. Танаров мельком взглянул на эту шка- тулку, где лежали нужные ему пятьдесят рублей, проводил их робкими грустными глазами и, вздохнув, скромно стал закуривать папиросу. Ему было страшно обидно, и в то же время он боялся выразить эту обиду, чтобы Зарудин не рас- сердился еще больше.

– Ну что ему два рубля... – думал он, – ведь знает, как мне нужны деньги.

Зарудин ходил по комнате, и сердце еще дрожало у него от раздражения, но понемногу он стал успокаиваться, а ко- гда денщик принес пиво, Зарудин сам с наслаждением выпил стакан ледяной пенистой влаги и, обсасывая кончики усов, заговорил, как будто ничего не случилось:

– А вчера у меня опять Лидка была... интересная, брат, девка!.. Огонь!..

Танаров обиженно молчал.

Зарудин, не замечая, медленно прошелся по комнате, и глаза у него оживленно смеялись каким-то воспоминаниям. Здоровое сильное тело млело от жары, и горячие возбужда- ющие мысли подмывали его. Вдруг он громко, точно корот- ко заржав, засмеялся и остановился.

– Ты знаешь... вчера я хотел... – выговорил он специаль- ное грубое и страшно унижительное для женщин слово, – так она сначала на дыбы встала... знаешь, у нее такой гордый огонек в глазах иногда появляется...

Танаров, чувствуя, как быстро и жадно напрягается его те-

ло, невольно распустил лицо в липкую возбужденную улыбку.

– А потом так... что меня самого чуть судороги не схватили! – вздрагивая от невыносимо острого воспоминания, закончил Зарудин.

– Везет тебе, черт возьми! – завистливо вскрикнул Танаров.

– Зарудин, дома? – закричал с улицы громогласный голос Иванова. – Можно к вам?

Зарудин вздрогнул от неожиданности и, как всегда, испугался, не слышал ли кто-нибудь его рассказ о Лиде Саниной. Но Иванов кричал через забор из переулка, и его даже не было видно.

– Дома, дома! – крикнул Зарудин в окно.

В передней послышались голоса и смех, точно туда ввалилась целая толпа народу. Пришли Иванов, Новиков, ротмистр Малиновский, еще два офицера и Санин.

– Ур-ра! – оглушительно закричал Малиновский, косо переступая порог и блеснув багрово-красным лицом, с вздрагивающими налитыми щеками и пушистыми усами, похожими на два снопа ржи. – Здорово, ребята!..

– Эх, черт... опять четвертной выскочит! – с досадой, от которой у него мигнули глаза, подумал Зарудин. Но он больше всего на свете боялся, как бы кто-нибудь не подумал, что он не самый щедрый, компанейский и богатый человек, и потому, широко улыбаясь, крикнул:

– Откуда вы такой компанией? Здорово!.. Эй, Черепанов!.. Тащи водки и еще там!.. Сбегай в клуб, скажи, чтобы прислали ящик пива... Пива хотите, господа?.. Жарко!

Когда появились водка и пиво, шум усилился. Хохотали и гоготали, охваченные буйным весельем, пили и кричали все. Только Новиков был мрачен, и на его, всегда мягком и ленивом, лице вспыхивало что-то недоброе.

Вчера он узнал то, что до сих пор оставалось для него неизвестным, хотя уже весь город говорил об этом, и чувство невыносимой обиды и острого ревнивого унижения в первую минуту ошеломило его.

«Не может быть! Вздор, сплетни!» – подумал он сначала, и его мозг отказывался представить себе гордую, недоступно прекрасную Лиду, в которую он был так чисто, с таким благоговением влюблен, в безобразно грязной близости к Зарудину, которого он всегда считал бесконечно ниже и глупее себя. Но потом дикая животная ревность поднялась со дна души и заслонила все. Была минута горького отчаяния, а потом страшной, почти стихийной ненависти и к Лиде, и главным образом к Зарудину. Это чувство было так непривычно для его мягкой вялой души, что оно оказалось непереносимым и требовало исхода. Всю ночь он пробыл на болезненной границе мучительной жалости к себе и темной мысли о самоубийстве, а к утру как-то застыл, и странное, зловещее желание увидеть Зарудина одно осталось в нем.

Теперь, под выкрики шумных и пьяных голосов, он сидел

в стороне, машинально и много пил пива и каждым атомом своего напряженного существа следил за всяким движением Зарудина, точно зверь, встретившийся в лесу с другим зверем, уже присевший для прыжка, но притворяющийся, что ничего не видит.

Все – и улыбка, с показыванием белых зубов, и красота, и смех, и голос Зарудина – било острыми толчками во что-то болезненное, что составляло, казалось, все существо Новикова.

– Зарудин, – сказал длинный и худой офицер, с непомерно длинными, болтающимися перед корпусом руками, – я тебе книгу принес...

И сквозь шум и гвалт Новиков сейчас же услышал имя Зарудина и его голос, точно все молчали, а он один говорил:

– Какую?

– Толстого «О женщинах», – с гордостью, но как рапорт отчетливо, ответил длинный офицер, и по его бесцветному длинному лицу было видно, что он рад, что читает Толстого и говорит о нем.

– А вы Толстого почитываете? – спросил Иванов, подметив это гордое и наивное выражение.

– Фон Дейц – толстовец! – пояснил пьяный Малиновский и захохотал.

Зарудин взял тонкую красную брошюрку, перевернул несколько страниц и спросил:

– Интересно?

– А вот увидишь! – захлебываясь от восторга, ответил фон Дейц. – Это, я тебе доложу, голова!.. Кажется, что сам все знаешь...

– А зачем... Виктору Сергеевичу читать Толстого, когда его собственные взгляды на женщин вполне определены... – негромко проговорил Новиков, не подымая глаз от стакана.

– Из чего вы это заключаете? – осторожно спросил Зарудин, инстинктивно почувствовав нападение, но еще не догадываясь о нем.

Новиков помолчал. Все в нем рвалось закричать, ударить в лицо, в красивое, самодовольное лицо Зарудина, сбить его с ног и топтать в диком порыве жестокой, выпущенной на волю злобы. Но слова не шли у него с языка, и, сам чувствуя, что говорит не то, что надо, и еще больше страдая и безумея от этого сознания, Новиков криво усмехнулся и сказал:

– Достаточно на вас посмотреть... чтобы заключить! Странный зловещий звук его голоса прорезал общий шум, сразу все стихло, как перед убийством. Иванов догадался, в чем дело.

– Мне кажется... – слегка изменяясь в лице, но сразу овладевая собой, точно сев на знакомого коня, холодно начал Зарудин.

– Ну, господа, господа... Что там еще! – закричал Иванов.

– Оставь их, пускай подерутся! – улыбаясь, возразил Санин.

– Мне не кажется, а это так и есть... – все не подымая головы от стакана и все тем же тоном продолжал Новиков.

Но живая стена криков, махания руками неестественно широко смеющихся лиц и уговоров встала между ними. Зарудина оттеснили фон Дейц и Малиновский, Новикова – Иванов и другой офицер. Танаров начал наливать стаканы и что-то кричать, ни к кому не обращаясь. Поднялась фальшивая, притворно веселая суета, и вдруг Новиков почувствовал, что у него уже нет силы продолжать. Он нелепо кривил губы в улыбку, оглядывался на занимающих его разговорами Иванова и офицера и растерянно думал:

– Что же это я... надо бить!.. Прямо подойти и ударить!.. Иначе я останусь в глупом положении, все уже догадались, что я искал ссоры...

Но вместо того он с притворным интересом уже слушал, что говорили Иванов и фон Дейц.

– Во взгляде на женщину я, знаете, с Толстым не совсем согласен... – самодовольно говорил офицер.

– Женщина – самка, и это прежде всего! – отвечал Иванов. – Среди мужчин хоть одного на тысячу еще можно найти такого, который заслужил название человека, а женщины... ни одной между ними!.. Голые, розовые, жирные, бесхвостые обезьяны, вот и все!

– Оригинально сказано! – с удовольствием заметил фон Дейц.

«И правда!» – горько подумал Новиков.

– Э, милый мой! – возразил Иванов, махнув рукой перед самым носом фон Дейца. – Скажите людям так: а я говорю вам, что всякая, которая посмотрит на мужчину с вождением, уже прелюбодействует с ним в сердце своем... и весьма многие подумают, что слышат очень оригинальную вещь!..

Фон Дейц хрипло засмеялся, точно залаял лягавый пес, и с завистью посмотрел на Иванова. Насмешки он не понял, и ему было только завидно, что не он сказал так красиво.

Новиков неожиданно протянул ему руку.

– Что? – удивленно спросил фон Дейц, с любопытством и ожиданием глядя в протянутую ладонь.

Новиков не отвечал.

– Куда? – спросил и Санин.

Новиков опять промолчал. Он чувствовал, что еще минута – и рыдания, стеснявшиеся в груди, хлынут через край.

– Знаю я, что с тобой, плюнь! – сказал Санин.

Новиков взглянул на него жалкими глазами, губы у него задрожали, и, махнув рукой, он ушел, не попрощавшись. В нем ныло чувство тягостного бессилия, как у человека, не поднявшего тяжести, и, чтобы успокоить себя, Новиков подумал: «Ну, что ж... Что доказал бы я, побив морду этому мерзавцу? Вышла бы только мерзкая драка... Да и не стоило рук марать!»

Но чувство неудовлетворенной ревности и противного бессилия не проходило, и в глубокой тоске Новиков пришел

домой, лег лицом в подушку и так пролежал почти весь день, мучась тем, что ничего другого сделать не может...

– Хотите в макао? – спрашивал Малиновский.

– Вали! – согласился Иванов.

Денщик расставил ломберный столик, и зеленое сукно весело засмеялось в глаза. Сосредоточенное оживление охватило всех, и Малиновский, твердо стучая короткими волосатыми пальцами, стал метать. Пестрые карты ловко, правильными кругами разлетались по зеленому столику, серебряные рубли с звенящим стуком раскатывались с табло на табло и, как жадные пауки, заходили во все стороны пальцы, подбирающие деньги. Слышались только короткие слова и однообразные восклицания как бы заученной досады и удовольствия. Зарудину не повезло. Он упрямо ставил на круг по пятнадцати рублей, и каждый раз били комплект. На его красивом лице выступили зловещие пятна беспредметного раздражения. В течение последнего месяца он проиграл уже семьсот рублей и теперь не хотел даже проверять своего проигрыша. Настроение его сообщилось и другим. Фон Дейц и Малиновский обменялись резкостями.

– Я ставил на крылья, – раздраженно, но сдержанно говорил фон Дейц, искренно удивляясь, что пьяный и грубый Малиновский смеет спорить с ним, умным и порядочным фон Дейцем.

– Что вы мне толкуете! – грубо крикнул Малиновский. – Кой черт!.. Когда я бью, говорят на крылья, а когда даю...

– То есть позвольте! – дурно выговаривая по-русски, как всегда, когда волновался, закипятился фон Дейц.

– Ничего не позволю... Возьмите обратно... Да нет, возьмите!..

– А я вам говорю! – тоненьким голосом закричал фон Дейц.

– Господа! Это черт знает что такое! – вдруг вспыхнул Зарудин, швыряя карты.

Но он сейчас же испугался и своего резкого крика, и пьяных растерзанных людей, и карт, и бутылок – всей обстановки грубого армейского кутежа, потому что в дверях увидел новое лицо.

Высокий, тонкий господин, в просторном белом костюме и очень высоких тугих воротничках, с удивлением остановился на пороге, глазами отыскивая Зарудина.

– Ах, Павел Львович!.. Какими судьбами! – весь красный, воскликнул Зарудин, поспешно вставая навстречу.

Господин нерешительно вступил в комнату, и прежде всего все невольно заметили его совершенно белые ботинки, шагнувшие в болото пивных луж, пробок и растоптанных окурков. И весь он был такой белый, чистенький и надушенный, что среди облаков табачного дыма и пьяных красных людей походил бы на лилию в болоте, если бы не был так беспомощно тонок издерганно ловок и если бы у него не было маленького, с дурными зубками и тонкими усиками лица.

– Откуда вы?.. Давно из Питера? – с излишней суетливо-

стью и пугливо соображая, ничего ли, что он сказал «Питер», говорил Зарудин, крепко пожимая его руку.

– Вчера только приехал, – ответил наконец белый господин, и голос у него был самоуверенный, но жидкий, как придушенный потуший крик.

– Мои сослуживцы, – представлял Зарудин: – Фон Дейц, Малиновский, Танаров, Санин, Иванов... Господа, Павел Львович Волошин.

Волошин слегка кланялся.

– Будем знать, – к ужасу Зарудина, ответил пьяный Иванов.

– Сюда, Павел Львович... Хотите вина, или, может быть, пива? Волошин осторожно уселся в кресло и томно забелел на его клеенчатой грубой обивке.

– Я на одну секунду... не беспокойтесь! – с брезгливым холодком ответил он, оглядывая компанию.

– Нет, как же можно... Я велю подать белого... Вы, кажется, любите...

Зарудин выскочил в переднюю.

«Надо же было этой сволочи именно сегодня притесаться! – с досадой подумал он, приказывая денщику сходить за вином. – Этот Волошин всем знакомым в Питере такого наговорит, что в порядочный дом не пустят потом!»

Между тем Волошин, не скрываясь, точно он чувствовал себя слишком неизмеримо выше всех, продолжал рассматривать компанию. Взгляд его стеклянно-острых глазок был

откровенно любопытен, как будто ему показывали каких-то странных зверьков. Рост, явная сила костистых плеч и костюм Санина привлекли его внимание.

«Интересный тип... сила, должно быть!» – с искренним расположением, которое все маленькие и слабые люди испытывают к большим и сильным, подумал он и хотел заговорить.

Но Санин, опершись грудью на подоконник, смотрел в сад.

Волошин поперхнулся начатым словом, и жидкий оборванный звук собственного голоса оскорбил его.

«Хулиганы какие-то!» – подумал он.

В это время вернулся Зарудин.

Он уселся рядом с Волошиным и стал расспрашивать его о Петербурге и заводе Волошина, чтобы дать понять окружающим, какой богатый и значительный человек этот гость. И на его красивом лице большого сильного животного отразилось выражение маленького странного самодовольства.

– Все по-прежнему, как видите, – небрежно говорил Волошин. – А вы как?..

– Что ж я!.. Прозябаю! – сказал Зарудин и грустно вздохнул. Волошин молчал и презрительно смотрел на потолок, по которому неслышно ходили зеленые отсветы сада.

– У нас тут одно развлечение всегда! – продолжал Зарудин, широким жестом ловко захватывая в одно и бутылки, и карты, и своих гостей.

– Да-а... – неопределенно протянул Волошин, и в его тоне Зарудину послышалось: «Сам-то ты что!»

– Ну, однако, мне пора... Я остановился здесь в гостинице на бульваре. Мы, конечно, еще увидимся? – заговорил Волошин, меняя тон и вставая.

Как раз в эту минуту вошел денщик, вяло установился во фронт и сказал:

– Вашброд, барышня пришли...

– Что? – вздрогнув, переспросил Зарудин.

– Так точно.

– Ах, да... я знаю... – быстро и неловко бегая глазами, заговорил Зарудин, чувствуя, как мгновенное предчувствие чего-то дурного кольнуло его в сердце.

«Неужели Лидка?» – с изумлением подумал он.

Глаза Волошина вспыхнули жадным и любопытным огоньком, и его тщедушное тело все задвигалось под белым просторным костюмом.

– Да... Ну до свиданья! – осклабя рот, выразительно заговорил он. – А вы все тот же!..

Зарудин криво и самодовольно и озабоченно улыбнулся. Провожаемый Зарудиным, Волошин быстро вышел вон, мелькая белыми ботинками и острым оком выглядывая во круг. Зарудин вернулся.

– Ну, господа... Как же карты?.. Танаров, закладывай за меня, а я сейчас... – торопливо и все мелькая глазами, заговорил он.

– Вре!.. – отозвался уже совершенно пьяный, быкообразный Малиновский. – Мы еще поглядим, какая там барышня!

Но Танаров взял его за плечи и силой посадил за стол. Остальные поспешно рассаживались, почему-то стараясь не смотреть на Зарудина. Санин тоже сел, серьезно посмеиваясь.

Он догадался, что к Зарудину пришла Лида, и смутное чувство ревнивой жалости к красивой и теперь уже, очевидно, несчастной сестре возникло в нем.

XVII

На кровати Зарудина как-то боком сидела Лида Санина, растерянно дергала и мяла платок.

Даже Зарудина поразила происшедшая в ней перемена: от гордой, изящной и сильной девушки не осталось и следа, перед ним сидела сутулая, растерянная и болезненно слабая женщина. Лицо ее осунулось, побледнело, и темные глаза тревожно бегали по сторонам.

Когда вошел Зарудин, темные глаза быстро поднялись на него и опустились, и инстинктивно Зарудин почувствовал, что она боится его. Совершенно неожиданно злоба и раздражение до судорог поднялись в нем. Он крепко запер дверь и совсем не так, как прежде, грубо и прямо подошел к ней.

– Ты удивительная особа, – едва владея собой и почему-то чувствуя жгучее желание ее ударить, заговорил он, – у меня полные комнаты народу... брат твой тут... Точно нельзя было выбрать другого времени... Это черт...

Темные глаза поднялись со странным вспыхнувшим выражением, и, как всегда, Зарудин испугался своей резкости, угодливо показал белые зубы и, взяв Лиду за руку, сел рядом.

– Ну, да впрочем, все равно, я ведь за тебя боюсь... я рад, я соскучился за тобой...

Зарудин поднял и выше перчатки поцеловал ее слегка влажную и горячую руку с тонким изящным запахом.

– Это правда? – с непонятным ему выражением произнесла Лида и опять подняла на него глаза, говорившие: правда ли, что ты любишь меня? Ты видишь, какая я теперь бедная, несчастная... совсем не такая, как прежде... я боюсь тебя и угадываю весь ужас своего унижения, но больше мне не на кого опереться...

– А ты сомневаешься? – неуверенно возразил Зарудин, и легкая струйка холода, тяжелая для него самого, потянула от этих слов. Он опять поднял ее руку и поцеловал.

Странная и сложная путаница чувств и мыслей была в нем. Еще два дня тому назад, на этой самой белой подушке, были разметаны темные волосы Лиды, извивалось в припадке страсти ее гибкое, горячее и упругое тело, горели губы и обдавали все его существо темным огнем невыносимого наслаждения. В то мгновение весь мир, тысячи женщин, все наслаждения и вся жизнь соединялись для него в том, чтобы сладострастнее, нежнее и грубее, бесстыднее и жесточе истязать именно это горячее и требовательное, и покорное тело, и вдруг теперь он почувствовал, что она ему противна, что ему хочется уйти, оттолкнуть ее, не видеть и не слышать. Желание это было так велико и непримиримо, что даже сидеть здесь стало пыткой. Но в то же время темный, извивающийся и туда и сюда страх перед нею лишал его воли и придавливал к месту. Всем существом своим он сознавал, что ничем не связан, что обладал ею по ее согласию, ничего не обещая, дав ей то же, что получил, но вместе с тем ему ка-

залось, что он бессильно и глубоко влип в какую-то вязкую цепкую массу, против которой не может бороться. Он ждал, что Лида чего-то потребует от него и он должен будет или согласиться, или сделает нечто гадкое, трудное и грязное. Зарудин почувствовал себя совершенно бессильным, точно из рук и ног его вынули все кости, а во рту вместо языка привесили мокрую тряпку. Это было обидно и возмущало. Хотелось крикнуть и сказать раз и навсегда, что она не имеет права ничего от него требовать, но вместо того у Зарудина трусливо замерло сердце, и он сказал глупость, ясную для него самого, неожиданную и вовсе не идущую к моменту:

– О, женщины, женщины, как сказал Шекспир...

Лида с испугом взглянула на него. И вдруг ее голову озарил яркий беспощадный свет. В один момент она поняла, что пропала: то огромное, чистое и великое, что она могла дать, было отдано ею человеку, которого не существовало. Прекрасная жизнь, невозвратимая чистота и смелая гордость были брошены под ноги гаденькому и трусливому зверьку, не принявшему их с благодарностью за радость и наслаждение, а просто пакостившему их в актах темной тупой похоти. Был один миг, когда взрыв отчаяния едва не бросил ее на пол с бессильным рыданием и ломанием рук, но с болезненной быстротой отчаяние сменилось приливом мстительной острой злобы.

– Неужели вы не понимаете, как вы глупы! – резко и тихо, сквозь сдавленные зубы, выговорила она, вся вытягиваясь к

его лицу.

Эти грубые слова и горящий злобный взгляд так были неожиданны в изящной и женственной Лиде, что Зарудин даже отодвинулся. Но он не понял всего значения этого взгляда и попытался свести все на шутку.

– Что за выражения! – удивленно и оскорбленно сказал он, делая большие глаза и высоко поднимая плечи.

– Мне не до выражений! – горько возразила Лида и беспомощно заломила руки.

– Ну зачем столько трагизма! – поморщившись, возразил Зарудин и с внезапно пробудившимся возбуждением бессознательно следил за выгибом ее круглых точеных рук и покатых плеч.

Этот жест отчаяния и беспомощности опять поднял в нем уверенность собственного превосходства.

Было похоже, как будто они стояли на весах, и когда опускался один, сейчас же подымался другой. И Зарудин с острым удовольствием почувствовал, что эта девушка, которую он бессознательно считал выше себя и которую инстинктивно боялся даже в минуты сладострастных ласк, играет теперь, по его понятию, жалкую и позорную роль. Это чувство было ему приятно и смягчило его. Зарудин нежно взял ее за опущенные безвольные руки и чуть-чуть потянул к себе, уже возбуждаясь и начиная горячее дышать.

– Ну полно... ничего ужасного не случилось!

– Вы думаете? – в иронии приобретая силу и глядя на него

странно пристальным взглядом, спросила Лида.

– Ну конечно! – ответил Зарудин и попытался ее обнять особым, возбуждающе бесстыдным объятием, силу которого он знал.

Но от нее повеяло холодом, и руки его ослабели.

– Ну будет... чего разгневалась, моя кошечка! – с нежной укоризной проговорил он.

– Отстаньте от меня... Тут я... Отстаньте же!

Злым усилием Лида вывернулась из его рук. Зарудин физически обиделся за то, что порыв страсти его пропал даром. «Черт знает! – подумал он. – Свяжись с ними!..»

– Да что с тобой? – раздраженно спросил он, и красные пятна выступили у него на скулах.

И как будто этот вопрос что-то уяснил Лиде, она вдруг закрыла лицо руками и совершенно неожиданно для Зарудина залилась слезами. Она плакала совсем так, как плачут деревенские бабы: закрываясь руками, наклонившись всем телом вперед и протяжно всхлипывая. Длинные космы волос повисли вдоль мокрого лица, и стала она совсем некрасивой. Зарудин растерялся. Улыбаясь и боясь обидеть ее этой улыбкой, он попытался отнять ее руки от лица, но Лида упорно и упрямо удерживала их и все плакала.

– Ах ты, Господи! – вырвалось у Зарудина.

Опять ему захотелось прикрикнуть на нее, дернуть за руку, сказать что-нибудь грубое.

– Да чего ты, собственно, реवेशь?.. Ну сошлась со мной...

Ну? Вот горе! Да почему именно сейчас, что такое? Да перестань же! – визгливо крикнул он и дернул ее за руку.

Голова Лиды с мокрым лицом и распутившимися волосами дернулась от толчка, и она внезапно замолкла, опустив руки, сжавшись и с детским страхом глядя на него снизу вверх. Сумасшедшая мысль о том, что теперь всякий может ее бить, вдруг мелькнула у нее в голове. Но Зарудин снова ослабел и заговорил вкрадчиво и неуверенно:

– Ну, Лидочка... будет! Ты сама виновата... К чему эти сцены... Ну ты много потеряла, но зато и счастья было много... Никогда нам не забыть эти...

Лида опять заплакала.

– Да перестань же-е! – прокричал Зарудин.

Он прошелся по комнате, подергивая усы над вздрагивающими губами.

Было тихо, и за окном тихо качались, должно быть тронутые птицей, тонкие зеленые ветки. Зарудин с трудом овладел собой, подошел к Лиде и осторожно обнял ее. Но она сейчас же вырвалась и, угловато выворачивая локоть, нечаянно так ударила его в подбородок, что зубы отчетливо лязгнули.

– А, черт! – воскликнул Зарудин, обозлившись и от боли, и еще больше оттого, что лязганье было очень неожиданно и смешно.

Хотя Лида не заметила этого лязганья, но инстинктивно почувствовала Зарудина смешным и с женской жестокостью воспользовалась этим:

– Что за выражения! – передразнила она.

– Да ведь это хоть кого выведет из себя! – с трусливым негодованием возразил Зарудин. – Хоть бы, наконец, узнать, в чем дело!

– А вы не знаете? – с той же иронией протянула Лида. Наступило молчание, Лида упорно смотрела на него, и лицо ее горело. И вдруг Зарудин стал бледнеть быстро и ровно, точно серый налет извне покрывал его лицо.

– Ну, что ж вы?.. Что же вы молчите? Говорите что-нибудь, утешайте! – заговорила Лида, и голос ее перешел в истерический крик, испугавший ее саму.

– Я... – проговорил Зарудин, и нижняя губа его задрожала.

– Да, никто другой! К сожалению, вы! – почти прокричала Лида, задыхаясь от злых и отчаянных слез.

И с него, и с нее как бы сползал какой-то покров изящности, красоты и мягкости, и дикий растерзанный зверь все ярче выступал под ним.

Ряд комбинаций с быстротой молнии замелькал в голове Зарудина, точно стая юрких мышей набежала туда. И первая была та, чтобы немедленно развязаться с Лидой, дать ей денег, чтобы она устроила выкидыш, и покончить историю. Но хотя он считал это лучшим для себя и необходимым, Зарудин не сказал этого Лиде.

– Я, право, не ожидал... – пробормотал он.

– Не ожидал, – дико выкрикнула Лида. – А как смели не

ожидать этого?

– Лида... я ведь ничего не... – проговорил Зарудин, боясь того, что хотел сказать, и чувствуя, что скажет.

И без слов Лида поняла его. Ужас отчаяния исказил ее красивое лицо. Она беспомощно опустила руки и села на кровать.

– Так что ж мне делать? – со странной задумчивостью проговорила она как бы сама себе. – Утопиться, что ли?

– Н-ну... зачем же так...

– А знаете, Виктор Сергеевич, – вдруг проникновенно и пристально глядя ему в глаза, медленно произнесла Лида, – ведь вы даже и очень не прочь, чтобы я утопилась!

И в ее глазах и подергиваниях красивого рта было что-то такое печальное и страшное, что Зарудин невольно отвел глаза.

Лида встала. Вдруг ей стало страшно и противно, что она могла думать о нем, как о спасителе, о том, чтобы жить с ним всегда. Ей захотелось почему-то потрясти рукой, высказать ему свое презрение, отомстить за унижение, но она почувствовала, что если заговорит, то заплачет и еще больше унизит себя. Последняя гордость, остаток красивой и сильной прежней Лиды, удержала ее, и вместо того она сдавленно, но ясно и выразительно, неожиданно и для себя, и для Зарудина проговорила:

– Скотина!

И бросилась к двери, зацепившись и разорвав кружево ру-

кава о ручку замка.

Вся кровь прилила в голову Зарудину. Если бы она крикнула «подлец, негодяй», он бы снес это совершенно спокойно, но слово «скотина» было так некрасиво и так противоречило тому представлению, которое создал о себе Зарудин, что он потерялся. Покраснели даже белки его красивых выпуклых глаз. Он растерянно улыбнулся, пожал плечами, застегнул и распахнул опять китель и почувствовал себя искренно несчастным.

Но одновременно где-то внутри его тела начало расти чувство свободы и радости, что так или иначе – все кончилось. Трусливая мысль подсказала ему, что такая женщина, как Лида, больше никогда не придет. На секунду ему стало досадно, что потеряна такая красивая и вкусная любовница, но он махнул рукой:

– А и черт с ней... мало ли их!

Он поправил китель, еще дрожащими губами закурил папиросу и, удачно вызвав на лице беззаботное выражение, вышел к гостям.

XVIII

Из игроков никто, кроме пьяного Малиновского, не занялся игрой.

Всем было остро любопытно, какая женщина и зачем пришла к Зарудину. Тем, которые догадывались, что это Лида Санина, бессознательно было завидно, и воображение их мешало играть, рисуя ее невиданную ими наготу и ее сближение с Зарудиным.

Санин недолго посидел за картами, встал и сказал:

– Не хочу больше. До свиданья.

– Постой, друг, куда ты? – спросил Иванов.

– Пойду посмотрю, что там делается, – ответил Санин, ткнув пальцем в запертую дверь.

Все засмеялись его словам, как шутке.

– Будет паясничать! Садись, выпьем! – сказал Иванов.

– Сам ты – паяц! – равнодушно возразил Санин и ушел.

Выйдя в узенький переулок, где росла сочная и густая крапива, Санин сообразил, куда должны выходить окна квартиры Зарудина, осторожно придавливая крапиву ногами, добрался до забора и легко поднялся на него. Наверху он едва не забыл, зачем влез, так приятно было ему с высокого забора смотреть вниз на зеленую траву и густой сад и всеми напряженными от усилия мускулами ощущать свежий и мягкий ветерок, смягчивший жар и свободно продувавший

насквозь его тонкую рубаху.

Потом он спрыгнул вниз, попал в крапиву, с грустью почесал ужаленное место и пошел по саду. К окну он подошел в то время, когда Лида сказала:

– А вы не знаете?

И сейчас же по странному выражению ее голоса понял, в чем дело. Прислонившись плечом к стене, он смотрел в сад и с интересом слушал изменившиеся, расстроенные, возбужденные голоса. И ему было жаль красивую униженную Лиду, с прелестным обликом которой так не вязалось грубое, животное и тяжелое слово «беременна». Но больше, чем разговор его занимал странный и нелепый контраст между дикими и злыми голосами людей в комнате и светлой тишиной в зеленом саду, данном природой этим самым людям.

Белая бабочка, падая и взлетая, легко порхала над травой, купаясь в солнечном воздухе, и Санин так же внимательно следил за ее полетом, как и за тем, что слышал.

Когда Лида крикнула: «Скотина!» – Санин весело засмеялся, оттолкнулся всем телом от стены и, уже не думая о том, что его могут увидеть из окна, медленно пошел по саду.

Ящерица, торопливо перебежавшая ему дорогу, привлекла его внимание, и Санин долго следил за ее гибким травяным тельцем, ловко скользившим в зеленых бурьянах.

XIX

Лида пошла не домой, а в противоположную сторону.

Улицы были пусты, и жаркое марево струилось в воздухе. Короткие тени лежали под самыми заборами и стенами, уничтоженные торжествующим зноем.

Только по привычке закрывшись зонтиком и не замечая, жарко или холодно, светло или темно, Лида быстро шла вдоль заросших пыльной травой заборов и, опустив голову, сухими блестящими глазами смотрела под ноги. Изредка навстречу ей попадались равнодушные, пыхтящие, разваренные жаром люди, но их было мало, и летняя послеобеденная тишина стояла над городом.

Какая-то белая собачонка, торопливо и осторожно пригнувшись к ее юбке, увязалась за Лидой, озабоченно пробежала вперед, оглянулась и помахала хвостиком, утверждая, что они идут вместе. На повороте стоял мальчик, маленький, уморительно толстый, в рубашонке, хвостиком высывающейся сзади из панталон, и, напряжив измазанные бузиной щеки, отчаянно пищал в стручок.

Лида помахала рукой собачке, улыбнулась мальчугану, но все это скользило по поверхности сознания, а душа ее была замкнута. Темная сила, отрезавшая ее от всего мира, быстро несла ее, одинокую и мертвую, мимо зелени, солнца и радости жизни все дальше и дальше, к черной дыре, близость ко-

торой уже ощущала она в холодной и вялой тоске, залегшей у сердца.

Мимо проехал знакомый офицер и, увидав Лиду, заставил прыгать и поджиматься свою рыжую, чуть вспотевшую лошадь, на гладкой шерсти которой солнце клало кованые золотые блики.

– Лидия Петровна, – крикнул он веселым звонким голосом, – куда вы в такую жару?

Лида бессознательно скользнула по его маленькой фуражке, ухарски заломленной над потным, наполовину красным, наполовину белым лбом, и промолчала, только по привычке кокетливо улыбнувшись.

И в этот момент с недоумением спросила себя:

– Куда же теперь?

У нее не было ни злобы, ни думы о Зарудине. Когда, сама не зная зачем, она пошла к нему, ей казалось, что нельзя жить и невозможно разрешить своего горя без него, но теперь он просто исчез из ее жизни. Все это было и умерло, а то, что осталось, касается только ее и ею одной должно быть разрешено.

Быстро и лихорадочно отчетливо заработала ее мысль. Самое ужасное было то, что гордая и прекрасная Лида исчезнет, а вместо нее останется маленькое, загнанное, напаскудившее животное, над которым все будут издеваться и которое будет совершенно беспомощно перед сплетнями и плевками. Надо было сохранить свою гордость и красоту, уйти

от грязи туда, куда бы уже не могла дохлестнуть ее липкая волна.

И как только Лида уяснила это себе, сейчас же почувствовала, что вокруг пустота, что свет солнца, жизнь и люди уже не для нее, что она одинока среди них, что некуда идти и надо умереть, утопиться.

Это представилось ей так законченно ясно, как будто каменный круг сомкнулся между нею и всем, что было и что могло быть. На мгновение исчезло даже то противное и ужасное своей ненужностью и неотвратимостью ощущение внутри себя чего-то еще непонятного, но уже разбившего ее жизнь, которое она не переставала чувствовать с того момента, как догадалась о своей беременности.

Вокруг образовалась легкая бесцветная пустота, в которой воцарилась безразличность смерти.

«Как это, в сущности, просто!.. И не надо больше ничего!» – подумала Лида, оглядываясь кругом и ничего не видя.

Лида разом прибавила шагу, и ей все казалось нестерпимо медленно, хотя она уже не шла, а почти бежала, путаясь в широкой модной юбке.

«Вот этот дом, а там еще один, с зелеными ставнями, а потом пустырь...»

Реки, моста и того, что должно там произойти, Лида себе не представляла. Было какое-то туманное пустое пятно, в котором все окончится.

Но такое состояние продолжалось только до тех пор, пока

Лида не взошла на мост. А когда она остановилась у перил и внизу за ними увидела мутную зеленоватую воду, сразу исчезло ощущение легкости, и все существо ее переполнилось тяжелым страхом и цепким желанием жить.

И сейчас же она снова услышала звуки голосов, чириканье воробьев, увидела солнечный свет, белую ромашку в кудрявой зелени берега, беленькую собачонку, окончательно решившую, что Лида – ее законная госпожа. Эта собачонка уселась против Лиды, поджав переднюю лапку, и умильно вертела по земле белым хвостиком, оставляя на песке забавные иероглифы.

Лида пристально посмотрела на нее и чуть не схватила ее в страстные отчаянные объятия. Крупные слезы выступили у нее на глазах. И чувство жалости к своей погибающей милой и красивой жизни было так велико, что у Лиды закружилась голова, и она судорожно облокотилась на горячие от солнца перила. При этом движении она уронила в воду перчатку и с непонятным немим ужасом следила за ней глазами.

Перчатка, быстро кружась, полетела в воду и неслышно упала на ее ровную сонную поверхность. К берегам пошли быстрые расширяющиеся круги, и Лиде было видно, как потемнела, намокая, светло-желтая перчатка и медленно погрузилась в темную зеленоватую глубину. Странно, точно в тоскливой агонии, она повернулась раз и другой и стала погружаться медленными кругообразными движениями. Лида, напрягая зрение, старалась не потерять ее из виду, но желтое

пятно все меньше и меньше виднелось в зеленоватой темноте воды, мелькнуло еще раз, и другой, и тихо, беззвучно исчезло. По-прежнему перед глазами Лиды была одна ровная, сонная и темная глубина.

– Как же это вы, барышня! – сказал возле женский голос.

Лида с испугом отшатнулась и взглянула в лицо толстой курносой бабы, смотревшей на нее с любопытством и сожалением.

И хотя это сожаление относилось только к утонувшей перчатке, Лиде показалось, что толстая добродушная баба знает и жалеет ее, и на мгновение пришла в голову мысль, что если бы рассказать все, то стало бы легче и проще. Но как бы раздвоившись в эту минуту, Лида сознавала, что это невозможно. Она покраснела, заторопилась и, пробормотав: «Ничего...» – поспешно и неровно, как полупьяная, пошла с моста.

«Здесь нельзя... вытащат...» – мелькало в холодно опустевшей голове Лиды.

Она прошла вниз и повернула налево по берегу, по узкой дорожке, протоптанной в крапиве, ромашке, лопухах и горько пахнущей полыни, между рекой и заросшим плетнем какого-то сада.

Здесь было тихо и мирно, как в деревенской церкви. Вербы, опустив тонкие ветки, задумчиво смотрели в воду; солнце пятнами и полосами пестрило зеленый крутой берег; широкие лопухи тихо стояли в высокой крапиве, а цепкие ре-

пяхи легко цеплялись за широкие кружева Лидиной юбки. Какая-то кудрявая, высокая, как деревцо, трава осыпала ее мелкой белой пылью.

Теперь Лида уже заставляла себя идти туда, куда шла, вопреки могучей внутренней силе, борющейся с ней.

«Надо, надо, надо, надо...» – повторяла Лида в глубине души, и ноги ее, точно на каждом шагу разрывая какие-то тягучие путы, с трудом несли ее все дальше и дальше от моста, к тому месту, которое вдруг почему-то нарисовалось Лиде, как конец пути.

И когда она пришла туда и под тонкими спутанными прутьями лозняка увидела черную холодную воду, быстро огибавшую нависший берег, Лида поняла, как ей хочется жить, как страшно умирать и как все-таки она умрет, потому что ей нельзя жить. Она, не глядя, бросила оставшуюся перчатку и зонтик на траву и свернула с дорожки прямо по густым бурьянам.

В одну эту минуту Лида вспомнила и почувствовала необъятно много: на самом дне ее души, давно забытая и забитая новыми мыслями, детская вера с наивной мольбой и страхом повторяла: «Господи, спаси... Господи, помоги...» – откуда-то вынырнул мотив арии, который она недавно разучивала с роялем, и весь целиком промелькнул у нее в голове; вспомнила она Зарудина, но не остановилась на нем; лицо матери, в это мгновение бесконечно ей дорогое и милое, мелькнуло перед нею, и именно это лицо толкнуло ее к

воде. Никогда ни прежде, ни после того Лида не понимала с такой ясностью и глубиной, что мать и другие люди, любившие Лиду, в сущности, любили не ее, такую, как она была, с ее пороками и желаниями, а то, что им хотелось видеть в ней. И теперь, когда она обнажилась и сошла с дороги, которая, по их мнению, была единственной для нее, именно эти люди, и больше всех мать, тем больше, чем сильнее любили прежде, должны были ее истязать.

Потом все спуталось, как в бреду: и страх, и желание жить, и сознание неизбежности, и недоверие, и уверенность в том, что все кончено, и надежда на что-то, и отчаяние, и мучительное для нее признание места, где она умирала, и человек, похожий на ее брата, быстро перелезавший к ней через плетень.

– Ничего глупее придумать не могла! – крикнул Санин, запыхавшись.

По не уловимому человеческим мозгом сцеплению мыслей и побуждений, Лида пришла именно к тому месту, где кончался сад Зарудина и где на полуразвалившемся плетне, в неудобной позе, скрытая от лунного света черною тенью деревьев, она когда-то отдалась Зарудину. Санин еще издали увидел и узнал ее и догадался, что она хочет сделать. Первым движением его было уйти и не мешать ей поступить как знает, но ее порывистые движения, очевидно произвольные и мучительные, заставили его сердце сжаться жалостью, и Санин бегом, прыгая через кусты и лавочки сада, кинулся

к Лиде.

На Лиду голос брата подействовал со страшной силой: донельзя напрягшиеся в борьбе с собой нервы сразу ослабели, голова закружилась, и все плавным кругом сдвинулось с места. Лида уже не могла сообразить, где она, в воде или на берегу. Санин успел перехватить ее у самого края, и собственная ловкость и сила очень понравились ему.

– Вот так! – сказал он.

Потом отвел Лиду к плетню, посадил на перелаз и с недоумением оглянулся.

«Что ж мне теперь с нею делать?» – подумал он.

Но Лида сейчас же пришла в себя и, бледная, растерянная и слабая, точно надломленная, горько и неудержимо заплакала.

– Боже мой, Боже! – всхлипывая, как ребенок, проговорила она.

– Глупая ты! – нежно и жалостливо возразил Санин. Лида не слыхала его, но когда Санин сделал движение, она судорожно и крепко ухватила за его руку и зарыдала еще громче.

«Что я делаю! – с ужасом подумала она. – Нельзя плакать, надо обратить все в шутку... он догадается!»

– Ну, чего ты страдаешь! – мягко глядя ее по плечам, говорил Санин, и ему было приятно говорить так ласково и нежно.

Лида робко, из-под края шляпы, совсем по-детски снизу

вверх взглянула ему в лицо и притихла.

– Я ведь все знаю, – говорил Санин, – давно знаю... всю эту историю...

Хотя Лида знала, что многие догадываются о ее связи, но все-таки, как будто Санин ударил ее по лицу, дернулась от него всем своим гибким телом, и ее широко раскрытые, ментально высохшие глаза, с красивым ужасом прекрасного затравленного животного, скопились на брата.

– Ну, чего ты еще!.. Точно я тебе на хвост наступил! – добродушно усмехнулся Санин, с удовольствием взял ее за круглые мягкие плечи, пугливо дрожащие под его пальцами, и опять посадил на плетень, Лида покорно села в прежнюю надломленную позу.

– Что тебя, собственно, так огорчило? – спросил Санин. – То, что я все знаю? Так неужели же ты, отдавшись Зарудину, была такого скверного мнения о своем поступке, что даже боишься признаться в нем?.. Вот не понимаю!.. А то, что Зарудин не женился на тебе, так это и слава Богу. Ты и сама знаешь теперь... да и раньше знала, что это человек, хотя и красивый и для любви подходящий, но дрянной и подлый... Только и было в нем хорошего, что красота, но ею ты уже воспользовалась достаточно!

«Он мною, а не я... или и я... да!.. Господи, Господи!» – проносилось в горячей голове Лиды.

– Вот то, что ты беременна... – Лида закрыла глаза и глубоко втянула голову в плечи. – Это, конечно, скверно, –

продолжал Санин мягким и негромким голосом, – во-первых, потому, что рожать младенцев – дело самое прескучное, грязное, мучительное и бессмысленное, а во-вторых, потому, и это главное, что люди тебя замучают... Лидочка, ты моя Лидочка! – с могучим приливом хорошего любовного чувства перебил сам себя Санин. – Никому ты зла не сделала, и если народишь хоть дюжину младенцев, то от этого никому, кроме тебя, беды не будет!

Санин помолчал, задумчиво покусывая ус и скрестив на груди руки.

– Я бы тебе сказал, что надо делать, но ты слишком слаба и глупа для этого... У тебя не хватит ни дерзости, ни смелости... Но и умирать не стоит. Посмотри, как хорошо... Вон как солнце светит, как вода течет... Вообрази, что после твоей смерти узнают, что ты умерла беременной; что тебе до того!.. Значит, ты умираешь не оттого, что беременна, а оттого, что боишься людей, боишься, что они не дадут тебе жить. Весь ужас твоего несчастья не в том, что оно – несчастье, а в том, что ты ставишь его между собой и жизнью и думаешь, что за ним уже нет ничего. А на самом деле жизнь остается такую, как и была... Ты не боишься тех людей, которые тебя не знают, а боишься, конечно, только тех, кто к тебе близок, и больше всего тех, которые тебя любят и для которых твое впадение, потому только, что оно произведено не на брачной кровати, а где-нибудь, в лесу на траве, что ли, будет ужасным ударом. Но они ведь не поступят перед тем, чтобы наказать

тебя за грех твой, так что ж и тебе в них?.. Они, значит, глупы, жестоки и плоски, что же ты мучаешься и хочешь умереть ради глупых, плоских и жестоких людей?..

Лида медленно подняла на него спрашивающие большие глаза, и в них Санин увидел искорку понимания.

– Что же мне делать... что делать? – с тоской проговорила она.

– У тебя два исхода: или избавиться от этого ребенка, никому на свете не нужного; рождение которого, кроме горя, ты сама видишь, никому в целом свете не принесет ничего...

Темный испуг показался в глазах Лиды.

– Убить существо, которое уже поняло радость жизни и ужас смерти – жестоко, убить же зародыш, бессмысленный комочек крови и мяса...

Странное чувство было в Лиде: сначала острый стыд, такой стыд, точно ее всю раздели донага и рылись грубыми пальцами в самых тайниках ее тела. Ей было страшно взглянуть на брата, чтобы они оба не умерли от стыда. Но серые глаза Санина не мигали, смотрели ясно и твердо, голос не дрожал и был спокоен, как будто произносил самые простые, ничем не отличающиеся от всяких других слова. И под неуклонностью этих слов стыд расплылся, потерял силу и как бы даже смысл. Лида увидела глубокое дно слов этих и почувствовала, что в ней самой нет уже ни стыда, ни страха. Тогда, испугавшись дерзкой мысли своей, она с отчаянием схватилась за виски, как крыльями испуганной птицы взмах-

нув легкими рукавами платья.

– Не могу... не могу я! – перебила она. – Может быть, это и так, может быть... но я не могу... это ужасно!

– Ну не можешь, ну что ж... – становясь перед нею на колени и тихо отрывая ее руки от лица, сказал Санин, – тогда будем скрывать... Я сделаю так, что Зарудин уедет отсюда, а ты... выйдешь ты замуж за Новикова и будешь счастлива... Я ведь знаю, что если бы не явился этот красивый жеребец офицер, ты полюбила бы Новикова... к тому шло...

При имени Новикова что-то светлое и милое ярким лучом промелькнуло в душе Лиды. Оттого, что Зарудин сделал ее такою несчастной и оттого, что она чувствовала, что Новиков не сделал бы, Лиде на одну секунду показалось, будто все это было простой и поправимой ошибкой и в ней ничего нет ужасного: сейчас она встанет, пойдет, что-то скажет, улыбнется, и жизнь опять развернется перед нею всеми своими солнечными красками. Опять ей можно будет жить, опять любить, только гораздо лучше, крепче и чище. Но сейчас же она вспомнила, что это невозможно, что она уже грязна, измята недостойным, бессмысленным развратом.

Необычайно грубое, мало ей известное и никогда не произносимое слово вынырнуло в ее памяти. Этим словом, как тяжелой пощечиной, она заклемила себя с большим наслаждением, и сама испугалась.

«Боже мой... Но разве это так, разве я такая?... Ну да, ну да... такая, такая... Вот тебе!..»

– Что ты говоришь! – с отчаянием прошептала она брату, мучительно стыдясь своего звучного и прекрасного, как всегда, голоса.

– А что же? – спросил Санин, сверху глядя на ее красивые спутанные волосы над склоненной белой шеей, по которой двигался легкий золотой налет солнечного света, проскользнувшего между листьями.

Ему вдруг просто стало страшно, что не удастся уговорить ее, и эта красивая, солнечная, молодая женщина, способная дать счастье многим людям, уйдет в бессмысленную пустоту.

Лида беспомощно молчала. Она старалась подавить в себе желанную надежду, которая, против воли, овладевала всем дрожащим телом ее. Ей казалось, что после всего случившегося стыдно не только жить, но даже желать жизни. Но могучее, полное солнца молодое тело отталкивало эти уродливые слабые мысли, точно яд, не желая признать своими калеченых недоносков.

– Что же ты молчишь? – спросил Санин.

– Это невозможно... Это было бы подло, я...

– Оставь ты, пожалуйста, этот вздор... – с неудовольствием возразил Санин.

Лида опять скосила на него полные слез и тайных желаний красивые глаза.

Санин помолчал, поднял какую-то веточку, перекусил ее и бросил.

– Подло, подло... – проговорил он. – Вон тебя страшно

поразило то, что я говорил... А почему? Ни ты, ни я на этот вопрос определенного ответа не дадим... А если и дадим, то это будет не ответ! Преступление? Что такое преступление! Когда во время родов матери грозит смерть, разрезать на части, четвертовать, раздавить голову стальными щипцами уже живому, готовому закричать ребенку – это не преступление!.. Это только несчастная необходимость!.. А прекратить бессознательный, физиологический процесс, нечто, еще не существующее, какую-то химическую реакцию, – это преступление, ужас!.. Ужас, хотя бы от этого так же зависела жизнь матери, и даже больше чем жизнь – ее счастье!.. Почему так? Никто не знает, но все кричат браво! – усмехнулся Санин. – Эх, люди, люди... создадут вот так себе призрак, условие, мираж и страдают. А кричат: человек – великолепно, важно, непостижимо! Человек – Царь! Царь природы, которому никогда царствовать не приходится: все страдает и боится своей же собственной тени!

Санин помолчал.

– Да, впрочем, не в том дело. Ты говоришь – подло. Не знаю... может быть. Но только, если сказать о твоём падении Новикову, он перенесет жестокую драму, может быть, застрелится, но любить тебя не перестанет. И он будет сам виноват, потому что будет бороться с теми же самыми предрассудками, в которые официально не верит. Если бы он был действительно умен, он не придал бы никакого значения тому, что ты с кем-то спала, извини за грубое выражение. Ни

тело твое, ни душа твоя от этого хуже не стали... Боже мой, ведь женился бы он на вдове, например! Очевидно, дело тут не в факте, а в той путанице, которая происходит у него в голове. А ты... Если бы человеку было свойственно любить один только раз, то при попытке любить во второй ничего бы не вышло, было бы больно, гадко и неудобно. А то этого нет. Все одинаково приятно и счастливо. Полюбишь ты Новикова... А не полюбишь, так... уедем со мной, Лидочка! Жить можно везде!..

Лида вздохнула, стараясь вытолкнуть изнутри что-то тяжелое. «А может быть, и вправду все будет опять хорошо... Новиков... он милый, славный и... красивый тоже... Нет, да... не знаю...»

– Ну, что было бы, если бы ты утопилась? Добро и зло не потерпело бы ни прибыли, ни убытка... Затянуло бы илом твой распухший, безобразный труп, потом тебя бы вытащили и похоронили... Только и всего!

Перед глазами Лиды заколыхалась зеленая, зловещая глубина, потянулись медленными змееобразными движениями какие-то осклизлые нити, полосы, пузыри, стало вдруг страшно и отвратительно.

«Нет, нет, никогда... Пусть позор, Новиков, все, что угодно, только не это!» – бледнея, подумала она.

– Вон ты как обалдела от страху! – смеясь, сказал Санин. Лида улыбнулась сквозь слезы, и эта собственная случайная улыбка, точно показав, что еще можно смеяться, согрела ее.

«Что бы там ни было, буду жить!» – со страстным и почти торжествующим порывом подумала она.

– Ну вот, – радостно сказал Санин и встал порывисто и весело. – Ни от чего не может быть так тошно, как от мысли о смерти, но если и это плечи подымет, и не перестанешь слышать и видеть жизнь, то и живи! Так?.. Ну, дай лапку!

Лида протянула ему руку, и в ее робком, женственном движении была детская благодарность.

– Ну вот так... Славная у тебя ручка! Лида улыбнулась и молчала.

Не слова Санина подействовали на нее. В ней самой была огромная, упорная и смелая жизнь, и минута молчания и слабости только натянула ее, как струну. Еще одно движение – и струна бы порвалась, но движения этого не было, и вся душа ее зазвучала еще стройнее и звучнее дерзостью, жаждой жизни и бесшабашной силой. С восторгом и удивлением, в незнакомой ей бодрости, Лида смотрела и слушала, каждым атомом своего существа улавливая ту же могучую радостную жизнь, которая шла вокруг, в свете солнца, в зеленой траве, в бегущей пронизанной насквозь светом воде, в улыбающемся спокойном лице брата и в ней самой. Ей казалось, что она видит и чувствует в первый раз.

«Жить!» – оглушительно и радостно кричало в ней.

– Ну вот и хорошо, – говорил Санин, – я помогу тебе в борьбе в трудное время, а ты меня за это поцелуй, потому что ты красавица!

Лида молча улыбнулась, и улыбка была загадочная, как у лесной девы. Санин взял ее за талию и, чувствуя, как в его мускулистых руках вздрагивает и тянется упругое теплое тело, крепко и дерзко прижал ее к себе.

В душе Лиды делалось что-то странное, но невыразимо приятное: все в ней жило и жадно хотело еще большей жизни, не отдавая себе отчета, она медленно обвила шею брата обеими руками и, полузакрыв глаза, сжала губы для поцелуя. И чувствовала себя неудержимо счастливой, когда горячие губы Санина долго и больно ее целовали. В это мгновение ей не было дела до того, кто ее целует, как нет дела цветку, пригретому солнцем, кто его греет.

«Что же это со мной, – думала она с радостным удивлением, – ах, да... я хотела зачем-то утопиться... как глупо!.. Зачем?.. Ах, как хорошо... ну, еще, еще... вот я сама целую... Ах, как хорошо... и все равно кто... Только бы жить».

– Ну вот... – сказал Санин, выпуская ее. – Все, что хорошо, хорошо... и ничему больше не надо придавать значения!

Лида медленно поправляла волосы, глядя на него со счастливой и бессмысленной улыбкой. Санин подал ей зонтик и перчатку, и Лида сначала удивилась отсутствию другой, а потом вспомнила и долго тихо смеялась, припоминая, каким громадным и зловещим казалось ей ровно ничего не значащее утопление перчатки.

«И так все!» – думала она, идя с братом по берегу и подставляя выпуклую грудь горячему солнечному свету.

XX

Новиков сам отворил дверь Санину и, увидев его, насутился. Ему было тяжело все, что напоминало Лиду и то непонятно прекрасное, что разбилось у него в душе, как тонкая ваза.

Санин заметил это и вошел, примирительно и ласково улыбаясь. В комнате Новикова было грязно и разбросано, как будто вихрь прошел по ней, заметя пол бумажками, соломой и всяким хламом. Без всякого толку наваленные на кровати, стульях и выдвинутых ящиках комода, пестрели книги, белье, инструменты и чемоданы.

– Куда? – с недоумением спросил Санин.

Новиков, стараясь не смотреть на него, молча передвигал на столе какие-то мелочи.

– Еду, брат, на голод... бумагу получил... – неловко и сердясь на себя за это, ответил он.

Санин посмотрел на него, потом на чемодан, потом опять на него и вдруг широко улыбнулся. Новиков промолчал, машинально пряча вместе со стеклянными трубками сапоги. Ему было больно, и чувствовал он полное тоскливое одиночество.

– Если ты будешь так укладываться, – заметил Санин, – то приедешь и без инструментов, и без сапог.

– А... – произнес Новиков, мельком взглянув на Санина,

и его глаза, полные слез, сказали: «Оставь меня... видишь, мне тяжело!»

Санин понял и замолчал.

В окно уже плыли задумчивые летние сумерки, и над легкой зеленью сада потухало ясное, чистое, как кристалл, небо.

– А по-моему, – начал Санин, помолчав, – чем ехать тебе черт знает куда, лучше бы тебе на Лиде жениться!

Новиков неестественно быстро повернулся к нему и вдруг весь затрясся.

– Я тебя попрошу... оставить эти глупые шутки! – звенящим голосом прокричал он.

Звук его голоса улетел в задумчивый прохладный сад и странно прозвенел под тихими деревьями.

– Чего ты взъелся? – спросил Санин.

– Послушай... – хрипло произнес Новиков, и глаза у него сделались круглые, а лицо стало совсем не похоже на то доброе и мягкое лицо, которое знал Санин.

– А ты станешь спорить, что женитьба на Лиде не счастье? – весело смеясь одними уголками глаз, спросил Санин.

– Перестань! – взвизгнул Новиков, шатаясь, как пьяный, бросился к Санину, схватил тот же нечищенный сапог и с неведомой ему силой взмахнул им над головой.

– Тише ты, черт! – сердито сказал Санин, невольно отодвигаясь.

Новиков с отвращением бросил сапог и остановился перед ним, тяжело дыша.

– Это меня-то старым сапогом! – укоризненно покачал головой Санин. Ему было жаль Новикова и смешно все, что тот делал.

– Сам виноват... – сразу слабея и конфузясь, возразил Новиков.

И сейчас же почувствовал нежность и доверие к Санину. Тот был такой большой и спокойный, и Новикову, точно маленькому мальчику, захотелось приласкаться, пожаловаться на то, что его так измучило. Даже слезы выступили у него на глазах.

– Если бы ты знал, как мне тяжело! – сказал он прерывисто, делая усилия горлом и ртом, чтобы не заплакать.

– Да я, голубчик, все знаю, – ласково ответил Санин.

– Нет, ты не можешь знать! – доверчиво возразил Новиков, машинально садясь рядом. Ему казалось, что его состояние так исключительно тяжело, что никто не в силах понять его.

– Нет, знаю... – сказал Санин, – хочешь, побожусь!.. Если ты больше не будешь кидаться на меня со старым сапогом, так я тебе это докажу. Не будешь?

– Да... Ну прости, Володя, – конфузливо пробормотал Новиков, называя Санина по имени, чего никогда не делал.

Санину это понравилось, и оттого желание помочь и все уладить сделалось в нем еще сильнее.

– Слушай, голубчик, будем мы говорить откровенно, – заговорил он, ласково положив руку на колено Новикова, –

ведь ты и ехать собрался только потому, что Лида тебе отказала, а тогда, у Зарудина, тебе показалось, что это Лида пришла.

Новиков понурился. Ему казалось, что Санин расковыривает в нем свежую, нестерпимо болезненную рану.

Санин посмотрел на него и подумал: «Ах ты, добрая глупая животная!»

– Я тебя не стану уверять, – продолжал он, – что Лида не была в связи с Зарудиным, я этого не знаю... не думаю... – поспешно прибавил он, заметив страдальческое выражение, промелькнувшее по лицу Новикова точно тень пролетевшей тучки.

Новиков поглядел на него со смутной надеждой.

– Их отношения начались так недавно, – пояснил Санин, – что ничего серьезного быть не могло. Особенно если принять во внимание характер Лиды... Ты ведь знаешь Лиду.

Перед глазами Новикова встала Лида, такая, какую он ее знал и любил: стройная гордая девушка, с большими, не то нежными, не то грозящими глазами в холоде чистоты, точно в ледяном ореоле. Он закрыл глаза и поверил Санину.

– Да если между ними и был обыкновенный весенний флирт, то теперь все это, очевидно, кончено. Да и какое тебе дело до маленького увлечения девушки, еще свободной и ищущей своего счастья, когда сам ты, даже не роясь в памяти, конечно, вспомнишь десятки таких увлечений, и даже гораздо хуже.

Новиков повернулся к нему, и от доверия, переполнившего его душу, глаза его стали светлы и прозрачны. В душе его зашевелился живой росток, но такой слабый, каждую минуту готовый исчезнуть, что он сам боялся неосторожным словом или мыслью убить его.

– Знаешь, если бы я... – Новиков но договорил, потому что сам не мог оформить того, что хотел сказать, но почувствовал, как к горлу подступают сладкие слезы умиления своим горем и своим чувством.

– Что, если бы? – повышая голос и блестя глазами, торжественно заговорил Санин. – Я тебе только одно могу сказать, что между Лидой и Зарудиным ничего нет и не было!

Новиков растерянно посмотрел на него.

– Я думал... – с ужасом заговорил он, чувствуя, что не верит.

– Глупости ты думал, – с искренним раздражением возразил Санин. – Ты разве не понимаешь Лиду: раз она столько времени колебалась, какая же это любовь!

Новиков схватил его за руку, восторженно глядя ему в рот.

И вдруг страшная злоба и омерзение охватили Санина. Он несколько времени молча смотрел в лицо человека, ставшего блаженным при мысли, что женщина, с которой он хотел совокупиться, не совокуплялась раньше ни с кем. Голая животная ревность, плоская и жадная, как гад, глядела из добрых человеческих глаз, преображенных искренним горем и

страданием.

– О-о! – зловеще протянул Санин и встал. – Ну, так я тебе скажу вот что: Лида не только была влюблена в Зарудина, она была с ним в связи и теперь даже беременна от него!

Звонящая тишина стала в комнате. Новиков, странно улыбаясь, глядел на Санина и потирал руки. Губы его вздрогнули, зашевелились, но только какой-то слабый писк вылетел и умер. Санин стоял над ним и смотрел в глаза, и на нижней челюсти и в уголках рта залегла у него жестокая и опасная складка.

– Ну, что ж ты молчишь? – спросил Санин.

Новиков быстро поднял на него глаза и быстро опустил, так же молча и растерянно улыбаясь.

– Лида пережила страшную драму, – тихо заговорил Санин, как бы разговаривая сам с собою, – если бы случай не натолкнул меня, то теперь ее уже не было бы на свете, и то, что вчера было прекрасной, живой девушкой, сейчас лежало бы голое и безобразное, изъеденное раками, где-нибудь в береговой тине... Не в том дело, что она бы умерла... всякий человек умирает, но с нею умерла бы огромная радость, которую она вносила в жизнь окружающих людей... Лида... она не одна, конечно... но если бы погибла вся женская молодость, на свете стало бы, как в могиле. И я лично, когда бессмысленно затравят молодую красивую девушку, испытываю желание кого-нибудь убить!.. Слушай, мне все равно, женишься ли ты на Лиде или пойдешь к черту, но мне хо-

чется сказать вот что: ты идиот! Если бы под твоим черепом ворошилась бы хоть одна здоровая чистая мысль, разве ты страдал бы так и делал несчастным себя и других оттого только, что женщина, свободная и молодая, выбирая самца, ошиблась и стала опять свободной уже после полового акта, а не прежде него... Я говорю тебе, но ты не один... вас, идиотов, сделавших жизнь невозможной тюрьмой, без солнца и радости, миллионы!.. Ну, а ты сам: сколько раз ты сам лежал на брюхе какой-нибудь проститутки и извивался от похоти, пьяный и грязный, как собака!.. В падении Лиды была страсть, была поэзия смелости и силы, а ты? Какое же ты имеешь право отворачиваться от нее, ты, мнящий себя умным и интеллигентным человеком, между умом которого и жизнью якобы нет преград!.. Что тебе до ее прошлого? Она стала хуже, меньше доставит наслаждения? Тебе самому хотелось лишить ее невинности?.. Ну?

– Ты сам знаешь, что это не так... – дрожащими губами проговорил Новиков.

– Нет – так! – крикнул Санин. – А если не так, так что же?.. Новиков молчал.

В душе его было пусто и темно, и только, как освещенное окно в темном поле, далеко-далеко засветилось тоскливое счастье прощения, жертвы и подвига.

Санин смотрел на него и, казалось, ловил его мысли по всем изгибам изворотливого мозга.

– Я вижу, – заговорил он опять тихим, но острым тоном, –

что ты думаешь о самопожертвовании... У тебя уже явилась лазейка: я снизойду до нее, я прикрою ее от толпы и так далее... И ты уже растешь в своих глазах, как червяк на падали!.. Нет, врешь! Ни на одну минуту в тебе нет самоотречения: если бы Лиду действительно испортила оспа, ты, может быть, и понатужился бы до подвига, но через два дня испортил бы ей жизнь, сослался бы на рок и или сбежал бы, или заел бы ее и шел бы на подвиг с отчаянием в душе. А теперь ты на себя, как на икону, взираешь!.. Еще бы: ты светел лицом, и всякий скажет, что ты святой, а потерять ты ровно ничего не потерял: у Лиды остались те же руки, те же ноги, та же грудь, та же страсть и жизнь!.. Приятно наслаждаться, сознавая, что делаешь святое дело!.. Еще бы!

И под этими словами в душе Новикова трусливо сжалось в комочек и умерло, как раздавленный червяк, то трогательное самолюбование, которое начинало расцветать там, и мягкая душа его дала новое чувство, проще и искреннее первого.

– Ты хуже думаешь обо мне, чем я есть! – с печальной укоризной сказал он. – Я вовсе не так туп, как ты говоришь... Может быть... не стану спорить, во мне и сильны предрассудки, но Лидию Петровну я люблю... и если бы я знал, что она меня любит, разве я стал бы задумываться над тем...

Последнее слово он проговорил с трудом, и эта трудность сказать то, во что веришь, уже доставляла ему самому острое страдание.

Санин вдруг остыл. Он задумался, прошелся по комнате, остановился у окна в сумеречный сад и тихо ответил:

– Она теперь несчастна, ей не до любви... Любит она тебя или не любит, кто ее знает. Я только думаю, что если ты пойдешь к ней и будешь вторым человеком в мире, который не казнит ее за ее минутное, случайное счастье, то... кто ж ее знает!..

Новиков задумчиво смотрел перед собой. В нем была и печаль, и радость; и печальная радость, и радостная печаль создавали в душе его светлое, как умирающий летний вечер, трогательное счастье.

– Пойдем к ней, – сказал Санин, – что бы там ни было, а ей будет легче увидеть человеческое лицо среди масок, под которыми звериные морды... Ты, друг мой, достаточно глуп, это правда, но есть у тебя, в самой твоей глупости, нечто такое, чего нет у других... Что ж, на этой глупости мир долго строил свое счастье и свои упования... Пойдем.

Новиков робко ему улыбнулся.

– Я пойду... но только ей самой приятно ли это будет.

– Ты не думай об этом, – положил ему на плечи обе руки Санин, – если ты считаешь, что делаешь хорошо – делай, а там будет видно...

– Ну пойдем! – решительно сказал Новиков.

В дверях он остановился и, глядя прямо в глаза Санину, с неведомой в нем силой сказал:

– И, знаешь, если это возможно, я сделаю ее счастливой...

Эта фраза банальна, но я не могу иначе выразить то, что чувствую...

– Ничего, друг, – ласково ответил Санин, – я понимаю и так!..

XXI

Знойное лето стояло над городом. По ночам высоко в небе ходила круглая светлая луна, воздух был тепел и густ и вместе с запахом садов и цветов возбуждал истомные властные чувства.

Днем люди работали, занимались политикой, искусством, проведением в жизнь разнообразных идей, едой, питьем, купаньем и разговорами, но как только спадала жара, укладывалась успокоенная отяжелевшая пыль и на темном горизонте, из-за дальней роши или ближней крыши показывался край круглого светло-загадочного диска, заливающего сады холодным таинственным светом, все останавливалось, точно скидывало с себя какие-то пестрые одежды, и, легкое и свободное, начинало жить настоящей жизнью. И чем моложе были люди, тем полнее и свободнее была эта жизнь. Сады стонали от соловьиного свиста, травы, задетые легким женским платьем, таинственно качали своими головками, тени углублялись, в воздухе душно вставала любовная истома, глаза то загорались, то туманились, щеки розовели, голоса становились загадочны и призывны.

И новые поколения людей стихийно зарождались под холодным лунным светом, в тени молчаливых деревьев, дышащих прохладой, на примятой сочной траве.

И Юрий Сварожич, вместе с Шафровым, занимаясь поли-

тикой, кружками саморазвития и чтением новейших книг, воображал, что именно в этом его настоящая жизнь и в этом – разрешение и успокоение всех его тревог и сомнений. Но сколько он ни читал, сколько ни устраивал, ему все было скучно и тяжело, и в жизни не было огня. Зажигался он только в те минуты, когда Юрий чувствовал себя здоровым и сильным и был влюблен в женщину.

Сначала все женщины, молодые и красивые, казались ему одинаково интересными и одинаково волновали его, но вот среди них начала выступать одна, и мало-помалу она взяла себе все краски и все прелести их и стала перед ним отдельно, прекрасная и милая, как березка на опушке леса весной.

Она была очень красива, высокого роста, полная и сильная, ходила, на каждом шагу подаваясь вперед высокой и красивой грудью, голову носила приподнятой на сильной и белой шее, звонко смеялась, красиво пела и хотя много читала, любила умные мысли и свои стихи, но все ее существо ощущало полное удовлетворение только тогда, когда ей приходилось делать усилия, напирать на что-нибудь упругой грудью, обхватывать изо всей силы руками, упираться ногами, смеяться, петь и смотреть на сильных и красивых мужчин. Иногда, когда, могуче сжигая все темное, светило солнце или блестела на темном небе луна, ей хотелось раздеться и голой бежать по зеленой траве, броситься в темную колышущуюся воду, кого-то ждать и искать, призывая певучим криком.

Ее присутствие волновало Юрия, вызывая в нем неведомые, еще не использованные силы. При ней ярче говорил его язык, сильнее становились мускулы, крепче сердце и гибче ум. Весь день он думал о ней и вечером шел искать ее, скрывая это даже от самого себя.

Но в душе его было что-то разъеденное, нудное, становящееся поперек силы, идущей на волю изнутри. Каждое чувство, возникающее в нем, он останавливал и спрашивал, и чувство меркло, вяло и теряло лепестки, как цветок под морозом. Когда он спрашивал себя, что влечет его к Карсавиной, то отвечал: половое влечение, и только – и хотя не знал сам, почему, но это прямоугольное слово вызывало в нем небрежное и тяжелое для него самого презрение.

А между тем между ними безмолвно устанавливалась таинственная связь, и как в зеркале, каждое его движение отражалось в ней, а ее в нем.

Карсавина не думала, что в ней происходит, но чувству своему радовалась, боялась его, желала и старалась скрыть от других, чтобы оно было полно и всецело принадлежало ей одной. Ее мучило, что она не может понять всего, что происходит в душе и теле этого красивого, милого ей человека. По временам ей казалось, что между ними ничего нет, и тогда она страдала, плакала и томилась, точно потеряв какое-то богатство. Но все-таки внимание других мужчин, которые подходили к ней и смотрели на нее странными и непонятными и непонятными глазами, не могло не тешить и не

волновать ее. И потому, особенно тогда, когда она была уверена в том, что любима Юрием, и вся расцветала, как невеста, Карсавина волновала других и сама волновалась тайной жадных желаний.

И особенно странную волнующую струю чувствовала она в себе, когда к ней приближался Санин, с его широкими плечами, спокойными глазами и уверенно сильными движениями. Ловя себя на этом тайном волнении, Карсавина пугалась, считала себя дурной и развратной и все-таки с любопытством смотрела на Санина.

Вечером, в тот день, когда Лида пережила свою тяжелую драму, Юрий и Карсавина встретились в библиотеке. Они просто поздоровались и занялись каждый своим делом: Карсавина выбирала книги, а Юрий просматривал петербургские газеты. Но вышло как-то так, что вышли они вместе и пошли по уже пустым, ярко освещенным луной улицам.

В воздухе было необыкновенно тихо, и слышались только смягченные расстоянием звуки трещотки ночного сторожа и лай маленькой собаки где-то на задворках. На бульваре они наткнулись на какую-то компанию, сидевшую в тени деревьев. Им слышались оживленные голоса, виднелись вспыхивающие и на мгновение освещавшие чьи-то усы и бороды огоньки папирос. И когда они уже проходили мимо, чистый и веселый мужской голос пропел:

Сердце красавицы,

Как ветерок полей!..

Не доходя до квартиры Карсавиной, они сели на лавочку у чужих ворот, в глубокой тени, откуда виднелась широкая, ярко освещенная луной улица, а в конце ее белая ограда церкви и темные липы, над которыми холодно, как звезда, желтел в небе крест.

– Посмотрите, как хорошо! – певуче сказала Карсавина, показывая рукой.

Юрий мельком и с наслаждением взглянул на ее белое полное плечо, кругло блестящее сквозь широкий ворот малороссийского костюма, и почувствовал неудержимое желание сжать ее, поцеловать в пухлые сочные губы, раскрытые от его губ так близко. Он вдруг почувствовал, что это надо сделать, что и она сама ждет этого и боится, и желает.

Но вместо того, как-то упустив момент и обессилев, он скривил губы и насмешливо хмыкнул.

– О чем вы? – спросила Карсавина.

– Так, ни о чем... – сдерживая страстную дрожь в ногах, ответил Юрий, – чересчур уж хорошо.

Они помолчали, чутко прислушиваясь к отдаленным звукам, звенящим за темными садами и блестящими от луны крышами.

– Были вы когда-нибудь влюблены? – спросила вдруг Карсавина.

– Был... – медленно ответил Юрий. «А что, если я ска-

жу?» – с замиранием подумал он и сказал:

– Я и сейчас влюблен.

– В кого? – вздрогнувшим голосом спросила Карсавина, полная уверенности и страха.

– Да в вас! – стараясь говорить шутя, но срываясь с тона, ответил Юрий, наклоняясь и заглядывая ей в глаза, странно блестящие в тени.

Она быстро и испуганно взглянула на него, и ее испуганное блаженное лицо было полно ожидания.

Юрий хотел ее обнять. Он уже чувствовал под своими руками мягкие холодноватые плечи и упругую грудь, но испугался, опять упустил момент и, не имея силы, не думая сделать то, чего хотел, смущенно и притворно зевнул.

«Шутит!» – с болью подумала Карсавина, и вдруг все в ней похолодело от горя и обиды. Она почувствовала, что сейчас заплачет, и, с судорожным усилием удержать слезы, стиснула зубы.

– Глупости! – поспешно вставая, изменившимся голосом пробормотала она.

– Я серьезно говорю! – сказал Юрий уже против воли неестественным голосом. – Я вас люблю, и вы можете мне поверить – очень страстно!

Карсавина, не отвечая, собрала свои книги. «Зачем так... за что?» – с тоской думала она и вдруг с ужасом подумала, что выдала себя и он презирает ее. Юрий подал ей упавшую книгу.

– Пора домой... – тихо сказала она.

Юрию было мучительно жаль, что она уйдет, и в то же время ему показалось, что выходит оригинально и красиво, далеко от всякой пошлости.

И он загадочно ответил:

– До свиданья!

Но когда Карсавина подала ему руку, Юрий против воли нагнулся и поцеловал ее в мягкую теплую ладонь, от которой пахло ему в лицо милым нежным запахом. Карсавина сейчас же с легким вскриком отдернула руку.

– Что вы!

Но мимолетное ощущение прикосновения к губам мягкого, девственно холодноватого тела было так сильно, что у Юрия закружилась голова, и он мог только блаженно и бессмысленно улыбаться, прислушиваясь к быстрому шороху ее удаляющихся шагов.

Скоро скрипнула калитка, и Юрий, все так же улыбаясь, пошел домой, изо всех сил вдыхая чистый воздух и чувствуя себя сильным и счастливым.

XXII

Но в своей комнате, после простора и прохлады лунной ночи, душной и узкой, как тюрьма, Юрий опять стал думать, что все-таки жить скучно и все это мелко и пошло.

«Сорвал поцелуй! Какое счастье, какой подвиг, подумашь! Как это достойно и поэтично: луна, герой соблазняет девицу пламенными речами и поцелуями... Тьфу, пошлость! В этом проклятом захолустье незаметно мельчаешь!»

И как, живя в большом городе, Юрий полагал, что стоит ему только уехать в деревню, окунуться в простую, черноземную жизнь, с ее работой, настоящей невыдуманной работой, с ее полями, солнцем и мужиками, чтобы жизнь приобрела наконец истинный смысл, так теперь ему подумалось, что если бы не эта глушь, если бы перенестись в столицу, то жизнь закипела бы на настоящем пути.

– В столице шум, гремят витии! – с задумчивым лицом и бессознательным пафосом продекламировал Юрий.

Но, мгновенно изловив себя на мальчишеском восторге, махнул рукой.

«А впрочем, что из того... все равно!.. Политика, наука... все это громадно только издали, в идеале, в общем, а в жизни одного человека – такое же ремесло, как и всякое другое! Борьба, титанические усилия... да... Но в современной жизни это невозможно. Ну что ж, я искренно страдаю, борюсь,

преодолеваю... а потом? В конце концов? Конечная точка борьбы лежит вне моей жизни. Прометей хотел дать людям огонь и дал, – это победа. А мы? – мы можем только подбрасывать щепочки в огонь, не нами зажженный, не нами потушенный».

И вдруг у него выскочила мысль, что это потому, что он, Юрий, не Прометей. Мысль эта была неприятна ему, но он все-таки с болезненным самобичеванием подхватил ее:

«Какой я Прометей! У меня все сейчас же на личную почву: я, я, я!.. Для меня, для меня!.. Я так же слаб и ничтожен, как и все эти людишки, которых я искренно презираю!»

Эта параллель была так мучительна для него, что Юрий спутался и несколько времени тупо смотрел перед собою, подыскивая себе оправдание.

«Нет, я не то что другие! – с облегчением подумал он. – Уже по одному, что я это думаю... Рязанцевы, Новиковы, Санины не могут думать об этом. Они далеки от трагического самобичевания, они удовлетворены, как торжествующие свиньи. Заратустры! У них вся жизнь в их собственном микроскопическом „я“, и они-то заражают и меня своей пошлостью... С волками живя, по-волчьи и выть начинаешь! Это естественно!»

Юрий стал ходить по комнате, и, как это часто бывает, с переменой положений и мысли его переменились.

«Ну хорошо... Это так, а все-таки надо обдумать многое: какие у меня отношения к Карсавиной? Люблю я ее или нет,

все равно: что может выйти из этого? Если бы я женился на ней или просто связался на некоторое время, было ли бы для меня это счастьем? Обмануть ее – было бы преступлением, а если я ее люблю, то... ну хорошо: у нее пойдут дети, – почему-то краснея, торопливо продумал Юрий, – в этом, конечно, нет ничего дурного, но все-таки это свяжет меня и лишит свободы навсегда! Семейное счастье – мещанские радости! Нет, это не для меня!»

«Раз, два, три... – думал Юрий, машинально стараясь ступать так, чтобы с каждым шагом попадать через две доски пола в третью. – Если бы наверное знать, что детей не будет... Или если бы я мог полюбить своих детей так, чтобы отдать им жизнь... Нет, это тоже пошло... Ведь и Рязанцев будет любить своих чад, чем же мы будем отличаться друг от друга? Жить и жертвовать! Вот настоящая жизнь!.. Да... Но кому жертвовать? Как?.. На какую бы я дорогу ни бросился и какую бы цель я себе ни поставил, где тот чистый и несомненный идеал, за который не жаль было бы умереть?.. Да, не я слаб, а жизнь не стоит жертв и любви. А если так, то не стоит и жить!»

И этот вывод никогда еще так ясно не укладывался в мозг Юрия.

На столе у него всегда лежал револьвер, и теперь он, блестя своими полированными частями, попадался на глаза Юрию каждый раз, когда тот доходил до стола и поворачивался обратно.

Юрий взял его и внимательно осмотрел. Револьвер был заряжен. Юрий взвел курок и приставил револьвер к виску.

«Так вот... – подумал он. – Раз – и кончено? Глупо или умно стреляться? Самоубийство – малодушие... Ну что же, значит, я малодушен!»

Осторожное прикосновение холодного железа к горячему виску было приятно и жутко.

«А Карсавина? – бессознательно пронеслось в голове Юрия. – Так я и не буду обладать ею и оставляю это возможное для меня наслаждение другому?»

И при мысли о Карсавиной в нем сладострастно и нежно все замерло. Но усилием воли Юрий заставил себя подумать, что это все пустяки, ничто, в сравнении с теми важными и глубокими мыслями, которые, как ему казалось, наполняли его голову. Но это было насилием, и насилуемое чувство отомстило ему неудовлетворенной тоской и нежеланием жить.

«Отчего бы и в самом деле?» – с замиранием сердца спросил себя Юрий.

Опять, и уже с намерением, в которое не верил и над которым стыдливо усмехнулся, Юрий приложил револьвер к виску и, не отдавая себе отчета в своем движении, потянул за спуск.

Что-то с диким ужасом, холодное и острое, дернулось в нем. В ушах зазвенело, и вся комната как будто метнулась куда-то. Но выстрела не было, и послышался только слабый металлический щелчок курка.

Юрий, охваченный слабостью с головы до ног, медленно опустил руку с револьвером. Все в нем дрожало и ныло, голова кружилась, во рту мгновенно пересохло. Когда он клал револьвер, руки прыгали и несколько раз стукнули револьвером о стол.

«Хорош, – подумал он и, овладев собою, подошел к зеркалу и взглянул в его темную холодную поверхность. – Значит, я трус? Нет, – с гордостью промелькнуло в нем, – не трус! Все-таки я сделал это, и не виноват, что вышла осечка!»

Из темного зеркала на него смотрело такое же лицо, как и всегда, но Юрию оно показалось торжественно и сурово. Он с удовольствием, стараясь, однако, уверить себя, что не придаст этому акту самообладания никакого значения, показал себе язык и отошел.

– Не судьба, значит! – произнес он вслух, и слово это утешило и ободрило его.

«А что, если бы меня видели?» – с боязливым смущением подумал он в ту же секунду и невольно оглянулся.

Но все было тихо. За запертой дверью не чудилось ничего. Казалось, что за пределами комнаты ничего нет, и Юрий один живет и страдает в безграничной пустоте. Он потушил лампу и удивился, что в комнату сквозь щели ставень уже пробивается бледно-розовый свет утра.

Он лег спать, и во сне ему представилось, что кто-то тяжелый и громоздкий сел на него, вспыхивая зловещим красным светом.

«Это – черт!» – с ужасом пронеслось в его душе.

Юрий делал судорожные усилия, чтобы освободиться. Но Красный не уходил, не говорил, не смеялся, а только щелкал языком. Нельзя было разобрать, насмешливо или соблазнительно он щелкает, и это было мучительно.

XXIII

Мягко и любовно, дыша запахом трав и цветов, в открытое окно плыли сумерки.

Санин сидел за столом и при последнем свете дня читал уже много раз читанный им рассказ о том, как трагически одиноко умирал старый архиерей, окруженный людьми, поклонением и кадильным дымом, облаченный в золотые ризы, бриллиантовые кресты и всеобщее уважение.

В комнате было так же прохладно и чисто, как и на дворе, и легкое дыхание вечера свободно ходило по комнате, наполняя грудь, шевеля мягкие волосы Санина и лаская его сильные плечи, внимательно и серьезно сгорбившиеся над книгой.

Санин читал, думал, шевелил губами и был похож на большого маленького мальчика, углубившегося в книгу. И чем больше читал он, тем сильнее и глубже возникали в нем грустные мысли о том, сколько ужаса в человеческой жизни, как тупы и грубы люди и как он далек от них. И ему казалось, что если бы он знал этого архиерея, то это было бы хорошо, и жизнь старого архиерея не была бы такой одинокой.

Дверь в комнату отворилась, и кто-то вошел. Санин оглянулся.

– А! Здравствуй, – сказал он, отодвигая книгу. – Ну, что скажешь нового?

Новиков слабо пожал ему руку и усмехнулся бледной и печальной гримасой.

– Ничего. Все так же скверно, как и было! – ответил он и, махнув рукой, отошел к окну.

Оттуда, где сидел Санин, был виден только его рослый красивый силуэт, мягко обрисованный потухающим фоном зари. Санин долго и внимательно смотрел на него.

Когда в первый раз он привел смущенного и страдающего Новикова к жалкой и растерянной Лиде, совсем не похожей на ту красиво смелую и гордую девушку, какую она была еще недавно, они не сказали ни слова о том, что до дна проникало их души. И Санин понял, что они будут несчастны, когда скажут, но вдвое несчастнее, пока не говорят. Он почувствовал, что ясное и простое для него они могут найти только ощупью, пройдя сквозь страдание, и не тронул их, но тогда же увидел, что эти два человека находятся на замкнутом кругу и встреча их неизбежна.

«Ну да ладно, – подумал Санин, – пусть перестрадаются... от страдания станут они мягче и чище... Пусть!»

А теперь он почувствовал, что это время настало.

Новиков стоял перед окном и молча глядел в потухающее небо. Он был полон странным чувством, в котором тоска по невозвратимо утраченному тонко сливалась с дрожью нетерпеливого ожидания нового счастья. В эти печально-ласковые сумерки он ярче представлял себе Лиду робкой, несчастной, всеми униженной и обиженной, и ему казалось, что, если бы

хватило силы, он стал бы перед нею на колени, согрел бы ее холодные пальцы поцелуями и возродил бы ее к новой жизни своей все-простившей великой любовью. Все горело в нем жаждой этого подвига, умилением перед собой и любовной жалостью к Лиде, но не было сил пойти к ней.

Санин и это понял. Он медленно поднялся, тряхнул головой и сказал:

– А Лида в саду... Пойдем.

Тоскливо и счастливо, жалким больным чувством жались сердце Новикова. Легкая судорога пробежала по его лицу и исчезла. Видно было, как сильно дрожали его пальцы, крутившие усы.

– Ну что ж?.. Пойдем к ней? – повторил Санин, и голос у него был значителен и спокоен, как будто он приступал к важному, но понятному делу.

И по этому тону Новиков понял, что Санин видит все, в нем происходящее, почувствовал огромное облегчение и наивный детский испуг.

– Пойдем, пойдем... – мягко продолжал Санин, взял Новикова за плечи и толкнул к двери.

– Что ж... я... – пробормотал Новиков и вдруг почувствовал умиленную нежность и желание поцеловать Санина. Но он не посмел этого сделать и только посмотрел ему в лицо глубокими мокрыми глазами.

В саду было темно и пахло теплой росой. Зеленоватые просветы зари стояли между стволами, как готические окна.

Над бледными лужайками тонко курился первый туман. Казалось, кто-то тихий и невидимый ходит по пустынным дорожкам среди молчаливых деревьев, и тихо вздрагивают при его приближении засыпающие травы и цветы.

На берегу было светлее, и заря на поле неба стояла за рекой, светло змеившейся в темных лугах. Лида сидела тут, у самой воды, и ее тонкий поникший силуэт белел на траве, точно таинственная тень, тоскующая над водой.

То светлое и дерзкое настроение, которое овладело ею под спокойный голос брата, исчезло так же быстро, как и появилось. Опять черною четою пришли и стали подле стыд и страх и вселили в нее мысль, что она не имеет права не только на новое счастье, но и на самую жизнь.

Целыми днями, с книгой в руках, она сидела в саду, потому что не могла прямо и просто смотреть в глаза матери. Тысячи раз все в ней возмущалось, тысячи раз говорила она себе, что мать – ничто перед ее собственной жизнью, но каждый раз, когда мать подходила к ней, голос Лиды менялся, теряя свою звучность, а в глазах бегало что-то виноватое и робкое. А ее смущение, румянец, нетвердый голос и бегущий взгляд тревожили мать. Нудные допросы, тревоги и преследующие испытующие взгляды так измучили Лиду, что она стала прятаться.

Так сидела она и в этот вечер, тоскливо следя за тающей в черном горизонте зарей и думая свою тяжелую безысходную думу.

Она думала о том, что не понимает жизни. Что-то непостижимо громадное, спутанное, как спрут, липкое и могучее, вставало перед нею.

Ряд прочитанных книг, ряд великих и свободных идей прошли сквозь ее мозг, и она видела, что поступок ее был не только естествен, но даже хорош. Он не причинял никому зла, а ей и другому человеку дал наслаждение. И без этого наслаждения у нее не было бы молодости, и жизнь была бы уныла, как дерево осенью, когда облетят все листья. Мысль о том, что религия не осватила ее союза с женщиной, была ей смешна, и все устои этой мысли были давно источены и разрушены человеческой свободной мыслью. Выходило так, что она должна была бы радоваться, как радуется цветок, в солнечное утро опылившийся новою жизнью, а она страдала и чувствовала себя на дне пропасти, ниже всех людей, последнего из последних. И как ни звала она великие идеи и непоколебимые истины, перед завтрашним днем позора они таяли, как тает воск от огня. И вместо того чтобы встать ногою на шею людям, которых она презирала за тупость и ограниченность их, Лида думала только о том, чтобы спастись и обмануть их.

И когда она одиноко плакала, тая слезы от людей, и когда обманывала их притворным весельем, и когда погружалась в тупое отчаяние, Лида, как цветок к теплему лучу, тянулась только к Новикову. Мысль о том, что он спасет ее, казалась преступно подлой, порой вспыхивало возмущение,

что она может зависеть от его прощения и любви, но сильнее убеждений и сильнее протеста было сознание своего бессилия и любовь к жизни. И вместо того чтобы возмущаться людской глупостью, она трепетала, а вместо того чтобы свободно взглянуть в глаза Новикову, она робела перед ним, как раба. И в этой раздвоенной девушке было что-то жалкое и беспомощное, как в птице с подрезанными крыльями, которой уже не полететь никогда.

И в те минуты, когда муки ее становились невыносимы, Лида всегда вспоминала о брате, и душа ее переполнялась наивным удивлением; ей было ясно, что у брата нет ничего святого, что он смотрит на нее, на сестру, глазами самца, что он эгоистичен и безнравственен, но в то же время это был единственный человек, с которым ей было легко, с которым она, не стыдясь, могла говорить о самых сокровенных тайнах своей жизни. В его присутствии все казалось просто и ничтожно: она была беременна, да, но что ж из того? Она была в связи, да, но ей так нравилось! Ее будут презирать и унижать, – так что ж: перед нею жизнь, солнце и простор, а люди есть везде. Мать будет страдать, так вольно ж ей!.. Лида не видела жизни матери, когда та переживала свою молодость, и мать не будет следить за нею, когда умрет, случайно встретившись на дороге жизни и вместе пройдя часть пути, они не могут и не должны ложиться поперек дороги друг другу.

Лида видела, что ей самой никогда не стать такой свободной, что, думая так, она только подчиняется обаянию это-

го спокойного и твердого человека, но с тем большим удивлением и восхищенной нежностью смотрела она на него. И странные вольные мысли бродили у нее в душе.

«Если бы он был чужой, не брат...» – несмело и пугливо думала она, поскорее убивая эту стыдную, но влекущую мысль.

И опять обращалась мыслью к Новикову и, как раба, робко ждала и надеялась на его прощение и любовь.

Так завершался этот заколдованный круг, и Лида бессильно билась в нем, теряя последние силы и краски своей молодой яркой души.

Она услышала шаги и оглянулась.

Новиков и Санин молча подходили к ней, шагая прямо по высокой траве. Их лиц нельзя было рассмотреть в бледном сумраке вечера, но почему-то Лида сразу почувствовала, что страшная минута приближается. Было похоже, что жизнь оставила ее, так бледна и слаба стала она.

– Ну вот, – сказал Санин, – я привел к тебе Новикова, а что ему нужно – он сам тебе скажет... Посидите тут, а я пойду чай пить.

Он круто повернулся и пошел прочь, широко шагая через траву.

Несколько времени, постепенно сливаясь с мраком, еще белела его рубашка, потом исчезла за деревьями, и стало так тихо, что не верилось, что он ушел совсем, а не стоит в тени деревьев.

Новиков и Лида проводили его глазами и оба по этому движению поняли, что все сказано и надо только повторить вслух.

– Лидия Петровна, – тихо проговорил Новиков, и звук его голоса был так печален и трогательно искренен, что сердце Лиды нежно сжалось.

«А он тоже бедный, жалкий и хороший он...» – с грустной радостью подумала девушка.

– Я все знаю, Лидия Петровна... – продолжал Новиков, чувствуя, как растет в нем умиление перед своим поступком и жалость к ее скорбной робкой фигурке. – Но я вас люблю по-прежнему... может быть, и вы меня полюбите когда-нибудь... скажите, вы... хотите быть моей женой?

«Не надо много говорить ей об „этом“, – думал он, – пусть она даже не знает, какую я жертву приношу для нее...»

Лида молчала. Было так тихо, что слышались на реке быстрые всплески струек, набегающих на кусты лозняка.

– Оба мы несчастны, – вдруг неожиданно для самого себя из самой глубины души проговорил Новиков, – но, может быть, вдвоем нам будет легче жить!..

Теплые слезы благодарности и нежности навернулись на глаза Лиды. Она подняла лицо к нему и сказала:

– Да... может быть!

«Видит Бог, я буду хорошей женой и всегда буду любить и жалеть тебя!» – сказали ее глаза.

Новиков почувствовал этот взгляд, быстро и порывисто

опустился возле нее на колени и стал целовать ее дрожащую руку, сам весь дрожа от умиления и внезапно проснувшейся радостной страсти. И эта страсть так ярко и глубоко передалась Лиде, что разом исчезло больное жалкое чувство робости и стыда.

«Ну вот и кончено... И опять я буду счастлива... Милый, бедный!..» – плача счастливыми слезами, думала она, не отнимая руки и сама целуя мягкие, всегда нравившиеся ей волосы Новикова. Воспоминание о Зарудине ярко мелькнуло в ней, но сейчас же погасло.

Когда пришел Санин, решивший, что времени для объяснений прошло достаточно, Лида и Новиков держали друг друга за руки и что-то тихо и доверчиво рассказывали. Новиков говорил, что никогда не переставал ее любить, а Лида говорила, что любит его теперь. И это было правдой, потому что Лиде хотелось любви и счастья, она надеялась найти их в нем и любила свою надежду.

Им казалось, что они никогда не были так счастливы. Увидев Санина, они замолчали и глядели на него смущенными, радостными и доверчивыми глазами.

– Ну, понимаю, – важно сказал Санин, поглядев на них. – И слава Богу. Будьте только счастливы!

Он хотел еще что-то добавить, но чихнул на всю реку.

– Сыро... Не схватите насморка! – прибавил он, протирая глаза.

Лида счастливо засмеялась, и смех ее прозвучал над рекой

опять загадочно и красиво.

– Я уйду! – объявил Санин, помолчав.

– Куда? – спросил Новиков.

– А там пришли за мной Сварожич и этот офицер... поклонник Толстого... как его?.. Длинный такой немец!

– Фон Дейц! – беспричинно смеясь, подсказала Лида.

– Он самый. Пришли нас всех звать на какую-то сходку.

Только я сказал им, что вас дома нет.

– Зачем, – все, смеясь, спросила Лида, – может, и мы бы пошли?

– Сиди тут, – возразил Санин. – Я бы и сам сел, если бы было с кем!

И он опять ушел, на этот раз в самом деле. Вечер наступил, в темной текучей воде заколебались звезды.

XXIV

Вечер был темный и глухой. Над верхушками черных окаменелых деревьев тяжело клубились тучи и быстро, точно поспешая к невидимой цели, ползли от края и до края неба. В их зеленоватых просветах мелькали и скрывались бледные звезды. Вверху все было полно непрерывного зловещего движения, а внизу все притихло в напряженном ожидании.

И в этой тишине голоса спорящих людей казались чересчур резкими и крикливыми, точно визг маленьких раздраженных животных.

– Как бы то ни было, – неуклюже, как журавль, спотыкаясь длинными ногами, выкрикивал фон Дейц, – а христианство дало человечеству неизживаемое богатство, как единственное полное и понятное гуманитарное учение!

– Ну да... – упрямо дергая головой и сердито глядя ему в спину, возражал идущий сзади Юрий, – но в борьбе с животными инстинктами христианство оказалось так же бессильно, как и все дру...

– Как «оказалось»! – с возмущением вскрикнул фон Дейц. – Все будущее за христианством, и говорить о нем, как о чем-то конечном...

– У христианства нет будущего! – перебил Юрий, с беспричинной ненавистью всматриваясь в расплывающееся пятно офицерского кителя. – Если христианство не могло

победить человечество в эпоху самого острого своего развития и бессильно попало в руки кучки мерзавцев, как орудие наглого обмана, то теперь, когда уже даже самое слово «христианство» стало пресным, странно и смешно ждать какого-то чуда... История не прощает: что раз сошло со сцены, то назад не придет!..

Деревянный тротуар чуть белел под ногами; под деревьями иногда не было видно ни зги, и болезненно раздражала возможность стукнуться о тротуарный столбик, а голоса казались неестественными, потому что не видно было лиц.

– Христианство?... сошло со сцены! – вскрикнул фон Дейц, и в голосе его прозвучало преувеличенное изумление и негодование.

– Конечно, сошло... – упрямо продолжал Юрий. – Вы так поражаетесь, точно этого даже и допустить нельзя... Как сошел со сцены Моисеев закон, как умерли Будда и эллинские боги, так умер и Христос... Закон эволюции... Что вас так пугает в этом?... Ведь вы же не верите в божественность его учения?

– Конечно, нет! – обиженно фыркнул фон Дейц, отвечая не столько вопросу, сколько обидному тону Юрия.

– Так неужели же вы допускаете возможность создания человеком вечного закона?

«Идиот!» – думал он в эту минуту о фон Дейце, и непоколебимая, очень приятная уверенность в том, что этот человек бесконечно глупее его, Юрия, и что ему никогда не по-

нять того, что как Божий день ясно и просто для него самого, нелепо сплетались в голове Юрия с раздраженным желанием во что бы то ни стало совершенно убедить и переспорить офицера.

– Допустим, что это и так... – волнуясь и тоже уже озлобляясь, возражал длинный офицер. – Но христианство легло в основу будущего... оно не погибло, оно легло в почву, как всякое зерно, а свой плод даст...

– Я не о том говорю... – немного сбившись и оттого еще больше озлобляясь, ответил Юрий. – Я хотел сказать...

– Нет, позвольте... – боясь упустить верх, с торжеством перебил фон Дейц, опять оглядываясь и сбиваясь с тротуара. – Вы именно так сказали...

– Раз я говорю, что не так, то значит, не так... Странно! – с острой злобой от мысли, что глупый фон Дейц хоть на одну минуту может допустить, что он умнее, оборвал Юрий. – Я хотел сказать...

– Ну может быть... Простите, я не так понял! – со снисходительной усмешкой пожал узкими плечами фон Дейц, во все не скрывая, что поймал Юрия и что бы тот теперь ни говорил, все это будет уже запоздалыми отступлениями.

Юрий понял его и почувствовал такую злобу и оскорбление, что у него даже горло перехватило.

– Я вовсе не отрицаю огромной роли христианства...

– Тогда вы противоречите себе! – с новым торжествующим восторгом захлебнулся фон Дейц, радуясь, что Юрий

несравнимо глупее его и, видимо, не может даже и приблизительно понять того, что так стройно и красиво лежит в голове самого фон Дейца.

– Это вам кажется, что я противоречу, а на самом деле... напротив, я... моя мысль совершенно логична, и я не виноват, что вы... не желаете меня понять, – сбивчиво и страдая, совсем уже резко прокричал Юрий. – Я говорю и говорил, что христианство пережеванный материал и что в нем, как таковом, уже нельзя и незачем ждать спасения.

– Ну да... не отрицаете ли вы благотворность влияния христианства... то есть, того, что оно прямо ложится в фундамент... – торопливо лоя ускользящую на этом повороте разговора мысль, тоже повысил голос фон Дейц.

– Не отрицаю...

– А я отрицаю! – смешливо отозвался сзади Санин, все время шедший молча. Голос его был весел и спокоен и странно врезался в бурлящий, режущий тон спора.

Юрий замолчал. Его обидел этот спокойный голос и явная добродушная насмешка, в нем звучавшая, но он не нашелся, чем ответить. Ему почему-то всегда было неловко и как-то неудобно спорить с Саниным, точно все те слова, которыми он привык пользоваться, были совсем не теми, которые нужны для Санина. И всегда у Юрия было такое чувство, точно он брался повалить стену, стоя на скользком льду.

Но фон Дейц, споткнувшись и резко зазвенев шпорами, закричал высоким и злым голосом:

– Почему же это, позвольте вас спросить?

– Да так, – с неуловимым выражением ответил Санин.

– Как так!.. Если говорить такие вещи, так их надо доказать!..

– А зачем мне доказывать?..

– То есть как зачем!..

– Ничего мне не надо доказывать. Это мое убеждение, а вас убеждать у меня нет ни малейшего желания, да и ни к чему.

– Если так рассуждать, – сдержанно проговорил Юрий, – то, пожалуй, надо похерить всю литературу?

– Нет, зачем же! – отозвался Санин. – Литература – дело большое и интересное. Литература!.. Литература истинная, как я ее понимаю, не полемизирует со случайно подвернувшимся лоботрясом, которому делать нечего и хочется убедить всех, что он очень умен... Она перестраивает всю жизнь, проходит в самую кровь человечества, из поколения в поколение. Если бы уничтожить литературу, жизнь потеряла бы много красок, полиняла бы...

Фон Дейц остановился, пропустил Юрия вперед и, поравнявшись с Саниным, спросил:

– Нет, пожалуйста... мне чрезвычайно интересна та мысль, которую вы затронули...

– Мысль у меня очень простая, – засмеялся Санин, – и если вам так хочется, я могу ее изложить. По-моему, христианство сыграло в жизни печальную роль... В то время, когда

человечеству становилось уже совершенно неспособно и уже немногого не хватало, чтобы все униженные и обездоленные взяли за ум и одним ударом опрокинули невозможно тяжелый и несправедливый порядок вещей, просто уничтожив все, что жило чужою кровью, как раз в это время явилось тихое, смиренномудрое, многообещающее христианство. Оно осудило борьбу, обещало внутреннее блаженство, навяло сладкий сон, дало религию непротивления злу насилием и, выражаясь коротко, выпустило весь пар!.. Те огромные характеры, которые вековой обидой воспитались для борьбы, пошли, идиоты идиотами, на арену и с мужеством, достойным бесконечно лучшего применения, чуть не собственными, руками содрали с себя кожу!.. Их врагам, конечно, ничего лучшего и не надо было!.. А теперь нужны опять столетия, нужно бесконечное унижение и угнетение, чтобы вновь раскачать возмущение... На человеческую личность, слишком неукротимую, чтобы стать рабом, надело христианство покаянную хламиду и скрыло под ней все краски свободного человеческого духа... Оно обмануло сильных, которые могли бы сейчас, сегодня же взять в руки свое счастье, и центр тяжести их жизни перенесло в будущее, в мечту о несуществующем, о том, чего из них не увидит никто... И вся красота жизни исчезла: погибла смелость, погибла свободная страсть, погибла красота, остался только долг и бессмысленная мечта о грядущем золотом веке... золотом для других, конечно!.. Да, христианство сыграло скверную роль, и имя

Христа еще долго будет проклятием на человечестве!..

Фон Дейц внезапно остановился, и в темноте было видно, как поднялись и опустились его длинные руки.

– Ну знаете! – странным голосом испуга и недоумения проговорил он.

И в душе Юрия возникло сложное чувство: как будто в словах Санина не было ничего особенного, и как Санин, так и сам Юрий могли говорить все, что хотели и думали; но тень огромного страха перед Неведомым, страха, о существовании которого в своей душе Юрий забыл и не хотел думать, легла на остановившуюся мысль. Эту тайную боязнь Юрий почувствовал и оскорбился ею.

– А вы представляете ли себе ту кровавую мессу, которая разразилась бы над человечеством, если бы христианство не предупредило ее? – спросил он с чувством странной нервной злобы к Санину.

– Э! – махнул рукой Санин. – Под покровом христианства прежде всего облились кровью арены мученичества, а потом людей убивали, сажали в тюрьму, в желтые дома... день за днем крови льется столько, что никакой мировой переворот не в состоянии сделать больше!.. И хуже всего то, что всякое улучшение своей жизни люди добывают по-прежнему кровью, революцией, анархией, а в основу своей жизни ставят все-таки гуманность и любовь к ближнему... Получается глупая трагедия, фальшь и ложь... ни рыба ни мясо!.. Я предпочел бы мировую катастрофу сейчас, чем тусклую и

бессмысленно гиблую жизнь еще на две тысячи лет вперед!

Юрий помолчал. Странно было то, что мысль его остановилась не на смысле слова, а на самой личности Санина. Чрезвычайно обидна и даже вовсе не переносна показалась ему очевидная уверенность Санина.

– Скажите, пожалуйста, – вдруг проговорил он, сам не ожидая того и поддаваясь острому желанию уязвить Санина, – почему вы всегда говорите таким тоном, точно поучаете малых ребят?..

Фон Дейц удивился, сконфузился и что-то пробормотал, примирительно позвенев шпорами.

– Вот тебе и на! – досадливо произнес Санин. – Чего ж вы обозлились?

Юрий чувствовал, что говорит некстати, что надо остановиться, но глубоко засевшее раздражение и обнажившееся до самых нерв самолюбие подхватили его.

– Это, право, неприятный тон! – упрямым и угрожающим тоном ответил он.

– Это мой обычный тон, – со странным выражением досады и желания успокоить сказал Санин.

– Он не всегда уместен, – продолжал Юрий, невольно повышая голос и делая его крикливым. – Я не знаю, откуда у вас этот апломб...

– Вероятно, от сознания, что я умнее вас, – уже спокойнее ответил Санин.

Весь вздрогнув от головы до ног, как натянувшаяся стру-

на, Юрий мгновенно остановился.

– Послушайте! – зазвенел его голос, и хотя не видно было лица, почувствовалось, что он побледнел.

– Не сердитесь, – ласково остановил Санин. – Я не хочу обижать вас, я только выразил свое искреннее мнение... Такого же мнения вы обо мне, фон Дейце, о нас обоих и так далее... Это естественно...

Голос Санина был так искренен и ласков, что как-то странно было продолжать кричать, и Юрий на минуту замолчал. Фон Дейц, очевидно страдая за него, молча звенел шпорами и затрудненно дышал.

– Но я не говорю вам этого... – пробормотал Юрий.

– И напрасно... Я вот слушал ваш спор, и в каждом слове у вас и явно, и обидно звучало то же самое... Дело только в форме. Я говорю то, что думаю, а вы говорите не то, что думаете... И это совсем не интересно. Если бы мы были искреннее, было бы гораздо занимательнее!

Фон Дейц вдруг визгливо засмеялся.

– Это оригинально! – захлебываясь от восторга, проговорил он.

Юрий молчал. Злоба его улеглась, и стало даже как будто весело, но было неприятно, что он все-таки уступил и не хотел показать этого.

– Только это было бы чересчур просто! – переставая смеяться, важно заявил фон Дейц.

– А вам непременно хочется, чтобы было запутанно и

сложно? – спросил Санин.

Фон Дейц пожал плечами и задумался.

XXV

Бульвар миновали, и в пустых, оголенных улицах окраины стало светлее. Сухие доски тротуара явственно забелели на черной земле, а вверху открылось до странности широкое, клубящееся тучами и сверкающее редкими звездами бледное небо.

– Сюда, – сказал фон Дейц и, отворив низенькую калитку, провалился куда-то вниз.

Сейчас же где-то залаяла старая охрипшая собака, и кто-то закричал с крыльца:

– Султан, тубо!

Открылся огромный запустелый двор. В конце его чернела слепая громада паровой мельницы, с тонкой черной трубой, печально и одиноко устремившейся к далеким тучам, а вокруг шли черные амбары, и нигде не было деревьев, кроме палисадника под окнами флигеля. Там было открыто окно, и полоса яркого света среди тусклой тьмы пронизывала прозрачно-зеленые листья.

– Унылое место! – сказал Санин.

– А мельница давно не работает? – спросил Юрий.

– О да... давно стала, – ответил фон Дейц и, мимоходом заглянув в освещенное окно, сказал необычайно довольным голосом: – Ого!.. Народу набралось порядочно...

Юрий и Санин тоже заглянули через палисадник. В свет-

лом веселом четырехугольнике двигались черные головы и плавал синий табачный дым. Кто-то высунулся из окна в темноту, и темный, широкоплечий, с курчавой головой, окруженный сиянием волос, заслонил все.

– Кто там? – громко спросил он.

– Свои, – ответил Юрий.

Они поднялись на крыльцо и наткнулись на человека, сейчас же начавшего дружелюбно и поспешно пожимать им руки.

– А я уже думал, вы не придете! – радостно заговорил он с сильным еврейским акцентом.

– Соловейчик. Санин... – сказал фон Дейц, знакомя их и дружелюбно пожимая холодную и чересчур трепетную ладонь невидимого Соловейчика.

Соловейчик смущенно и робко хихикал.

– Очень рад... Я так много о вас слышал и, знаете, это очень... – бестолково говорил он, пятясь задом и не переставая пожимать руку Санина.

Спиной он толкнул Юрия и наступил на ногу фон Дейцу.

– Простите меня, Яков Адольфович! – вскрикнул он, покидая Санина и цепляясь за фон Дейца.

И оттого они все запутались в темных сенях так, что долго никто не мог найти ни дверей, ни друг друга.

В передней, на гвоздях, вбитых нарочно для этого вечера аккуратным Соловейчиком, висели шляпы и фуражки, а все окно было уставлено плотной массой темно-зеленых пивных

бутылок. И передняя уже была полна табачного дыму.

На свету Соловейчик оказался молоденьким евреем, черноглазым, курчавым, с красивым худым лицом и порченными зубками, ежеминутно осклабляющимися в угодливо робкой улыбке.

Вошедших встретили хором оживленных и ярких голов.

Юрий прежде всего увидел Карсавину, сидевшую на подоконнике, и все сразу приняло для него особый радостный вид, точно не сходка в душной накуренной комнате, а весенняя пирушка на поляне в лесу.

Карсавина улыбалась ему радостно и смущенно.

– Ну, господа... теперь, кажется, все в сборе? – стараясь говорить громко и весело, но болезненно и неверно напрягая слабый голос, закричал Соловейчик, странно жестикулируя руками. – Извините, Юрий Николаевич, я вас, кажется, все толкаю... – весь изогнувшись и осклабляя зубы, перебил он сам себя.

– Ничего, – добродушно придержал его за руку Юрий.

– Не все, да черт с ними! – отозвался полный и красивый студент, и по его пухлому, но сильному купеческому голосу сразу стало слышно уверенного и привычного человека.

Соловейчик прыгнул к столу и вдруг зазвонил в маленький колокольчик, радостно и хитро улыбаясь своей выдумке, которую он готовил еще с утра.

– Э, оставьте! – рассердился пухлый студент. – Вечно

вы со всякими глупостями!.. Совершенно излишняя торжественность!

– Я ничего, я так... – смущенно захихикал Соловейчик и сунул колокольчик в карман.

– Я думаю, стол можно поставить на середину комнаты, – сказал полный студент.

– Сейчас, я... – опять заторопился Соловейчик и с бесильным напряжением ухватился за край стола.

– Лампу... лампу не уроните! – крикнула Дубова.

– Ах, да не суйтесь же вы куда не просят! – с досадой стукнул кулаком по колену полный студент.

– Давайте я вам помогу, – предложил Санин.

– Пожалуйста, – так торопливо выговорил Соловейчик, что у него вышло «поджалушта!».

Санин выдвинул стол на середину комнаты, и пока он это делал, все почему-то внимательно смотрели на его спину и плечи, легко ходившие под тонкой рубахой.

– Ну-с, Гожиенко, вам, как инициатору, следует сказать вступительную речь, – сказала бледная бесцветная Дубова, и по ее умным некрасивым глазам трудно было понять, серьезно она говорит или подсмеивается над полным студентом.

– Господа, – возвышая голос, заговорил Гожиенко сдобным, но приятным баритоном, – уже все, конечно, знают, для чего собрались, и потому можно обойтись без вступлений...

– Я-то, собственно, не знаю, зачем собрался, но пусть так, – улыбаясь, отозвался Санин. – Говорили, тут пиво бу-

дет.

Гожиенко небрежно взглянул на него через лампу и продолжал:

– Цель нашего кружка: путем взаимного чтения, обсуждения прочитанного и самостоятельного реферирования...

– Как это «взаимного» чтения? – спросила Дубова, и опять нельзя было понять, серьезно или насмехаясь она спрашивает.

Полный Гожиенко чуть-чуть покраснел.

– Я хотел сказать «совместного» чтения... Так вот, цель нашего кружка, таким образом, попутно способствуя развитию своих членов, выяснить индивидуальные взгляды и способствовать возникновению в нашем городе партийного кружка с эсдековской программой...

– Ага-а! – протянул Иванов и комически почесал затылок.

– Но это впоследствии... сначала мы не будем ставить себе таких широких...

– Или узких, – подсказала своим странным тоном Дубова.

– ...задач, – притворяясь, что не слышит, продолжал полный Гожиенко, – а начнем с выработки программы чтений, чему я и предлагаю посвятить сегодняшнее собрание.

– Соловейчик, а ваши рабочие придут? – спросила Дубова.

– А как же! – подскочил к ней Соловейчик, сорвавшись с места, точно его укусили. – За ними же пошли!

– Соловейчик, не визжите! – перебил Гожиенко.

– Да они уже идут, – отозвался Шафров серьезно и внимательно, даже со священнодействующим выражением слышавший, что говорит Гожиенко.

За окном послышался скрип калитки и опять хриплый лай собаки.

– Идут, – выкрикнул Соловейчик с необъяснимым восторгом и порывисто выскочил из комнаты.

– Су-лтан... ту-бо-о! – пронзительно закричал он на крыльце.

Послышались тяжелые шаги, голоса и кашель. Вошел низенький, очень похожий на Гожиенко, но чернявый и некрасивый студент-технолог, а за ним смущенно и неловко прошли два человека с черными руками в пиджаках поверх грязных красных рубашек. Один был очень высокий и очень худой, с безусым бескровным лицом, на котором многолетнее родовое недоедание, вечная забота и вечная злоба, затаенная в глубине сдавленной души, положили мрачную и бледную печать. Другой выглядел силачом, был широкоплеч, кудряв и красив и смотрел так, точно мужицкий парень, впервые попавший в городскую, чужую и еще смешную ему обстановку. За ними боком проскользнул Соловейчик.

– Господа, вот... – начал он торжественно.

– Да ну вас, – по обыкновению оборвал его Гожиенко. – Здравствуйте, товарищи.

– Писцов и Кудрявый, – представил их студент-технолог. И всем показалось странным, что Писцовым оказался боро-

датый и красивый силач, а Кудрявым – худой и бледный рабочий.

Они, тяжело и осторожно ступая, обошли всю комнату, и, не сгибая пальцев, встряхивали руки, которые большинство протягивало им как-то особенно предупредительно. Писцов смущенно улыбался, а Кудрявый делал длинной и тонкой шеей такие движения, точно его душил ворот рубахи. Потом они уселись рядом у окна, возле Карсавиной, сидевшей на подоконнике.

– А отчего Николаев не пришел? – недовольно спросил Гожиенко.

– Николаев не может-с, – предупредительно ответил Писцов.

– Пьян Николаев вдрызг, – сумрачно и отрывисто, быстро двигая шеей, перебил Кудрявый.

– А... – неловко кивнул головой Гожиенко.

Его неловкость почему-то показалась противной Юрию Сварожичу, и сразу он почувствовал в полном студенте своего личного врага.

– Благоую часть избрал, – заметил Иванов. Собака залаяла на дворе.

– Еще кто-то, – сказала Дубова.

– Уж не полиция ли? – притворно небрежно заметил Гожиенко.

– А вам ужасно хочется, чтобы это была полиция, – сейчас же отозвалась Дубова.

Санин посмотрел в ее умные глаза на лице некрасивом, но все-таки мило окаймленном светлой косой, спущенной через плечо, и подумал: «А славная девушка!»

Соловейчик хотел метнуться, но вовремя испугался и притворился, будто он хотел взять папиросу со стола.

Гожиенко заметил его движение и, не отвечая Дубовой, сказал:

– Экой вы надоедливый, Соловейчик!

Соловейчик густо покраснел и заморгал глазами, на мгновение ставшими грустными и задумчивыми, точно в его робкой и затуманенной голове наконец мелькнула мысль о том, что его желание всем услужить и помочь вовсе не заслуживает таких резких обрываний.

– Да оставьте вы его в покое! – с досадой сказала Дубова.

В комнату быстро и шумно вошел Новиков.

– Ну вот и я! – сказал он, радостно улыбаясь.

– Вижу, – ответил ему Санин.

Новиков конфузливо улыбнулся и, пожимая руку, торопливо и точно оправдываясь, шепнул ему:

– У Лидии Петровны гости.

– А!..

– Ну что ж, мы так и будем разговоры разговаривать? – сумрачно спросил технолог.

– Начнем, что ли...

– А разве еще не начинали? – обрадованно спросил Новиков, пожимая руки рабочим, которые торопливо вставали

ему навстречу.

Им было неловко, что доктор, который в больнице на приеме обращался с ними свысока, подает им руку, как товарищ.

– Да, с вами начнешь! – сквозь зубы неприятно проговорил Гожиенко.

– Итак, господа, нам всем, конечно, хотелось бы расширить свое мирозерцание, и так как мы находим, что лучший способ для самообразования и саморазвития есть систематическое чтение сообща и обмен мнений о прочитанном, то мы и решили основать небольшой кружок...

– Тэк-с, – вздохнул Писцов, весело оглядывая всех блестящими черными глазами.

– Вопрос теперь в том: что именно читать?.. Может быть, кто-нибудь предложит приблизительную программу?

Шафров поправил очки и медленно встал, держа в руках какую-то тетрадку.

– Я думаю, – начал он сухим и скучным голосом, – что наши чтения необходимо разделить на две части. Несомненно, что всякое развитие складывается из двух элементов: изучения жизни в ее эволюционном происхождении и изучения жизни как таковой...

– Шафров говорит поскладнее, – отозвалась Дубова.

– Первое достигается путем чтения книг научно-исторического характера, а второе – путем чтения художественной литературы, которая вводит нас внутрь жизни...

– Если мы будем говорить таким образом, то все заснем, –

не унималась Дубова, и ласковая насмешка веселым огоньком загорелась у нее в глазах.

– Я стараюсь говорить так, чтобы всем было понятно... – возразил Шафров кротко.

– Ну, Бог с вами... говорите, как умеете... – махнула рукой Дубова.

Карсавина тоже ласково стала смеяться над Шафровым и от смеха закидывала назад голову так, что показывала полную белую шею. Смех у нее был звучный и контральный.

– Я составил программу, но читать ее, может быть, скучно, – взглядывая на Дубову, заторопился Шафров, – а потому предложу только для начала и «Происхождение семьи», и параллельно Дарвина, а из беллетристики – Толстого...

– Конечно, Толстого! – самодовольно согласился длинный фон Дейц, закуривая папиросу.

Шафров почему-то подождал, пока папироска задымилась, и методично продолжал:

– Чехова, Ибсена, Кнута Гамсуна...

– Да ведь мы уже все это читали! – удивилась Карсавина. Юрий с влюбленным восхищением прислушался к ее полному голосу и сказал:

– Конечно!.. Шафров забывается, что он не на воскресных чтениях, и притом, что за странное смешение имен: Толстой и Кнут Гамсун...

Шафров спокойно и многословно привел несколько доводов в защиту своей программы, но никто не понял, что он

хочет сказать.

– Нет, – возразил Юрий громко и решительно, чувствуя на себе особенный взгляд Карсавиной и радуясь ему, – я не согласен с вами...

И он начал излагать свой взгляд и чем дальше излагал, тем более и более напрягался, чтобы заслужить одобрение Карсавиной, чувствовал, что это ему удастся, и безжалостно бил Шафрова даже в тех пунктах, в которых был не прочь с ним согласиться.

Ему начал возражать пухлый Гожиенко. Он считал себя образованнее, умнее и красноречивее всех и, устраивая этот кружок, больше всего желал сыграть в нем первую роль. Успех Юрия неприятно задел его и понудил выступить. Мнения Юрия не были раньше ему известны, и потому он не мог спорить с ним во всем объеме, а только подхватывал слабые места и раздраженно упирал на них.

Завязался длинный и, очевидно, нескончаемый спор. Заговорили технолог, Иванов, Новиков, и скоро в табачном дыму мелькали уже раздраженные лица, и слова перепутывались в запутанный и бесформенный хаос, в котором почти ничего нельзя было разобрать.

Дубова задумалась и молча смотрела на огонь лампы, а Карсавина, тоже почти не слушая, отворила свое окно в палисадник и, скрестив полные руки на груди, оперевшись затылком на косяк, мечтательно засмотрелась во тьму ночи.

Сначала она ничего не видела, а потом из черной тьмы

выступили темные деревья, освещенная ограда палисадника, а за нею смутное колеблющееся пятно света, через дорожку протянувшееся по траве. Мягкий упругий ветер охватывал прохладой ее плечо и руку и чуть-чуть шевелил отдельные волоски на виске. Карсавина подняла голову и в медленно светлеющем мраке слабо различила непрерывное, странно напряженное движение темных туч. Она задумалась о Юрии и своей любви, и мысли счастливо грустные и грустно счастливые, волнуя и лаская, наполнили ее молодую женскую голову. Так было хорошо сидеть здесь, всем телом отдаваясь холодному мраку и всем сердцем прислушиваясь к волнуемому мужскому голосу, особенно, точно он был громче всех, звучащему среди общего шума.

А в комнате стоял уже сплошной крик, и все яснее и яснее вырисовывалось, что каждый считал себя умнее всех и хотел развивать других. Было в этом что-то тяжелое и неприятное, озлоблявшее самых мирных.

– Да если уж так говорить, – упрямо блестя глазами и боясь уступить при Карсавиной, которая слушала только один его голос без слов, напрягался Юрий, – то надо вернуться к первоисточнику идей...

– Что ж тогда читать, по-вашему? – неприязненно и насмешливо проговорил Гожиенко.

– Что... Конфуция, Евангелие, Екклезиаст...

– Псалтырь и Житие! – с насмешкой вставил технолог. Гожиенко злорадно засмеялся, не вспоминая, что никогда не

читал ни одной из этих книг.

– Ну что ж это! – разочарованно протянул Шафров.

– Как в церкви! – хихикнул Писцов. Юрий бешено покраснел.

– Я не шучу!.. Если вы хотите быть логичными...

– А что же вы говорили о Христе! – торжествующе перебил его фон Дейц.

– Что я говорил?.. Разучиться жизни, вырабатывать себе определенное мирозерцание, которое целиком заключается в отношении человека к другому человеку и самому себе, то не лучше ли всего остановиться на титанической работе тех людей, которые, представляя из себя лучшие образцы человеческого рода, в собственной жизни прежде всего пытаюсь приложить наивозможнейшие и самые сложные и самые простые отношения к человечеству...

– Я с вами не согласен! – перебил Гожиенко.

– А я согласен! – горячо перебил студента Новиков.

И опять начался бестолковый и пестрый крик, в котором уже нельзя было найти ни конца, ни начала мнений.

Соловейчик, сразу, как только заговорили, притихший, сидел в углу и слушал. Сначала на лице его было полное и проникновенное, немного детское внимание, но потом острая черточка недоумения и страдания стала вырисовываться в уголках рта и глаз.

Санин молчал, пил пиво и курил. На его лице было выражение скуки и досады. А когда в пестром крике слышались

лись уже резкие нотки ссоры, он встал, потушил папиросу и сказал:

– Знаете что... это выходит скучная история!

– И прескучная! – отозвалась Дубова.

– Суета сует и томление духа! – сказал Иванов таким голосом, точно он все время об этом думал и только ждал случая высказать.

– Это почему же? – зло спросил черноватый технолог. Санин не обратил на него внимания и, поворачиваясь к Юрию, сказал:

– Неужели вы думаете серьезно, что по каким бы то ни было книгам можно выработать себе какое-то миросозерцание?

– Конечно, – удивленно посмотрел на него Юрий.

– Напрасно, – возразил Санин, – если бы это было так, то можно было бы все человечество преобразовать по одному типу, давая ему читать книги только одного направления... Миросозерцание дает сама жизнь, во всем ее объеме, в котором литература и самая мысль человеческая – только ничтожная частица. Миросозерцание не теория жизни, а только настроение отдельной человеческой личности, и притом до тех пор изменяющееся, пока у человека еще жива душа... А следовательно, и вообще не может быть того определенно-го миросозерцания, о котором вы так хлопчете...

– Как не может! – сердито воскликнул Юрий. Опять на лице Санина выразилась скука.

– Конечно, нет... Если бы возможно было мирозерцание, как законченная теория, то мысль человеческая вовсе остановилась бы... Но этого нет: каждый миг жизни дает свое новое слово... и это слово надо услышать и понять, не ставя себе заранее меры и предела.

– А впрочем, что об этом говорить, – перебил он сам себя, – думайте, как хотите... Я только спрошу вас еще: почему вы, прочитав сотни книг, от Екклезиаста до Маркса, не составили себе определенного мирозерцания?

– Почему же не составил? – с острой обидчивостью возразил Юрий, мрачно блестя угрожающими темными глазами. – У меня оно есть... Оно, может быть, ошибочно, но оно есть!

– Так что же еще вы собираетесь выработать? Писцов хихикнул.

– Ты... – с презрением буркнул ему Кудрявый, дергая шей. «Какой он умный!» – с наивным восхищением подумала Карсавина о Санине.

Она смотрела на него и Сварожича, и во всем теле ее было стыдливое и радостное, непонятное ей чувство: точно они спорили не сами по себе, а только для нее, чтобы овладеть ею.

– И выходит так, – сказал Санин, – что вам не нужно то, для чего вы собрались. Я понимаю и вижу это ясно, что все здесь просто хотят заставить других принять их взгляды и больше всего боятся, чтобы их не разубедили. Откровенно говоря, это скучно.

– Позвольте! – сильно напрягая пухлый голос, возразил Гожиенко.

– Нет, – сказал Санин с неудовольствием, – у вас вот мирозерцание самое прекрасное, и книг вы прочли массу, это сразу видно, а вы озлобляетесь за то, что не все так думают, как вы, и, кроме того, обижаете Соловейчика, который вам ровно ничего дурного не сделал...

Гожиенко удивленно замолчал и смотрел на Санина так, точно тот сказал что-то совершенно необыкновенное.

– Юрий Николаевич, – весело сказал Санин, – вы на меня не сердитесь, что я несколько крутовато вам возражал. Я вижу, что у вас в душе действительный разлад...

– Какой разлад? – спросил Юрий, краснея и не зная, обидеться ему или нет. И как дорогой сюда, так и в эту минуту ласковый и спокойный голос Санина незаметно тронул его.

– Сами вы знаете, – ответил Санин, улыбаясь. – А на эту детскую затею надо плюнуть, а то уж очень тяжело выходит.

– Послушайте, – весь красный, заговорил Гожиенко, – вы себе позволяете чересчур много!

– Не больше, чем вы...

– Как?

– Подумайте, – весело сказал Санин, – в том, что вы делаете и говорите, гораздо больше грубого и неприятного, чем в том, что говорю я...

– Я вас не понимаю! – озлобленно крикнул Гожиенко.

– Ну, не я в этом виноват!

– Что?

Санин, не отвечая, взял шапку и сказал:

– Я ухожу... Это становится совсем скучно!

– Благое дело! Да и пива больше нет! – согласился Иванов и пошел в переднюю.

– Да уж, видно, у нас ничего не выйдет, – сказала Дубова.

– Проводите меня, Юрий Николаевич, – позвала Карсавина. – До свиданья, – сказала она Санину.

На мгновение их глаза встретились, и эта встреча почему-то и испугала, и была приятна Карсавиной.

– Увы! – говорила Дубова, уходя. – Кружок завял, не успев расцвести!

– А почему так? – грустно и растерянно спросил вдруг Соловейчик, столбом появляясь у всех на дороге.

Только теперь о нем вспомнили, и многих поразило странное потерянное выражение его лица.

– Послушайте, Соловейчик, – задумчиво сказал Санин, – я к вам приду как-нибудь поговорить.

– Поджалушта, – поспешно и обрадованно опять изогнулся Соловейчик.

На дворе, после светлой комнаты, было так темно, что не видно было стоящих рядом, и слышались только их громкие голоса.

Рабочие пошли отдельно от других, и, когда отошли далеко в темноту, Писцов засмеялся и сказал:

– Так-то вот... всегда у них так: соберутся дело делать, а

каждый к себе тянет!.. Только этот здоровый мне понравился!

– Много ты понимаешь, когда образованные люди промеж себя разговор имеют... – дергая шей, точно его душило, возразил Кудрявый, и голос его был туп и озлоблен.

Писцов самоуверенно и насмешливо свистнул.

XXVI

Соловейчик долго и тихо стоял на крыльце, смотрел в темное беззвездное небо и потирал худые пальцы.

За черными амбарами, гудя по железу крыш, ветер гнул вершины деревьев, толпившихся как призраки, аверху, охваченные непоколебимо могучим движением, быстро ползли тучи. Их темные громады молча вставали на горизонте, громоздясь, поднимались на недосыгаемую высоту и тяжелыми массами валились в бездну нового горизонта. Казалось, за краем черной земли нетерпеливо ждут их необозримые полки и один за другим, с развернутыми темными знаменами, грозно идут на неведомый бой. И по временам с беспокойным ветром доносился гул и грохот отдаленной битвы.

Соловейчик с детским страхом смотрел вверх и никогда так ясно, как в эту ночь, не чувствовал, какой он маленький, шупленький, как бы вовсе не существующий, среди бесконечно громадного, клубящегося хаоса.

– О, Бог, Бог! – вздохнул Соловейчик.

Перед лицом неба и ночи он был не тем, чем был на глазах людей. Куда-то исчезла тревожная угодливость искривленных движений, гнилые зубки, похожие на заискивающий оскал маленькой собачонки, скрылись под тонкими губами еврейского юноши, и его черные глаза смотрели печально и

серьезно.

Он медленно прошел в комнаты, потушил лишнюю лампу, с неловким усилием поставил на место стол и аккуратно расставил стулья. По комнате волнами ходил жидкий табачный дым, на полу было много сору, растоптанных окурков папирос и обгорелых спичек. Соловейчик немедленно принес метлу и подмел пол, как всегда со странною задумчивой любовью стараясь сделать красивее и изящнее место, где жил. Потом достал из чулана старое ведро с помоями, накрошил туда хлеба и, перегибаясь всем телом, семеня ногами и размахивая рукой, пошел через темный двор.

Чтобы было светлее, он поставил на окно лампу, но во дворе все-таки было пусто и жутко, и Соловейчик был рад, когда добежал до конуры Султана.

Невидимый в темноте, мохнатый, распространяющий тепло Султан, кряхтя, вылез ему навстречу и печально и дико загремел железною цепью.

– А... Султан, кси! – подбадривая себя собственным громким голосом, вскричал Соловейчик. Султан впотьмах тыкался ему в руку холодной мокрой мордой.

– На, на... – сказал Соловейчик, подставляя ведро. Султан громко зачавкал и захлопал в ведерке, а Соловейчик стоял над ним и грустно улыбался в темноту.

– И что же я могу? – думал он. – Разве я могу заставить людей думать не так, как они хотят?.. Я сам думал, что мне скажут, как надо жить и как думать!.. Бог не дал мне голоса

пророка!.. Так что же я могу сделать?

Султан дружелюбно заворчал.

– Ешь себе, ешь... на! – сказал Соловейчик. – Я бы тебя спустил с цепи немножечко погулять, но у меня нет ключа, а я слабый!

– Какие все прекрасные, умные люди... и они много знают и имеют учение Христа, а... Или, может быть, я сам виноват: надо было сказать одно слово, а я не умел сказать такого слова!

Далеко, за городом, кто-то протяжно и тоскливо засвистал. Султан поднял голову и прислушался. Слышно было, как крупные капли звучно падали с его морды в ведро.

– А, ешь, ешь себе... то поезд кричит! – сказал Соловейчик, угадывая его движение.

Султан тяжело вздохнул.

– И будут ли когда-нибудь люди жить так... или они совсем не могут, – громко заговорил Соловейчик, грустно пожимая плечами.

И ему представилось во мраке бесконечное, как вечность, море людей, выходящих из тьмы и уходящих во тьму. Ряд веков без начала и конца, и цепь страданий без просвета, без смысла и окончания. Там, вверху, где Бог, там вечное молчание.

Султан забренчал пустым ведром, перекинул его и со слабым звоном цепи замахал хвостом.

– А, съел?.. Ну...

Соловейчик погладил жесткую клочковатую спину Султана, на минуту почувствовал под рукой живое, ласково изгибающееся тело и пошел к дому.

Где-то позади Султан гремел цепью; на дворе было как будто светлее, но оттого только еще чернее и страшнее казалось огромное черное здание мельницы, с ее вытянувшейся к небу трубой и узкими, похожими на гробы, амбарами. Длинная полоса света тянулась из окна через палисадник, и в ней виднелись неподвижные таинственные головки прекрасных и слабых цветов, пугливо замерших под буйным черным небом, зловеще развертывающих свои нескончаемые темные знамена.

Пронзенный тоскою, страхом, одиночеством и чувством невознаградимой потери, Соловейчик пришел в комнату, сел у стола и стал плакать.

XXVII

Распущенное человеческое тело, как острое обнаженного нерва, до боли обточенное почти насильственными наслаждениями, мучительно отзывалось на самое слово «женщина». Неизменно голая, неизменно возможная, она стояла перед Волошиным во все мгновения его жизни, и каждое женское платье, обтянутое на гибком, кругло полном теле самки, возбуждало его до болезненной дрожи в коленях.

Когда он ехал из Петербурга, где оставил множество роскошных и холеных женщин, еженощно мучивших его тело иступленными нагими ласками, и впереди вставало перед ним сложное и большое дело, от которого зависела жизнь множества людей, работавших на него, Волошину прежде всего и ярче всего была откровенная мечта о молоденьких, свежих самочках провинциальной глуши. Они рисовались ему робкими, пугливыми, крепкими, как лесные грибки, и еще издали он слышал их раздражающий запах молодости и чистоты.

И, несмотря на то что общество Зарудина казалось ему шокирующим, Волошин, как только освободился от голодных, грязных и тайно гневных людей, сейчас же освежил духами и белоснежной чистотой светлого костюма свое художничье дряблое тело, взял извозчика и, содрогаясь от нетерпения, поехал к Зарудину.

Офицер сидел перед окном в сад, пил холодный чай и старался с наслаждением дышать мягкой вечерней прохладой, наплывающей из темного сада.

– Славный вечерок! – повторял он машинально, но мысль была далеко, и ему было неловко, страшно и стыдно.

Он боялся Лиды. Со дня их объяснения он ее не видал, и теперь она рисовалась совсем не такую, какую отдавалась ему.

– Как бы то ни было, а дело ведь не кончено еще!.. Так или иначе, надо же разделаться с младенцем... Или плюнуть? – робко спрашивал себя Зарудин.

Что она теперь делает?

Перед ним вставало красивое, но грозное и мстительное лицо девушки, с крепко сжатыми тонкими губами и загадочными темными глазами.

«А вдруг она выкинет какую-нибудь штуку... Такая так не оставит!.. Надо бы как-нибудь...»

Призрак неведомого, но ужасного скандала туманно вставал перед Зарудиным, и сердце его трусливо сжималось.

«Да что, собственно, она может мне сделать? – спрашивал он иногда, и тогда в его мозгу что-то прояснялось, становилось просто и ничуть не тяжело. – Утопится?.. Ну и черт с ней... я ее не силой тянул ведь!.. Скажет, что была моей любовницей?.. Так что ж!.. Это только свидетельствует о том, что я красивый мужчина... Жениться я на ней не обещал!.. Странно, ей-богу! – пожимал плечами Зарудин и в ту же ми-

нуту чувствовал, как темный жуткий гнет опять давит его душу. – Сплетни пойдут, никуда показаться нельзя будет!» – думал он и слегка дрожащей рукой машинально подносил ко рту стакан с холодным, приторно сладким чаем.

Он был такой же чистый, благоухающий и красивый, как всегда, но ему казалось, что на нем, на всем – на лице, на белоснежном кителе, на руках и даже на сердце – лежит какое-то грязное, все больше и больше расплывающееся пятно.

– Э, все пройдет со временем... не в первый раз! – успокаивал он себя, но что-то внутри не хотело этому поверить.

Волошин вошел, развязно шаркая подошвами и снисходительно скаля мелкие зубы, и сразу вся комната наполнилась запахом духов, табаку и мускуса, сменившим запах прохлады и зеленого сада.

– Ах, Павел Львович! – несколько испуганно вскочил Зарудин.

Волошин поздоровался, сел у окна и закурил сигару. Он был такой самоуверенный, по мнению Зарудина, – изящный и чистый, что офицер ощутил легкую зависть и изо всех сил постарался принять такой же беззаботный и самоуверенный вид. Но глаза его все время беспокойно бегали: с тех пор как Лида крикнула ему прямо в лицо «скотина!» – Зарудину все казалось, что каждый человек знает про это и в душе смеется над ним.

Волошин, улыбаясь и уверенно, но, неудачно остря, начал болтать о пустяках, но ему было трудно выдержать взятый

тон, и нетерпеливое желание слова «женщина» быстро стало пробиваться сквозь все его остроты и рассказы о Петербурге и забастовавшей фабрике.

Воспользовавшись моментом закуривания новой сигары, он помолчал и выразительно поглядел в глаза Зарудину.

И из его глаз что-то гибкое и бесстыдное проникло в глаза офицера, и они поняли друг друга, Волошин поправил пенсне и улыбнулся, оскалив зубы. И сейчас же эта улыбка отразилась на красивом, обнаглевшем от нее лице Зарудина.

– А вы, я думаю, тут времени не теряете? – спросил Волошин, лукаво и определенно прищуривая глаз.

Зарудин ответил с хвастливо пренебрежительным движением плеч:

– О! Это уже как водится! Что же тут и делать еще?

Они засмеялись и помолчали. Волошин жадно ждал подробностей, и мелкая жилка судорожно билась под его левой коленкой, а перед Зарудиным мгновенно промелькнули подробности не того, чего хотел Волошин, а того, что так мучило его все эти дни.

Он слегка отвернулся в сад и застучал пальцами по подоконнику.

Но Волошин молча ждал, и Зарудин почувствовал необходимость опять попасть в нужный ему тон.

– Я знаю, – притворно самоуверенно начал он, – что вам, столичным жителям, кажется, что здешние женщины что-то особенное. Горько ошибаетесь! Правда, у них есть свежесть,

но нет шику... нет, как бы это сказать... нет искусства любить!..

Мгновенно Волошин оживился, у него заблестели глаза и изменился голос.

– Да, конечно... Но все это надоедает в конце концов... У наших петербуржанок нет тела... Вы понимаете?.. Это комок нервов, а не женское тело, а здесь...

– Это-то так, – незаметно оживляясь, согласился Зарудин и самодовольно стал крутить усы.

– Снимите корсет с самой шикарной столичной дамы, и вы увидите... Да, вот вам... Вы знаете новый анекдот? – внезапно перебил себя Волошин.

– Какой?.. Не знаю... – с вспыхнувшим интересом нагнулся к нему Зарудин.

– А вот... Это очень характерно... Одна парижская кокетка...

И Волошин подробно и искусно рассказал утонченно бесстыдную историю, в которой обнаженная похоть и худая грудь женщины сплетались в такой угарный и кошмарный образ, что Зарудин стал нервно смеяться и весь дергаться, точно его кололи.

– Да, самое главное в женщине – это грудь! Женщина с плохим торсом для меня не существует! – закончил Волошин, закатывая глаза, подернувшиеся беловатым налетом.

Зарудин вспомнил грудь Лиды, такую нежную, бело-розовую, с упругими закруглениями, похожую на грозди неве-

домого прекрасного плода. Вспомнил он, как нравилось ей, когда он целовал ее грудь, и ему вдруг стало неловко говорить об этом с Волошиным и больно, грустно от сознания, что все это прошло и никогда не повторится.

Но чувство это казалось Зарудину недостойным мужчины и офицера, и, делая над собой усилие, он возразил неестественно преувеличивая:

– У всякого свой Бог!.. Для меня в женщине самое важное – спина, изгиб...

– Да! – протянул Волошин. – Знаете, у некоторых женщин, особенно очень молодых...

Денщик, тяжело ступая тяжелыми мужицкими сапогами, вошел зажечь лампу, и пока он возился у стола, звеня стеклом и чиркая спичками, Зарудин и Волошин молчали, и при разгорающемся свете лампы видны были только их блестящие глаза и нервно вспыхивающие огоньки папирос.

А когда денщик ушел, они опять заговорили, и слово «женщина», нагое и грязное, в извращенных и почти бессмысленных формах повисло в воздухе. Хвастовство самца овладело Зарудиным и, мучаясь нестерпимым желанием превзойти Волошина и похвастаться тем, какая роскошная женщина ему принадлежала, Зарудин, с каждым словом все больше и больше обнажая тайники своей похоти, стал рассказывать о Лиде.

И она встала перед Волошиным совершенно голая, бесстыдно раскрытая в глубочайших тайнах своего тела и стра-

стей, опошленная, как скотина, выведенная на базар. Мысли их ползали по ней, лизали ее, мяли, издевались над ее телом и чувством, и какой-то вонючий яд сочился на эту прекрасную, дарящую наслаждением и любовью девушку. Они не любили женщину, не благодарили ее за данные наслаждения, а старались унижить и оскорбить ее, причинить самую гнусную и непередаваемую боль.

В комнате было душно и дымно. Их потные тела распространяли тревожный, тяжелый, нездоровый запах, глаза мутно блестели и голоса звучали прерывисто и подавленно, как хрипение осатаневших зверей. За окном тихо и ясно наступала лунная ночь, но весь мир, со всеми его красками, звуками и богатствами, куда-то ушел, провалился, и голая женщина одна осталась перед ними. И скоро их воображение стало так властно и требовательно, что им уже было совершенно необходимо увидеть эту Лиду, которую они теперь называли не Лидией и не Лидой, а Лидкой.

Зарудин велел запрячь лошадь, и они поехали на край города...

XXVIII

Письмо, на другой день присланное Зарудиным Лиде Саниной, в котором он просил позволения увидеться, неясно и неловко намекая, что многое еще можно изменить, попало в руки Марьи Ивановны, потому что горничная забыла его на столе в кухне.

И от страниц этого письма на чистый образ дочери, полный нежной святости, грязно и страшно надвинулась злоеющая тень. И первое чувство Марьи Ивановны было – скорбное недоумение. А потом ей припомнилась собственная молодость, любовь и измены, тяжелые драмы, которые были пережиты в пору разочарования замужеством. Длинная цепь страданий, сплетенных жизнью, основанной на строгих законах и правилах, дотянулась до старости.

Это была серая полоса, с тусклыми пятнами скуки и горя, с оборванными краями обузданных желаний и мечтаний, что-то, чего никак нельзя было припомнить иначе, как ровным рядом дней за днями.

Но сознание, что дочь где-то прорвала прочную каменную стену этой серой пыльной жизни и, быть может, уже попала в яркий бурный водоворот, где радость и счастье хаотически переплетены со страданием и смертью, объяло ужасом старую женщину.

И ужас разрешился гневом и тоскою. Если бы старуха мог-

ла, она схватила бы Лиду за шею, придавила бы ее к земле, силой втянула назад в серый каменный коридор своей жизни, где на солнечный мир прорезаны только безопасные крошечные оконца с железными решетками, и заставила бы опять начать ту же, безвозвратно прожитую ею самой, жизнь.

«Гадкая, дрянная, мерзкая девчонка!» – с отчаянием уронив руки на колени, думала Марья Ивановна.

Но сухая, маленькая и удобная мысль о том, что все это зашло не дальше известного, безопасного предела, вдруг пришла ей в голову. Лицо у нее стало тупым и как будто хитрым. Она принялась читать и перечитывать записку, но ничего не могла вывести из ее вычурно холодного слога. Тогда старая женщина, чувствуя свое бессилие, горько заплакала, поправила наколку и спросила горничную:

– Дунька, Владимир Петрович у себя?

– Чего? – звонко откликнулась Дунька.

– Дура, говорю, барин дома?

– Сейчас прошли в кабинет. Письмо пишут! – радостно доложила Дунька, точно это письмо было для нее величайшим наслаждением.

Марья Ивановна твердо и прямо посмотрела ей в глаза, и в добрых выцветших зрачках появилось злобное и тупое выражение.

– А ты, дрянь, если будешь у меня записки носить, так я тебя так проучу, что ты и своих не узнаешь...

Санин сидел и писал. Марья Ивановна не привыкла ви-

деть его пишушим и, несмотря на свое горе, заинтересовалась.

– Что это ты пишешь?

– Письмо пишу, – подымая веселую спокойную голову, ответил Санин.

– Кому?

– Так... редактору одному знакомому... хочу опять к нему в редакцию.

– Да ты разве пишешь?

– Я все делаю, – улыбнулся Санин.

– А зачем тебе туда?

– Надоело мне уже у вас, мама, – с искренней усмешкой ответил Санин.

Легкая обида кольнула Марью Ивановну.

– Спасибо! – с обидчивой иронией сказала она.

Санин внимательно посмотрел на нее, хотел сказать, что она не такая же дура, чтобы не понимать, что человеку скучно сидеть на одном месте да еще без всякого дела, но промолчал. Ему показалось нудно объяснять ей такое простое дело.

Марья Ивановна вынула платок и долго молча мяла его тонкими старческими пальцами одряхлевшей породистой женщины. Если бы не было записки Зарудина и душа ее не была повержена в хаос сомнений и страхов, она горько и долго пеняла бы сыну за его резкость, но теперь ограничилась только трагически жалким сопоставлением:

– Да... Один, как волк, из дому тянет, а другая! И она махнула рукой.

Санин с любопытством поднял голову. Очевидно, старая житейская драма начинала разворачиваться дальше.

– А вы почему знаете? – спросил он, бросая перо.

И вдруг Марье Ивановне стало стыдно, что она прочла письмо дочери. На старых щеках выступил кирпичный румянец, и она нетвердо, но сердито ответила:

– Я, слава Богу, не слепая!.. Вижу... Санин подумал.

– Ничего вы не видите, – сказал он, – а в доказательство могу вас поздравить с законным браком вашей дочери... Она сама хотела вам сказать, да уж все равно...

Ему стало жаль, что в красивую молодую жизнь Лиды врывается еще одно мучение – старческая тупая любовь, способная замучить человека самой тончайшей и лютейшей пыткой.

– Что? – вся выпрямляясь, переспросила Марья Ивановна.

– Лида замуж выходит.

– За кого? – радостно и недоверчиво вскрикнула старуха.

– За Новикова... конечно...

– А... а как же...

– Да ну его к черту! – с внезапным раздражением вскрикнул Санин. – Не все ли вам равно... Что вы, чужую душу сторожить собираетесь!

– Нет, я только не понимаю, Володя... – смущенно и

нерешительно оправдывалась старуха, сердце которой запело, непонятно почему, радостную для нее песню: «Лида замуж выходит, Лида замуж выходит!..»

Санин сурово пожал плечами.

– Чего ж тут не понимать... Любила одного, полюбила другого, завтра полюбит третьего... Ну и Бог с ней.

– Что ты говоришь! – с негодованием вскрикнула Марья Ивановна.

Санин встал спиной к столу и скрестил руки.

– А вы разве всю жизнь одного любили? – спросил он сердито.

Марья Ивановна поднялась, и на ее неумном старом лице выступила каменно-холодная гордость.

– Так с матерью не говорят! – резко выговорила она.

– Кто?

– Что кто?

– Кто не говорит? – глядя исподлобья, спросил Санин.

Он смотрел на мать и в первый раз сознательно заметил, какое у нее тупое и ничтожное выражение глаз и как нелепо торчит на голове всхохленная, как куриный гребень, наколка.

– Никто не говорит! – тупо, каким-то неживым голосом сказала она.

– Ну, а я говорю. Только и всего... – вдруг успокаиваясь и впадая в свое обычное настроение, возразил Санин, отвернулся и сел.

– Вы свое от жизни взяли, а потому никакого права не имеете душить Лиду, – довольно равнодушно проговорил он, не оборачиваясь и принимаясь писать.

Марья Ивановна молчала и смотрела на Санина во все глаза, а куриный гребень еще нелепее хохлился у нее на голове. Мгновенно затирая все воспоминания о минувшей жизни, с ее молодыми сладострастными ночами, она закрыла себе глаза одной фразой: «Как он смеет так говорить с матерью!» – и не знала, что ей делать дальше. Но прежде чем она решила, успокоившийся Санин повернулся, взял ее за руку и ласково сказал:

– Оставьте вы все это... А Зарудина гоните вон, а то он действительно каких-нибудь пакостей наделает...

Мягкая волна прошла по сердцу Марьи Ивановны.

– Ну Бог с тобой, – произнесла она. – Я рада... мне Саша Новиков всегда нравился... А Зарудина, конечно, принимать нельзя, хотя бы из уважения к Саше.

– Хотя бы из уважения к Саше, – смеясь одними глазами, согласился Санин.

– А где Лида? – уже со спокойной радостью спросила Марья Ивановна.

– В своей комнате.

– А Саша? – с нежностью выговаривая имя Новикова, прибавила мать.

– Не знаю, право... пошел... – начал Санин, но в это время в дверях появилась Дунька и сказала:

– Там Виктор Сергеевич пришли с чужим баринном.

– А... Гони ты их в шею, – посоветовал Санин. Дунька застенчиво хихикнула.

– Что вы, барин, разве можно!

– Конечно, можно... На кой черт они нам сдались! Дунька закрылась рукавом и ушла.

Марья Ивановна выпрямилась и стала как бы моложе, но глаза ее приобрели еще более тупое и животное выражение. В душе ее моментально, с удивительной легкостью и чистотой, точно она ловко передернула карту, произошла полная перемена: насколько теплело ее сердце к Зарудину раньше, когда она думала, что офицер женится на Лиде, настолько оно стало неприязненно холодным теперь, когда выяснилось, что мужем Лиды будет другой мужчина, а этот мог быть только ее любовником.

Когда мать повернулась к выходу, Санин посмотрел на ее каменный, с серым недоброжелательным глазом, профиль и подумал: «Вот животное!»

Потом сложил бумагу и пошел за ней. Ему было очень любопытно посмотреть, как сложится и разовьется новое запутанное и трудное положение, в которое поставили себя люди.

Зарудин и Волошин встали навстречу с утрированной любезностью, лишенной той свободы, которой пользовался Зарудин в доме Саниных прежде. Волошину было несколько неловко, потому что он пришел с известной мыслью о Лиде и эту мысль приходилось скрывать. Но неловкость эта толь-

ко еще больше волновала его.

А на лице Зарудина сквозь напускные развязность и нахальство ясно выступала робкая тоска. Он сам чувствовал, что не надо было приходить; ему было стыдно и страшно: он не мог представить себе, как встретится с Лидой, и в то же время ни за что на свете не выдал бы этих чувств Волошину и не отказался бы от привычного самоуверенного, ничем не дорожащего мужчины, который может сделать с женщиной что угодно. Временами он прямо ненавидел Волошина, но шел за ним, как прикованный, не имея сил показать свою настоящую душу.

– Дорогая Марья Ивановна, – неестественно показывая белые зубы, сказал Зарудин, – позвольте вам представить моего хорошего приятеля, Павла Львовича Волошина...

При этом он угодливо, с неуловимо подмигивающей черточкой в самых уголках глаз и губ, улыбнулся Волошину.

Волошин поклонился, ответив Зарудину тою же улыбкой, но более заметно и почти нагло.

– Очень приятно, – холодно сказала Марья Ивановна. Скрытая неприязнь холодком скользнула из ее глаз на Зарудина, и осторожно чуткий офицер сейчас же это заметил. Мгновенно исчезла последняя его самоуверенность, и поступок их, окончательно потеряв игривую забавность, стал казаться ему невозможным и нелепым.

«Эх, не надо было приходить!» – подумал он и тут, впервые, ясно вспомнил то, о чем забывал, возбужденный обще-

ством для него недостижимо великолепного Волошина. Ведь сейчас войдет Лида!.. Ведь это та самая Лида, которая была с ним в связи, беременна от него, мать его собственного будущего ребенка, который так или иначе, а ведь родится же когда-нибудь! И что же он ей скажет и как посмотрит на нее?.. Сердце Зарудина робко сжалось и тяжелым комом надавило куда-то вниз.

«А вдруг она уже знает? – с ужасом подумал он, уже не смея взглянуть на Марию Ивановну, и весь стал ерзать, шевелиться, закуривая папиросу, двигая плечами и ногами и бегая глазами по сторонам. – Эх, не надо было идти!»

– Надолго к нам? – величаво холодно спрашивала Мария Ивановна Волошина.

– О, нет, – развязно и насмешливо глядя на провинциальную даму, отвечал Волошин и, вывернув ладонь, ловко вставил в угол сигару, дым которой шел прямо в лицо старухи.

– Скучно вам у нас покажется... после Питера...

– Нет, отчего же... Мне тут очень нравится, такой, знаете, патриархальный городок...

– Вот вы за город съездите, у нас места есть великолепные... И купанье, и катанье...

– О, непременно-с! – насмешливо подчеркивая «с», но уже скучливо воскликнул Волошин.

Разговор не вязался и был тяжел и нелеп, как улыбающаяся картонная маска, из-под которой смотрят враждебные и скучные глаза.

Волошин стал поглядывать на Зарудина, и смысл его взглядов был понятен не только офицеру, но и Санину, внимательно наблюдавшему за ними из угла.

Мысль, что Волошин перестанет думать о нем, как о ловком, остроумно нахальном человеке, способном на все, оказалась сильнее тайной боязни Зарудина.

– А где же Лидия Петровна? – с самоотверженным усилием спросил он, опять без нужды весь приходя в движение.

Марья Ивановна посмотрела на него с удивленной неприязнью.

«А тебе какое дело, раз не ты на ней женишься!» – сказали ее глаза.

– Не знаю... У себя, должно быть, – холодно ответила она. Волошин опять выразительно посмотрел на Зарудина. «Нельзя ли как-нибудь вытребовать Лидку эту поскорее, а то старушенция мало занимательна!» – мысленно сказал он. Зарудин раскрыл рот и беспомощно шевельнул усами.

– Я так много лестного слышал о вашей дочери, – ослабляя гнилые зубки, любезно нагибаясь всем корпусом вперед и потирая руки, заговорил Волошин сам, – что надеюсь иметь честь быть ей представленным?

Марья Ивановна скользнула взглядом по неуловимо изменившемуся лицу Зарудина и инстинктивно поняла, что именно мог слышать этот гнилообразный, наглый человек о ее кристально чистой и нежно святой Лиде. Мысль эта была так остра, что мгновенно приблизила к ней страшное

предчувствие падения Лиды и обняла беспомощным ужасом. Она растерялась, и глаза ее стали в это время человечнее и мягче.

«Если их не прогнать отсюда, – подумал в эту минуту Санин, – то они причинят еще много горя и Лиде, и Новикову...»

– Я слышал, что вы уезжаете? – вдруг спросил он, задумчиво глядя в пол.

Зарудин удивился, как не пришла ему самому в голову такая простая и удобная мысль.

«А!.. Взять отпуск месяца на два...» – мелькнуло у него в мозгу, и Зарудин поспешно ответил:

– Да, собираюсь... Надо бы отдохнуть, проветриться... знаете... Заплесневеешь на одном месте!

Санин вдруг засмеялся. Весь этот разговор, в котором ни одно слово не выражало того, что чувствовали и думали люди, вся его никого не обманывающая ложность и то, что все, явно видя, что никто не верит, продолжали обманывать друг друга, рассмешили его. И решительное, веселое чувство свободной волной прихлынуло к его душе.

– Скатертью дорога, – сказал он первое, что пришло ему в голову.

И как будто со всех слетел строгий, крахмальный костюм, все три человека мгновенно изменились. Марья Ивановна побледнела и стала меньше, в глазах Волошина мелькнуло трусливо животное чувство, превратившее его в насторо-

жившегося зверька, а Зарудин тихо и неуверенно поднялся со своего места. Живое движение прошло по комнате.

– Что? – подавленным голосом спросил Зарудин, и голос его был тот самый, который не мог быть несвойствен ему в эту минуту.

Волошин испуганно и мелко засмеялся, острыми пугливыми глазками отыскивая свою шляпу. Санин, не отвечая Зарудину, с веселым и злым лицом, нашел шляпу Волошина и подал ему. Волошин раскрыл рот, и из него вышел тоненький придавленный звук, похожий на жалобный писк.

– Как это понять? – с отчаянием крикнул Зарудин, совершенно теряя почву. «Скандал!» – пронеслось в его помертвелом мозгу.

– Так и понимаете, – сказал Санин, – вы тут совершенно не нужны, и вы доставите всем большое удовольствие, если уберетесь отсюда.

Зарудин шагнул вперед. Лицо его стало страшно, и белые зубы оскалились зловеще и зверино.

– А-а... вот как... – проговорил он, судорожно задыхаясь.

– Пошел вон, – с презрением, коротко и твердо ответил Санин.

И в голосе его послышалась такая стальная и страшная угроза, что Зарудин отступил и замолчал, нелепо и дико вращая зрачками.

– Это черт знает что такое... – негромко пробормотал Волошин и поспешно направился к дверям, пряча голову в пле-

чи.

Но в дверях показалась Лида.

Никогда, ни прежде, ни после, она не чувствовала себя такой униженной, точно голая рабыня, из-за которой на рынке разодрались самцы. В первую минуту, когда она узнала о приходе Зарудина с Волошиным и отчетливо поняла смысл этого прихода, чувство физического унижения было так велико, что она нервно зарыдала и убежала в сад, к реке, с вновь возникшей мыслью о самоубийстве.

«Да что же это!.. Неужели этому еще не конец!.. Неужели я совершила такое ужасное преступление, что оно никогда не простится, и всегда всякий будет иметь право...» – чуть не закричала она, заломив над головой руки.

Но в саду было так ясно и светло, так мирно жили там яркие цветы, пчелы и птицы, так голубело небо, так блестела у осоки вода, и так обрадовался фокстерьер Милль тому, что она побежала, что Лида опомнилась. Она вдруг инстинктивно вспомнила, что и всегда так же охотно и жадно бегали за ней мужчины, вспомнила свое оживление, которое напрягало все ее тело под взглядами этих мужчин, и потом совсем сознательно в ней пробудилось чувство гордости и правоты.

«Ну что ж, – подумала она, – какое мне дело... он так он... ну любила, теперь разошлись... И никто никогда не смеет меня презирать!»

Она круто повернулась к дому и пошла.

В дверях Лида появилась не такую, какую привыкли ви-

дочь ее чужие люди. Но как всегда, вместо обычной модной и вычурной прически, у нее на спине мягко спускалась толстая и пышная коса, вместо изящного изошренного туалета, на груди и плечах легко и просто была легкая кофточка, наивно показывавшая освобожденное прекрасное тело, и вся она, в этом милом, простом, домашнем виде была как-то неожиданно прекрасна и обаятельна.

Странно улыбаясь улыбкой, делавшей ее похожей на брата, Лида как будто спокойно перешагнула порог и сказала звучным и красивым голосом, с особенно милыми девичьими нотками:

– Вот и я... Куда же вы?.. Виктор Сергеевич, бросьте фуражку!..

Санин замолчал и с любопытным восторгом, широко открыв глаза, глядел на сестру.

«Это еще что!» – подумал он.

Какая-то внутренняя сила, и грозная, и милая, и непреборимая, и женственно-нежная, вошла в комнату. Точно укротительница вошла в клетку разодравшихся диких зверей. Мужчины вдруг стали мягки и покорны.

– Видите ли, Лидия Петровна... – с замешательством проговорил Зарудин.

И как только он заговорил, мило жалкое, беспомощное выражение скользнуло по лицу Лиды. Она быстро взглянула на него, и вдруг ей стало невыносимо больно. Болезненно чувствительный оттенок физической нежности проснулся в

ней, и мучительно захотелось на что-то надеяться. Но это желание мгновенно же сменилось острой животной необходимостью доказать ему, как много он сам потерял и как она все-таки прекрасна, несмотря на горе и унижение, которое он причинил ей.

– Ничего я не хочу видеть! – и в самом деле почти закрывая красивые глаза, властно и несколько театрально произнесла Лида.

С Волошиным сделалось что-то странное: эта прелестная теплота, шедшая от едва прикрытого, нежного женского тела, открывшегося в неожиданной милой домашней красоте, разварила все его существо. Острый язычок мгновенно облизал его пересохшие губы, глазки сузились, и все тело под просторным светлым костюмом отекло в бессильном физическом восторге.

– Представьте же... – сказала Лида, через плечо поворачивая к нему большие девичьи глаза, мягко и своевольно оттененные ресницами.

– Волошин... Павел Львович... – пробормотал Зарудин.

«И такая красавица была моей любовницей!» – и с искренним восторгом, и с хвастливым чувством перед Волошиным, и с легким уколом сознания невозвратимой потери мелькнуло в нем.

Лида медленно повернулась к матери.

– Мама, вас там спрашивают... – сказала она.

– Мне не до... – начала Марья Ивановна.

– Я говорю... – перебила Лида, и в голосе ее неожиданно зазвучали слезы.

Марья Ивановна торопливо встала. Санин смотрел на Лиду, и ноздри его раздувались широко и сильно.

– Господа, пойдемте в сад... Тут жарко! – сказала Лида и, как прежде, не глядя, идут ли за ней, пошла на балкон.

Мужчины как загипнотизированные двинулись за ней, и было похоже, точно она опутала их своей косой и насильно ведет куда хочет. Волошин шел впереди, восхищенный и обостренный, позабыв все на свете, кроме нее.

Лида села под липой в качалку и вытянула маленькие ноги в желтых туфельках на просвечивающих черных чулках. В ней как будто было два существа: одно томилось от стыда, обиды и тоски, другое упрямо принимало сознательно возбуждающие позы, одну красивее и гибче другой. И первое с омерзением смотрело и на себя, и на мужчин, и на всю жизнь.

– Ну, Павел Львович... какое впечатление производит на вас наша глушь? – щуря глаза, спрашивала Лида.

Волошин быстро скрестил и потер пальцы.

– Такое, какое, вероятно, испытывает человек в глухом лесу, наткнувшийся на роскошный цветок! – ответил он.

И между ними начался легкий, пустой и насквозь лживый разговор, в котором все то, что произносилось вслух, было ложью, а все то, о чем умалчивали, было правдой. Санин молчал и слушал именно тот молчаливый и настоящий

разговор, который без слов скользил по лицам, по рукам и ногам, по звукам голоса и его дрожи. Лида страдала, Волошин мучительно и неудовлетворенно наслаждался ее красотой и запахом. А Зарудин уже ненавидел и ее, и Санина, и Волошина, и весь мир, хотел уйти и не уходил, хотел сделать что-то грубое и курил папиросу за папирсой. И почему-то нестерпимая потребность, чтобы Лида открыто предстала всем, как его любовница, беспросветно зло надавила его мозг.

– И так вам нравится у нас, вы не жалеете, что покинули Петербург? – спрашивала Лида.

Быть может, эта пытка была мучительнее всего, и ей самой странно было, что она не встает, не уходит.

– Mais au contraire!¹ – возражал Волошин, кокетливо разводя руками и наводя глаз на грудь Лиды.

– Без фраз! – с кокетливо повелительным жестом сказала Лида, и опять в ней боролись два существа: одно вызвало краску на лице, другое еще выпуклее и неуловимо бесстыднее выставило грудь навстречу обнажающему взгляду.

«Ты думаешь, что я очень несчастна... что я убита! Так на же, смотри! Вы таковы, так и я буду такой!» – с внутренними слезами мысленно говорила она Зарудину.

– О, Лидия Петровна! – с ненавистью отозвался Зарудин. – Какие уж тут фразы!

– Вы, кажется, что-то сказали? – холодно спросила Лида

¹ Нет, напротив! (фр.)

и, быстро меняя тон, опять обернулась к Волошину.

– Расскажите мне о петербургской жизни... У нас ведь не жизнь, а прозябание!

Зарудин почувствовал, что Волошин слегка усмехнулся в его сторону, и подумал, что Волошин уже не верит в то, что Лида была его любовницей.

«Ага, ага... так... хорошо!» – с невероятной злобой сказал он себе.

– Наша жизнь? О, эта знаменитая «петербургская жизнь»!.. Волошин легко и быстро болтал и производил впечатление маленькой глупенькой обезьянки, что-то лопочущей на своем пустом малопонятном языке.

«Кто знает!» – думал он, с затаенной надеждой глядя на лицо, грудь и широкие бедра Лиды.

– Могу вам дать честное слово, Лидия Петровна, что наша жизнь очень бледна и скучна... До сегодняшнего дня, впрочем, я думал, что и всякая жизнь скучна, независимо от того, где живет человек – в столице или в деревне...

– Будто? – полузакрыла глаза Лида.

– Что дает жизнь, так это – прекрасная женщина! А женщины больших городов, ах, если бы вы их видели!.. А знаете, я убежден, что если что когда-либо спасет мир, то это красота! – неожиданно, но считая это очень уместным, понятным и остроумным, прибавил Волошин.

На его лице установилось бессмысленное разгоряченное выражение, и он болтал срывающимся голосом, беспрестан-

но возвращаясь к одному и тому же, к женщине, о которой он говорил так, точно тайком непрестанно раздевал и насиловал ее. И Зарудин, подмечая это выражение, вдруг почувствовал смутную ревность. Он краснел и бледнел и не мог стоять на месте, неровно и странно переходя с места на место посредине аллеи.

– Наши женщины так похожи одна на другую, они так исковеркались и ошаблонились!.. Найти что-нибудь, способное вызвать действительное преклонение перед красотой... не то, знаете, специфическое чувство, а действительно чистое, искреннее поклонение, какое испытываешь перед статуей, в больших городах невозможно!.. Для этого надо пуститься именно в глушь, где жизнь – еще нетронутая почва, способная давать пышные цветы!

Санин невольно почесал затылок и переложил ногу на ногу.

– А к чему им здесь и расцветать, когда их рвать некому! – возразила Лида.

«Ага! – с интересом подумал Санин. – Вот куда она идет!...»

Ему была ужасно интересна эта грубовато тонкая игра чувств и желаний, и ясно, и в то же время неуловимо развертывающаяся пород ним.

– То есть?

– Ну да, я говорю серьезно! Кто срывает наши печальные цветы? Что это за люди, которых мы делаем своими героя-

ми! – вырвалось у Лиды совершенно искренно и трогательно грустно.

– Вы к нам безжалостны! – невольно отозвался на скрытые нотки ее голоса Зарудин.

– Лидия Петровна права! – с одушевлением поддержал Волошин, но сейчас же спохватился и трусливо оглянулся на Зарудина.

Лидия захохотала, и ее горящие мезтью и стыдом и тоской глаза грозно и печально впились в лицо Зарудину. А Волошин опять болтал, и слова его сыпались, прыгали и дробились, как стая каких-то чепушистых уродцев, Бог весть откуда набравших сюда.

Уже он говорил о том, что женщина с прекрасным телом может, не возбуждая грязных желаний, появляться на улице голой, и видно было, как хотелось ему, чтобы эту женщину была Лидя и чтобы голой появилась она именно для него.

А Лидя смеялась, перебивала его, и в ее высоком смехе слышался стыд и слезы обиды и тоски.

Было жарко, и солнце высоко и прямо смотрело в сад, и листья тихо-тихо покачивались, точно волнуясь знойными, но скованными ленью желаниями. А под ними хорошенькая, молоденькая беременная женщина с тайными слезами и муками старалась отомстить за поруганную страсть и чувствовала, что это не удастся, и страдала бессильным стыдом; один слабосильный, трусливый самец мучился в поту-

гах высказываемого и скрываемого сладострастного желания, а другой страдал от ревнивой и унижающей злобы.

Санин сидел в стороне, в мягкой и зеленой тени липы, и спокойно смотрел на них.

– Однако нам пора, – наконец не выдержал Зарудин. Сам не зная почему, он чувствовал во всем – в смехе, в глазах, в дрожи пальцев Лиды – скрытые удары по лицу, и злоба к ней, ревность к Волошину и физическая тоска безвозвратной потери истомили его.

– Уже? – спросила Лида.

Волошин, сладко жмурясь, улыбался и тонким языком облизывал губы.

– Что делать... Виктору Сергеевичу, очевидно, нездоровится, – насмешливо, воображая себя победителем, сказал он.

Они стали прощаться. Когда Зарудин наклонился к руке Лиды, он вдруг шепнул:

– Прощай!

Он сам не знал, зачем это сделал, но никогда так не любил и не ненавидел Лиду, как в эту минуту. И в душе Лиды ответно что-то замерло и задрожало, в желании расстаться с грустной и нежной благодарностью за пережитые вместе наслаждения, без всяких местей, злоб и ненавистей. Но она подавила это чувство и ответила безжалостно и громко:

– Прощайте!.. Счастливого пути, Павел Львович, не забывать!

Слышно было, как Волошин нарочно громче, чем нужно, сказал:

– Вот женщина, она опьяняет, как шампанское!..

Они ушли, а когда шаги их стихли, Лида села в качалку, но совсем не так, как прежде, а сторбившись и вся дрожа. Тихие, какие-то особенно трогательные девические слезы полились у нее по лицу. И почему-то Санину припомнился трогательно задумчивый образ русской девушки, с ее пышной косой, безотрадной жизнью и кисейным рукавом, которым она тайком где-нибудь, по весне, над обрывом разлива, утирала свои слезы. И то, что этот старинный наивный образ был совсем не свойствен обычной Лиде, с ее модными высокими прическами и изящными кружевными платьями, особенно было трогательно и жалко.

– Ну что ты! – сказал Санин, подходя и беря ее за руку.

– Оставь... какая ужасная штука жизнь... – выговорила Лида и наклонилась к самым коленям, закрыв лицо руками. Мягкая коса тихо свернулась через плечо и упала вниз.

– Тьфу! – сердито сказал Санин. – Стал бы я из-за таких пустяков!..

– Неужели нет... других, лучших людей! – опять проговорила Лида.

– Конечно, нет, – улыбнулся Санин, – человек гадок по природе... Не жди от него ничего хорошего, и тогда то дурное, что он будет делать, не будет причинять тебе горя...

Лида подняла голову и посмотрела на него заплаканными

красивыми глазами.

– А ты не ждешь? – спокойнее и задумчивее спросила она.

– Конечно, нет, – отвечал Санин, – я живу один...

XXIX

На другой день простоволосая и босая Дунька, с застывшим выражением испуга в глупых глазах, прибежала к Санину, чистившему дорожку в саду, и, очевидно повторяя чужие слова, сказала:

– Владимир Петрович, вас желают видеть господа ахвицеры... Санин не удивился, потому что ждал того или иного вызова от Зарудина.

– И очень желают? – шутя, спросил он Дуньку.

Но Дунька, видимо, знала что-то страшное и, против обыкновения, не закрылась рукавом, а взглянула ему прямо в глаза с выражением испуганного участия.

Санин поставил лопату к дереву, снял и перетянул пояс и, по своей манере слегка раскачиваясь на ходу, пошел в дом.

«Экие дураки... ведь вот идиоты!» – с досадой думал он о Зарудине и его секундантах, но это было не ругательством, а выражением его искреннего мнения.

Когда он проходил через дом, из дверей своей комнаты вышла Лида и стала на пороге. У нее было напряженное бледное лицо и страдальческие глаза. Она пошевелила губами, но ничего не сказала. В эту минуту она чувствовала себя самой несчастной и самой преступной женщиной в мире.

В гостиной, в кресле, беспомощно сидела Марья Ивановна. И у нее было испуганное несчастное лицо, и куриный гре-

бень наколки растерянно свисал набок. Она тоже поглядела на Санина умоляющими, испуганными глазами, так же пошевелила губами и так же промолчала.

Санин улыбнулся ей, хотел остановиться, но раздумал и прошел дальше.

Танаров и фон Дейц сидели в зале, на стульях возле первого от двери окна, и сидели не так, как садились всегда, а поджав ноги и выпрямившись, точно им было страшно неловко в их белых кителях и узких синих рейтузах. При входе Санина они медленно и нерешительно поднялись, очевидно не зная, как вести себя дальше.

– Здравствуйте, господа, – сказал Санин громко, подходя и протягивая руку.

Фон Дейц на секунду замялся, но Танаров быстро и увеличенно поклонился, пожимая руку так, что перед Саниным мелькнул его подстриженный затылок.

– Ну что скажете хорошего? – спросил Санин, замечая ту особую предупредительную готовность Танарова и дивясь тому, как ловко и уверенно проделывал этот офицер глупость фальшивой церемонии.

Фон Дейц выпрямился и придал холодный вид своей лошадиной физиономии, но сконфузился. И странно было, что заговорил прямо и уверенно всегда молчаливый и застенчивый Танаров.

– Наш друг, Виктор Сергеевич Зарудин, сделал нам честь, поручив за него объясниться с вами, – сказал он отчетливо

и холодно, как будто внутри его пошла в ход заведенная машина.

– Ага! – произнес Санин, широко открывая рот и с комической важностью.

– Да-с, – слегка опуская брови, упрямо и твердо продолжал Танаров, – он находит, что ваше поведение относительно него было не совсем...

– Ну да... понимаю... – быстро теряя терпение, перебил Санин, – я его прогнал почти что в шею... чего уж тут «не совсем»!

Танаров сделал усилие, чтобы что-то понять, но не смог и продолжал:

– Да-с... Он требует, чтобы вы взяли свои слова назад.

– Да... да... – почему-то счел нужным прибавить длинный фон Дейц и как журавль переступил с ноги на ногу.

– Как же я их возьму? Слово не воробей, вылетит – не поймаешь! – смеясь одними глазами, возразил Санин.

Танаров недоуменно помолчал, глядя прямо в глаза Санину. «Однако какие у него злые глаза!» – подумал Санин.

– Нам не до шуток... – сердито, точно сразу поняв что-то и густо багровея, вдруг быстро проговорил Танаров. – Угодно вам взять ваши слова обратно или нет?

Санин помолчал.

«Форменный идиот!» – подумал он даже с грустью, взял стул и сел.

– Я, пожалуй, и взял бы свои слова обратно, чтобы доста-

вить Зарудину удовольствие и успокоить его, – серьезно заговорил он, – тем более что мне это ровно ничего не стоит... Но, во-первых, Зарудин глуп и поймет это не так, как надо, и, вместо того чтобы успокоиться, будет злорадствовать, а во-вторых, Зарудин мне решительно не нравится, а при таких обстоятельствах и слов назад брать не стоит...

– Так-с... – сквозь зубы злорадно протянул Танаров. Фон Дейц испуганно поглядел на него, и с его длинной физиономии сползли последние краски. Она стала желта и деревянна.

– В таком случае, – повышая голос и придавая ему угрожающий оттенок, начал Танаров.

Санин с внезапной ненавистью оглядел его узкий лоб и узкие рейтузы и перебил:

– Ну и так далее... знаю... Только драться с Зарудиным я не буду.

Фон Дейц быстро повернулся. Танаров выпрямился и, принимая презрительный вид, спросил, отчеканивая слоги:

– По-че-му?.

Санин засмеялся, и ненависть его прошла так же быстро, как и явилась.

– Да потому... Во-первых, я не хочу убивать Зарудина, а во-вторых, и еще больше, не хочу сам умирать.

– Но... – кривя губы, начал Танаров.

– Да не хочу, и баста! – сказал Санин, вставая. – Стану я еще вам объяснять, почему!.. Очень мне надо!.. Не хочу...

ну?

Глубочайшее презрение к человеку, который не хочет драться на дуэли, смешалось в Танарове с непоколебимым убеждением, что никто, кроме офицера, и не способен быть настолько храбрым и благородным, чтобы драться. А потому он нисколько не удивился, а, напротив, даже как будто обрадовался.

– Это ваше дело, – сказал он, уже не скрывая и даже преувеличивая презрительное выражение, – но я должен вас предупредить...

– И это знаю, – засмеялся Санин, – но этого я уже прямо не советую Зарудину...

– Что-с? – усмехаясь, переспросил Танаров, беря с подоконника фуражку.

– Не советую меня трогать, а то я его так побью, что...

– Послушайте! – вдруг вспыхнул фон Дейц. – Я не могу позволить... вы издеваетесь!.. И неужели вы не понимаете, что отказываться от вызова это... это...

Он был красен, как кирпич, и тусклые глаза глупо и дико пучились из орбит, а на губах показался маленький слюнный водоворотик.

Санин с любопытством посмотрел ему в рот и сказал:

– А еще человек считает себя поклонником Толстого! Фон Дейц вскинул головой и затрясся.

– Я вас попрошу! – с визгом прокричал он, мучительно стыдясь, что кричит на хорошего знакомого, с которым

недавно говорил о многих важных и интересных вопросах. – Я вас попрошу оставить... Это не относится к делу!

– Ну нет, – возразил Санин, – даже очень относится!

– А я вас попрошу, – с истерическим воплем закричал фон Дейц, брызгая слюной, – это совсем... и одним словом...

– Да ну вас! – с неудовольствием отодвигаясь от брызгавшей слюны, сказал Санин. – Думайте, что хотите, а Зарудину скажите, что он дурак...

– Вы не имеете права! – отчаянным плачущим голосом взвыл фон Дейц.

– Хорошо-с, хорошо-с... – с удовольствием проговорил Танаров. – Идем.

– Нет, – тем же плачущим голосом и бестолково размахивая длинными руками, кричал фон Дейц, – как он смеет... это прямо... это...

Санин посмотрел на него, махнул рукой и пошел прочь.

– Мы так и передадим нашему другу... – сказал ему вслед Танаров.

– Ну так и передайте, – не оборачиваясь, ответил Санин и ушел.

«Ведь вот дурак, а как попал на своего дурацкого конька, какой стал сдержанный и толковый!» – подумал Санин, слыша, как Танаров уговаривает кричащего фон Дейца.

– Нет, это нельзя так оставить! – кричал длинный офицер, с грустью сознавая, что благодаря этой истории потерял ин-

тересного знакомого, и не зная, как это поправить, а оттого еще больше озлобляясь и, очевидно, портя дело вконец.

– Володя... – тихо позвала из дверей Лида.

– Что? – остановился Санин.

– Иди сюда... мне нужно...

Санин вошел в маленькую комнату Лиды, где было темно и зелено от закрывающих окно деревьев, пахло духами, пудрой и женщиной.

– Как у тебя тут хорошо! – сказал Санин, страстно и облегченно вздыхая.

Лида стояла лицом к окну, и на ее плечах и щеке мягко и красиво лежали зеленые отсветы сада.

– Ну что тебе нужно? – ласково спросил Санин. Лида молчала и дышала часто и тяжело.

– Что с тобой?

– Ты не будешь... на дуэли? – сдавленным голосом спросила Лида, не оборачиваясь.

– Нет, – коротко ответил Санин. Лида молчала.

– Ну и что же?

Подбородок Лиды задрожал. Она разом повернулась и задышающимся голосом быстро и несвязно проговорила:

– Этого я не могу, не могу понять...

– А... – морщась, возразил Санин, – очень жаль, что не понимаешь!..

Злая и тупая человеческая глупость, охватывающая со всех сторон, исходящая равно и от злых, и от добрых, и от

прекрасных, и от безобразных людей, утомила его. Он повернулся и ушел.

Лида посмотрела ему вслед, а потом ухватилась обеими руками за голову и повалилась на кровать. Длинная темная коса, словно мягкий пушистый хвост, красиво разметалась по белому чистому одеялу. В эту минуту Лида была так красива, так сильна и гибка, что, несмотря на отчаяние и слезы, выглядела удивительно живой и молодой; в окно смотрел пронизанный солнцем зеленый сад; комнатка была радостна и светла. Но Лида не видела ничего.

XXX

Был тот особенный вечер, какой только изредка бывает на земле и кажется спустившимся откуда-то, с прозрачного и величественно прекрасного голубеющего неба. Невысокое солнце второй половины лета уже зашло, но было еще совсем светло, и воздух был удивительно чист и легкий. Было сухо, но в садах неведомо откуда появилась обильная роса; пыль с трудом поднималась, но стояла в воздухе долго и лениво; было и душно, и прохладно уже. Все звуки разносились легко и быстро, как на крыльях.

Санин без шапки, в своей широкой голубой, но уже позеленевшей на плечах рубаше, прошел по пыльной улице и длинному, заросшему крапивой переулку к дому, где жил Иванов.

Иванов, серьезный и широкоплечий, с длинными прямыми, как солома, волосами, сидел перед окном в сад, где все больше увлажнялась росой и опять зеленела запылившаяся за день зелень, и методично набивал папиросы табаком, от которого на сажень вокруг хотелось чихать.

– Здравствуй, – сказал Санин, облакачиваясь на подоконник.

– Здорово.

– А меня на дуэль вызвали, – сказал Санин.

– Доброе дело! – ответил Иванов невозмутимо. – Кто и

за что?

– Зарудин... Я его из дому выгнал, ну он и обиделся.

– Так, – сказал Иванов. – Будешь, значит, драться? Поде-
рись, я секундантом буду... пусть другу нос отстрелят.

– Зачем... Нос – благородная часть тела... Не буду я драться! – смеясь, возразил Санин.

– И то хорошо, – кивнул головой Иванов, – зачем драться, драться не следует!

– А вот моя сестрица Лида иначе рассуждает, – улыбнулся Санин.

– Потому – дура! – убежденно возразил Иванов. – Сколько в каждом человеке этой глупости сидит!

Он набил последнюю папиросу и сейчас же закурил ее, остальные собрал, уложил в кожаный портсигар и, сдунув табак с подоконника, вылез в окно.

– Что будем творить? – спросил он.

– Пойдем к Соловейчику, – предложил Санин.

– А ну его, – поморщился Иванов.

– Что так?

– Не люблю я его!.. Слизняк!..

– Многим ли хуже всех других? – махнул рукой Санин. –
Ничего... пойдём.

– Ну пойдём, мне что! – согласился Иванов так же быстро, как он всегда соглашался со всем, что говорил Санин.

И они пошли по улицам, оба здоровые и высокие, с широкими плечами и веселыми голосами.

Но Соловейчика не оказалось дома. Флигель был заперт, во дворе пусто и мертво, и только Султан громыхал у амбара цепью и одиноко лаял на чужих людей, неведомо зачем ходивших по двору.

– Экая мерзость тут, – сказал Иванов. – Пойдем на бульвар.

Они ушли, затворив калитку, а Султан, тьякнув еще раза два, сел перед будкой и печально стал смотреть на свой пустой двор, на мертвую мельницу и белые узкие и кривые дорожки, змеившиеся по низкой пыльной траве.

В городском саду по обыкновению играла музыка. На бульваре было уже совсем прохладно и легко. Гуляющих было много, и их темная толпа, как бурьян цветами пересыпанная женскими платьями и шляпами, волнами двигалась взад и вперед, то вливаясь в темный сад, то отливая от его каменных ворот.

Санин и Иванов, под руку, прошли в сад и в первой же аллее наткнулись на Соловейчика, задумчиво расхаживавшего под деревьями, заложив руки за спину и не подымая глаз.

– А мы были у вас, – сказал Санин. Соловейчик робко улыбнулся и виновато проговорил:

– Ах, вы меня извините, я не знал, что вы придете... а то я бы подождал... А я, знаете, прогуляться немножечко вышел...

Глаза у него были блестящие и грустные.

– Пойдемте с нами, – продолжал Санин, ласково беря его

под руку.

Соловейчик с радостью согнул свою руку, притворяясь веселым, сейчас же ненатурально сдвинул шляпу на затылок и пошел с таким видом, точно нес не руку Санина, а какую-то драгоценную вещь. И рот у него стал до ушей.

Около солдат, с багровыми от натуги лицами дувших в медные оглушительно звонкие трубы, среди которых вертелся и, видимо рисуясь, размахивал палочкой тоненький, похожий на воробья, военный капельмейстер, тесной грудой стояла публика попроще – писаря, гимназисты, молодцы в сапогах и девушки в ярких платочках, а по аллеям, точно в нескончаемой кадрили, навстречу друг другу перепутывались пестрые группы барышень, студентов и офицеров.

Навстречу попались Дубова с Шафровым и Сварожичем. Они улыбнулись и раскланялись. Санин, Соловейчик и Иванов обошли кругом весь сад и опять встретились с ними. Теперь среди них шла еще Карсавина, высокая и стройная, в светлом платье. Она еще издали улыбнулась Санину, которого давно не видела, и в глазах ее мелькнуло выражение кокетливого дружелюбия.

– Что вы один ходите, – сказала сухенькая сутуловатая Дубова, – присоединяйтесь к нам.

– Свернемте, господа, в боковую аллею, а то тут толкотня... – предложил Шафров.

И большая, веселая группа молодежи завернула в полусумрак густой молчаливой аллеи, оглашая ее веселыми звон-

кими голосами и заливистым беспричинным смехом.

Они прошли до самого конца сада и собирались повернуть назад, когда из-за поворота показались Зарудин, Танаров и Волошин.

Санин сейчас же увидел, что офицер не ожидал встречи и растерялся. Красивое лицо его густо потемнело и вся фигура выпрямилась. Танаров мрачно усмехнулся.

– А эта пигалица еще здесь? – удивился Иванов, указывая глазами на Волошина.

Волошин, не видя их и оборачиваясь, смотрел на Карсавину, прошедшую вперед.

– Тут! – засмеялся Санин.

Этот смех Зарудин принял на свой счет, и это произвело на него впечатление удара. Он вспыхнул, задохнулся и, чувствуя себя подхваченным какою-то тяжелою силой, отделился от своей группы и, быстро шагая своими лакированными сапогами, пошел к Санину.

– Вам что? – спросил Санин, вдруг становясь серьезным и внимательно глядя на тонкий хлыстик, который Зарудин неестественно держал в руке.

«Ах, дурак!» – подумал он с раздражением и жалостью.

– Я имею сказать вам два слова... – хрипло проговорил Зарудин. – Вам передали мой вызов?

– Да, – слегка пожал плечом Санин, все так же внимательно следя за каждым движением рук офицера.

– И вы решительно отказываетесь, как то... следовало бы

порядочному человеку, принять этот вызов? – невнятно, но громче проговорил Зарудин, уже сам не узнавая своего голоса, пугаясь и его, и холодной ручки хлыста, которую вдруг особенно остро почувствовал в запотевших пальцах, но уже не имея сил свернуть с внезапно открывшейся перед ним жуткой дороги. Ему показалось, что в саду сразу не стало воздуху.

Все остановились и слушали, в жутком предчувствии, не зная, что делать.

– Вот еще... – начал Иванов, двигаясь, чтобы стать между Саниным и Зарудиным.

– Конечно, отказываюсь, – странно спокойным голосом и переводя острый, все видящий взгляд прямо в глаза Зарудину, сказал Санин.

Офицер тяжело вздохнул, как будто подымая огромную тяжесть.

– Еще раз... Отказываетесь? – еще громче спросил он металлически зазвеневшим голосом.

«Ай-ай... И он же его ударит... Ах, как нехорошо... ай-ай!» – бледнея, не подумал, а почувствовал Соловейчик.

– И что вы, раз... – забормотал он, изгибаясь всем телом и загораживая Санина.

Зарудин вряд ли видел его, когда грубо и легко столкнул с дороги. Перед ним были только одни спокойные, серьезные глаза Санина.

– Я уже сказал вам, – прежним тоном ответил Санин. Все

завертелось вокруг Зарудина и, слыша сзади поспешные шаги и женский вскрик, с чувством, похожим на отчаяние падающего в пропасть, он с судорожным усилием, как-то чересчур высоко и неловко взмахнул тонким хлыстом.

Но в то же мгновение Санин, быстро и коротко, но со страшной силой разгибая мускулы, ударил его кулаком в лицо.

– Так! – невольно вырвалось у Иванова.

Голова Зарудина бессильно мотнулась набок, и что-то горячее и мутное, мгновенно пронизавшее острыми иглами глаза и мозг, залило ему рот и нос.

– Аб... – сорвался у него болезненный испуганный звук, и Зарудин, роняя хлыст и фуражку, упал на руки, ничего не видя, не слыша и не сознавая, кроме сознания непоправимого конца и тупой, жгучей боли в глазу.

В тихой и полутемной аллее поднялась странная и дикая суматоха.

– Ай-ай! – пронзительно закричала Карсавина, схватываясь за виски и с ужасом закрывая глаза. Юрий, с тем же чувством ужаса и омерзения глядя на стоявшего на четвереньках Зарудина, вместе с Шафровым бросился к Санину. Волошин, теряя пенсне и путаясь в кустах, торопливо побежал прочь от аллеи, прямо по мокрой траве, и его белые панталоны сразу стали черными до колен. Данилов, стиснув зубы и яростно опустив зрачки, бросился на Санина, но Иванов сзади схватил его за плечи и отбросил назад.

– Ничего, ничего... пусть... – с отвращением, тихо и злобно весело сказал Санин, широко расставив ноги и тяжело дыша. На лбу у него выступили крупные капли тяжелого пота.

Зарудин поднялся, шатаясь и роняя какие-то жалкие бесвязные звуки опухшими, дрожащими и мокрыми губами. И в этих звуках неожиданно, неуместно и как-то смешно-противно послышались какие-то угрозы Санину. Вся левая сторона лица Зарудина быстро опухала, глаз закрылся, из носа и рта шла кровь, губы тряслись, и весь он дрожал, как в лихорадке, вовсе не похожий на того красивого и изящного человека, которым был минуту назад. Страшный удар как будто сразу отнял у него все человеческое и превратил его во что-то жалкое, безобразное и трусливое. Ни стремления бежать, ни попытки защищаться в нем не было. Стуча зубами, сплевывая кровь и дрожащими руками бессознательно очищая прилипший к коленям песок, он опять зашатался и упал.

– Какой ужас, какой ужас! – твердила Карсавина, стараясь как можно скорее уйти от этого места.

– Идем, – сказал Санин Иванову, глядя вверх, потому что ему было противно и жалко смотреть на Зарудина.

– Идемте, Соловейчик.

Но Соловейчик не двигался с места. Широко раскрытыми помертвелыми глазами он смотрел на Зарудина, на кровь и на песок, странно грязный на белоснежном кителе, тряся и нелепо шевелил губами.

Иванов сердито потянул его за руку, но Соловейчик с

неестественным усилием вырвался, ухватился обеими руками за дерево, точно его собирались куда-то тащить, и вдруг заплакал и закричал:

– Зачем вы... зачем!

– Какая гадость! – хрипло выговорил прямо в лицо Санину Юрий Сварожич.

Санин уже овладел собою и, не глядя на Зарудина, брезгливо улыбнулся и сказал:

– Да, гадость... А было бы лучше, если бы он меня ударил?

Он махнул рукой и быстро пошел по широкой аллее. Иванов презрительно посмотрел на Юрия и, закуривая папиросу, медленно поплелся за Саниным. Даже по его широкой спине и прямым волосам видно было, с каким пренебрежением ко всему происшедшему он относится.

– И сколько может быть зол и глуп человек! – проговорил он.

Санин молча оглянулся на него и пошел быстрее.

– Как звери! – с тоскою проговорил Юрий, уходя из сада и оглядываясь на его темную массу. Сад был таким же, каким видел он его много раз, задумчиво-темным и красивым, но теперь тем, что в нем произошло, он как бы отделился от всего мира и стал жутким и неприятным.

Шафров тяжело и растерянно вздохнул, поверх очков пугливо оглядываясь вокруг, точно ждал, что теперь уже отовсюду можно ждать нападения и насилия.

XXXI

Мгновенно и страшно изменилось лицо жизни Зарудина. Насколько легка, понятна и беззаботно приятна была она прежде, настолько безобразно ужасной и неодолимой предстала теперь. Точно она сбросила светлую улыбающуюся маску, и из-под нее выглянула хищная и страшная морда зверя.

Когда Танаров на извозчике вез его домой, Зарудин даже перед самим собою старался преувеличить боль и слабость, чтобы только не открывать глаз. Ему казалось, что это еще как-то отдалает позор, который со всех сторон тысячами глаз смотрит на него и ждет увидеть его взгляд, чтобы побежать за ним, хохоча, кривляясь и тыча пальцами прямо в лицо.

Во всем, и в худой спине синего извозчика, и в каждом прохожем, и в окнах, за которыми мерещились злорадно любопытные лица, и в самой руке Танарова, поддерживающей его за талию, избитому Зарудину чудилось молчаливое, но откровенное презрение. И это ощущение было так неожиданно и неистово мучительно, что по временам Зарудину и в самом деле становилось дурно. Тогда ему казалось, что он сходит с ума, и хотелось или умереть, или проснуться.

Мозг отказывался верить в то, что произошло, и все казалось, что это – не так, что есть какая-то ошибка, что он сам чего-то не понимает, а это что-то делает все совсем другим,

вовсе не таким ужасным и непоправимым. Но факт ясный и непреложный стоял перед ним, и душу его все чернее и чернее покрывала тьма отчаяния.

Зарудин чувствовал, что его поддерживают, что ему больно и неловко, что руки у него в пыли и крови, и ему даже странно было, что еще можно ощущать что-нибудь, что тело его не уничтожилось и продолжает дрянно и бессильно жить своим чередом, когда без следа, невозвратно исчезло все то, что составляло красивого, щеголеватого самоуверенного и веселого Зарудина.

Иногда, когда дрожки кренились на поворотах, Зарудин чуть-чуть приоткрывал глаз и сквозь мутные слезы узнавал знакомые улицы, дома, церковь, людей. Все было такое же, как всегда, но теперь казалось бесконечно далеко, чуждо и враждебно ему. Прохожие останавливались и с недоумением смотрели им вслед, и Зарудин опять быстро закрывал глаза, почти теряя сознание от стыда и отчаяния.

Дорога тянулась бесконечно, и ему казалось, что пытке этой не будет конца.

«Хоть бы скорей, хоть бы скорей!..» – тоскливо мелькало у него в голове, но тут же представлялись лица денщика, квартирной хозяйки, соседей, и казалось, что лучше уж уехать так, бесконечно ехать и никогда не открывать глаз.

А Танаров, мучительно стыдясь Зарудина и не глядя по сторонам, изо всех сил, какими-то непонятными способами старался показать каждому встречному, что он тут ни при

чем, что побили не его. Он был красен, холодно потен и растерян. Сначала он что-то говорил, возмущался, неестественно утешал, но потом замолчал и только сквозь зубы подгонял извозчика. По этому и по тому, как неверна была его не то поддерживающая, не то отстраняющая рука, Зарудин угадывал его чувства, и то, что этот ничтожный, всегда бывший бесконечно ниже его Танаров, вдруг получил право стыдиться его, дало последний и решительный толчок сознанию, что все кончено.

Зарудин не мог сам перейти двор, и его почти перенесли Танаров и выбежавший навстречу перепуганный денщик, у которого тряслись руки. Были ли еще люди на дворе – Зарудин не видел. Его уложили на диван и сначала не знали, что делать, нелепо торча перед ним и этим причиняя ему невероятные страдания. Потом денщик спохватился, засуетился, принес теплой воды, полотенце и бережно обмыл Зарудину лицо и руки. Зарудин боялся встретиться с ним глазами, но лицо солдата было вовсе не злорадно, не презрительно, не насмешливо, а только испуганно и жалостливо, как у старой доброй бабы.

– Где это их так, ваше благородие?.. Ах ты ж Боже мой! Как же так! – потихоньку причитывал он.

– Ну... не твое дело! – багровея, прикрикнул сквозь зубы Танаров и почему-то сейчас же робко оглянулся.

Он отошел к окну и машинально взялся за папиросу, но, подумав, можно или нет курить при Зарудине, незаметно су-

нул портсигар обратно в карман.

– Може, доктора позвать? – по привычке вытягиваясь во фронт, но, нисколько не пугаясь окрика, приставал к нему денщик.

Танаров в недоумении растопырил пальцы.

– А... не знаю, право... – совсем другим голосом ответил он и опять оглянулся.

Но Зарудин услышал и испугался, представив, что еще и доктор будет смотреть на его лицо.

– Никого... не надо!.. – неестественно слабым голосом, все стараясь уверить себя, что умирает, проговорил он.

Теперь, когда обмыли кровь и грязь с его лица, оно уже не было страшно, а только уродливо и жалко. Танаров с животным любопытством, мельком взглянул на него и сейчас же отвел глаза. Это почти незаметное движение, как и все, что теперь окружало Зарудина, болезненно-остро было им замечено, и отчаяние чуть не задушило его. Зарудин вдруг крепко зажмурил закрытый глаз и тонким надорванным голосом закричал:

– Оставьте... оставьте меня-а!

Танаров исподлобья испуганно покосился и вдруг обозлился нутряной презрительной злобой.

«Еще кричит!.. Туда же!..» – злорадно подумал он.

Зарудин затих и лежал неподвижно, с закрытыми глазами. Танаров тихо постучал пальцами по подоконнику, подергал себя за усы, оглянулся, опять посмотрев в окно и почувство-

вал нудное, холодное желание уйти.

«Неловко, черт!.. Подождать, пока заснет, что ли?.. а тогда можно...» – с враждебной тоской подумал он.

Так прошло с четверть часа, но Зарудин время от времени все шевелился. Танарову становилось невыносимо нудно. Наконец Зарудин совсем затих.

«Кажется, заснул! – неискренно подумал Танаров, незаметно оглядываясь на него. – Заснул...»

Он тихо тронулся, чуть-чуть звякнув шпорами. Зарудин быстро открыл глаза. На секунду Танаров задержался, но уже Зарудин понял его намерение, и Танаров понял, что Зарудин все понимает. И тут произошло между ними нечто странное и жуткое: Зарудин быстро закрыл глаза и притворился спящим, а Танаров, сам себя убеждая, что верит этому, и в то же время очевидно сознавая, что оба знают, в чем дело, как-то неловко согнулся и на цыпочках вышел из комнаты с чувством уличенного предательства, с сомнением и стыдом.

Дверь тихо затворилась, и что-то, что, казалось, было между ними так прочно, дружелюбно и постоянно, вдруг исчезло навсегда: и Зарудин, и Танаров почувствовали, что между ними встала навеки разъединившая пустота и что среди живых людей один из них уже не существует для другого.

Но в соседней комнате Танаров вздохнул свободнее и почувствовал себя опять легко и свободно. Ни сострадания, ни жалости к тому, что навсегда кончено все между ним и Зарудиным, с которым столько лет он прожил, у Танарова не

было.

– Слушай, ты, – торопливо оглядываясь по сторонам и спеша, точно выполняя последнюю формальность, сказал он денщику, – я теперь пойду, а ты, если что такое, так ты того... слышишь?

– Так точно, слушаю! – испуганно ответил солдат.

– Ну, так вот... Там... компрессы эти меняй почаще...

Он торопливо сошел с крыльца и опять облегченно вздохнул, выйдя за калитку на пустую и широкую улицу. Были уже полные сумерки, и Танаров был рад, что его горящего лица не видно проходим.

«А ведь, пожалуй, и я окажусь замешанным в эту скверную историю, – с внезапным холодом у сердца подумал он, поворачивая на бульвар. – А впрочем, при чем же тут я?» – успокаивал он себя, стараясь не помнить, что и он бросался на Санина и его самого так оттолкнул Иванов, что он чуть не упал.

«Ах, черт, какая скверность вышла! – сморщив все лицо, подумал Танаров, идя дальше. – А все этот дурак! – со злобой вспомнил он Зарудина. – Очень надо было связываться со всякой сволочью!.. Эх, паршиво!..»

И чем больше думал он о том, что вышло скверно и унижительно, тем больше его невысокая, с приподнятыми плечами и грудью, в узких рейтузах, щеголеватых сапогах и белеющем в сумерках кителе фигурка инстинктивно выпрямлялась, грозно подымая плечи и голову.

В каждом встречном ему чудилась насмешка, и достаточно было малейшего намека на это, чтобы нечто, напряженное до высшей степени, прорвалось и он, выхватив шашку, бросился бы рубить насмерть кого попало. Но встречных было мало, и те проходили быстро, плоскими силуэтами проскальзывая вдоль заборов темного бульвара.

Дома, уже успокаиваясь, Танаров опять вспомнил, как его отбросил Иванов.

«Почему я не дал ему по морде?.. Надо было прямо дать в морду!.. Жаль, шашка не отпущена!.. А то бы!.. А ведь у меня в кармане был револьвер! Вот он. Я мог его застрелить, как собаку. А?.. Я забыл про револьвер... Конечно, забыл, а то бы застрелил на месте, как собаку!.. А... хорошо все-таки, что забыл: убил бы... суд!.. А может быть, и у них был у кого-нибудь револьвер... и черт знает, из-за чего еще пострадал бы!.. А теперь никто не знает, что у меня был револьвер, и... понемногу все обойдется...»

Танаров осторожно, оглядываясь по сторонам, вынул из кармана револьвер и положил в ящик стола.

«Сегодня же надо явиться к полковнику и объяснить, что я тут ни при чем...» – решил он, звонко щелкая ключом.

Но сильнее этого решения явилось вдруг нервное, непреодолимое и даже как будто хвастливое желание пойти в клуб, рассказать всем, как очевидец.

В ярко освещенном, посреди темного города, военном клубе толпились возбужденные и громко возмущавшиеся

офицеры. Они уже знали об истории в саду и втайне злорадовались над всегда подавлявшим их своим блеском и шиком Зарудиным. Они встретили Танарова с животным любопытством, и Танаров, чувствуя себя почему-то героем вечера, подробно описывал всю сцену. В голосе его и темных узких глазах робко шевелилось сдерживаемое и несознаваемое мстительное чувство: весь гнет бывшего приятеля, история из-за денег, небрежное отношение, превосходство его как будто вымещалось Танаровым в этом бесконечном повторении и смаковании подробностей, как именно побили Зарудина.

А Зарудин совершенно одиноко, чужой всему миру, лежал у себя в комнате на диване.

Денщик, уже от кого-то узнавший, в чем дело, все с тем же испуганно жалостливым бабьим лицом поставил самовар, сбегал за вином и прогнал из комнаты ласкового веселого сеттера, очень обрадованного, тем, что Зарудин дома. Потом он на цыпочках опять вошел к барину.

– Ваше высочорodie... Вы бы винца испили, – чуть слышно предложил он.

– А? Что? – открывая и сейчас же закрывая глаза, спросил Зарудин, и – как ему казалось – унижительно, а на самом деле только жалко, сморщившись, сквозь зубы, с трудом шевеля распухшими губами, проговорил: – Зеркало... дай...

Денщик вздохнул, покорно принес зеркало и осветил свечой.

«Чего уж тут смотреть!» – неодобрительно подумал он.

Зарудин посмотрел в зеркало и невольно застонал. Из темной поверхности, багрово освещенное сбоку, глянуло на него одноглазое, налитое, синевато-красное и черное лицо, с нелепо взъерошенным светлым усом.

– А... возьми!.. – пробормотал Зарудин и вдруг истерически всхлипнул: – Воды... дай!..

– Ваше высочордие, чего так убиваетесь! Оно заживет... – жалостливо заговорил денщик, подавая воду в липком стакане, пахнущем холодным сладким чаем.

Зарудин не пил, а только возил зубами по краю стакана, разливая воду на грудь.

– Уйди! – выговорил он.

Ему показалось, что денщик, один во всем свете, жалеет его, но теплое чувство к солдату сейчас же подавилось невыносимым для него сознанием, что даже денщик может теперь жалеть его.

Солдат, моргая глазами, с видимым желанием заплакать, вышел на крыльцо, сел на ступеньку и, вздыхая, стал гладить мягкую волнистую спину подбежавшей собаки. Сеттер положил ему на колени слюнявую изящную морду и смотрел снизу вверх темными, непонятными, но как будто что-то говорящими глазами. Над садом сверкали блестящие безмолвные звезды. Солдату отчего-то стало грустно и страшно, точно в предчувствии страшной неотвратимой беды.

«Эх, жисть, жисть!» – горько подумал он и свернул мысль

на свою деревню.

Зарудин судорожно повернулся к спинке дивана и замер, не чувствуя сползшего ему на лицо согревшегося мокрого полотенца.

«Вот и кончено! – с внутренним рыданием повторял он. – Что кончено?.. Все, вся жизнь... все... пропала жизнь... Почему? Потому что я опозорен, потому что... побили, как собаку!.. Кулаком... по лицу!.. И нельзя оставаться в полку!..»

Необыкновенно отчетливо Зарудин увидел себя стоящим на четвереньках посреди аллеи, бессмысленно роняющим бессильные угрозы, жалкого, маленького. Все вновь и вновь переживал он этот странный момент, и все ярче и убийственнее вставал он перед ним. Все мелочи припоминались, точно освещенные электрическим светом, и почему-то эти нелепые угрозы и белое платье Карсавиной, промелькнувшее перед ним, именно когда он угрожал, было мучительнее всего.

«Кто меня поднял? – стараясь не думать и нарочно путая свои мысли, думал Зарудин. – Танаров?.. Или тот жиденок, что шел с ними?.. Танаров?.. А-а!.. Не в том дело... А в чем? В том, что вся жизнь испорчена и нельзя оставаться в полку. А дуэль?.. Не будет он драться все равно... нельзя будет оставаться в полку!..»

Зарудин вспомнил, как судом офицеров, в котором участвовал и он, выгнали из полка двух пожилых семейных офицеров, отказавшихся драться на дуэли.

«Так и мне предложат... Вежливо, не подавая руки, те са-

мые люди, которые... И уже никто не будет гордиться тем, что я возьму его на бульваре под руку, никто не будет мне завидовать и копировать мои манеры... Но это не то!.. Позор, позор, вот что главное!.. Почему позор? Ударили? Но ведь били же меня в корпусе!.. Тогда толстый Шварц ударил меня и выбил зуб и... ничего и не было!.. Потом помирились и до конца корпуса были лучшими друзьями!.. И никто меня не презирал! Почему же теперь не так? Не все ли равно; так же шла кровь, так же я упал... Почему?»

На этот полный безвыходной тоски вопрос не было ответа в уме Зарудина. Он только чувствовал, что какая-то мутная бездонная грязь накрыла его с головой и он неудержимо идет ко дну, ничего не видя и ничего не понимая вокруг.

«Если бы он согласился на дубль и попал мне в лицо пулей... Было бы еще большее и безобразнее, чем теперь ведь, а никто не презирал бы меня за это, а все бы жалели. Значит, между пулей и... кулаком... Какая разница? Почему?»

Мысль работала скачками. И в глубине ее, обостренное непоправимым несчастьем и пережитою мукою, начинало вырастать что-то новое, как будто когда-то бывшее, но забытое им в течение своей офицерской, легкой, пустой и шумливой жизни.

«Вот фон Дейц спорил со мною о том, что если ударят в левую щеку, надо подставить правую, а он же сам тогда пришел и кричал, махал руками, возмущался, что „тот“ отказался от дуэли!.. Ведь это, собственно, они виноваты, что я хо-

тел ударить хлыстом „того“... А вся моя вина в том, что я не успел ударить!.. Но это бессмысленно, несправедливо!.. А все-таки позор... и нельзя оставаться в полку!..»

Зарудин беспомощно схватился за голову, раскачивая ее по подушке и машинально следя за пустой томительной болью в глазу. Он вдруг почувствовал страшный, мучительный для него самого прилив злобы.

«Схватить револьвер, кинуться и убить... пуля за пулей. И пихать ногами в лицо, когда свалится... прямо в лицо, в зубы, в глаза!..»

С мокрым тяжелым звуком тяжело шлепнулся на пол компресс. Зарудин испуганно открыл глаза и увидел тускло освещенную комнату, таз с водой и мокрым полотенцем и черное жуткое окно, как черный глаз, загадочно смотрящий на него.

«Нет, все равно... это не поможет! – затихая в бессильном отчаянии, подумал он. – Все равно все видели, как меня били по лицу и как я стоял на четвереньках... Битый, битый. Получил по морде... И нельзя, нельзя вернуть!.. Никогда уже не буду я счастливым, свободным...»

Опять нечто острое и небывало ясное зашевелилось у него в мозгу.

«А разве я когда-нибудь был свободным? Ведь я потому и погибаю теперь, что жизнь моя была всегда не свободной, не своей... Разве бы я сам пошел на дуэль, стал бы разве бить хлыстом?.. И меня бы не побили, и было бы все хорошо,

счастливно... Кто и когда выдумал, что обиду надо смывать кровью? Ведь это не я! Вот и смыл... с меня смыли кровью... Что? Не знаю, но надо выходить из полка!..» Бессильная и неумелая мысль пробовала подняться и падала, как птица с подрезанными крыльями. И куда бы ни метался его ум, все возвращалось по кругу на то, что надо выходить из полка, что он навсегда опозорен.

Когда-то Зарудин видел, как муха, попавшая в густой плевок, мучительно карабкалась по полу, а за ней, склеивая лапки и крылья, ослепляя и удушая ее, тянулась отвратительная, беспощадная слизь. И очевидно было, что для нее все конечно, хотя она еще ползла, вытягивалась на лапках, выбивалась из сил. Тогда Зарудин, брезгливо содрогнувшись, отвернулся и теперь как будто не помнил, но какое-то тайное сознание, что-то похожее на бред напомнило ему эту несчастную муху. И потом, должно быть, был бред: вдруг не то вспомнил, не то ясно увидел Зарудин двух мужиков. Они ругались и дрались, и один ударил другого в ухо, а тот, седой, старый, упал, а потом встал и, утирая рукавом рубахи кровь, льющуюся из носа, сказал убежденно: «Вот и дурак!»

«Да это я видел когда-то! – окончательно вспомнил Зарудин и опять сознательно увидел полутемную глухую комнату и свечу на столе. – Потом еще они вместе пили у казенки...»

Он опять, должно быть, забылся, потому что свеча и комната куда-то пропали, но как будто не переставал думать и потом, вместе с вынырнувшей из мрака свечой, разобрал и

свою мысль:

«...Нельзя жить с таким позором... так. Значит, надо умирать! Но мне не хочется умирать, и кому это надо? Не мне!.. Репутация? Какое мне дело до репутации! Что значит репутация, когда надо умирать? Но ведь надо выйти из полка... А как жить потом?»

Что-то тусклое, непонятное и чужое представилось ему в будущем, и Зарудин бессильно отступил от него. Так каждый раз, когда страстная жажда жизни и счастья начинала что-то выяснять ему, туман, которым был покрыт мозг, спускался ниже, и снова Зарудин оказывался перед безвыходной пустотой.

Ночь проходила, и тяжелая тишина стояла за окном, точно во всем мире Зарудин жил и страдал один.

На столе, оплывая, горела свеча, и пламя ее, желтое и ровное, мертвенно спокойно струилось кверху. Зарудин блестящим от лихорадки и отчаяния глазом смотрел на огонь и не видел его, весь охваченный черным туманом бесконечно спутанных, бессильных мыслей.

Среди хаоса обрывков воспоминаний, представлений, чувств и дум одно было острее всего и звенящей нитью тоски проходило до самого сердца. Это было больное и жалобное сознание своего полного одиночества. Там где-то жили, радовались, смеялись, может быть, даже говорили о нем миллионы людей, а он был один. Тщетно вызывал Зарудин одно знакомое лицо за другим. Они вставали бледной, чуждой

и равнодушной чередой, и в их холодных чертах чудилось только злорадство и любопытство. Тогда Зарудин с робкой тоской вспомнил Лиду.

Она представилась ему такую, какую он видел ее в последний раз: с большими невеселыми глазами, с мягким слабым телом под домашней кофточкой, с распущенной косой. И в ее лице Зарудин не почувствовал ни злорадства, ни презрения. Оно смотрело на него с печальным укором, и что-то, что было возможно, мерещилось в ее невеселых глазах. Он припомнил ту сцену, когда отказался от нее в минуту ее величайшего горя. Острое, как нож, сознание невозвратимой потери до глубочайших струн пронизало душу Зарудина. «А ведь она, должно быть, страдала тогда еще больше, чем я теперь... А я оттолкнул... и даже хотел, чтобы она утопилась, умерла!...»

Как к последнему пристанищу, все существо его потянулось к ней в тоскливой жажде ее ласк и участия. На мгновение ему подумалось, что страдание, которое он переживает теперь, может искупить все прошлое; но Зарудин знал, что она никогда не придет, что все кончено, и полная пустота, как пропасть, открылась вокруг него.

Зарудин поднял руку, крепко положил ее на голову и замер, закрыв глаза, стиснув зубы, стараясь ничего больше не видеть, не слышать, не чувствовать. Но он скоро опустил руку, поднялся и сел. Голова мучительно кружилась, во рту горело, ноги и руки дрожали. Зарудин встал и, качаясь от го-

ловы, ставшей вдруг огромной и тяжелой, перешел к столу. «Все пропало, все пропало. И жизнь, и Лида, и все...»

Яркая молния небывало ясной мысли озарила его на одно мгновение: он вдруг понял, что в той жизни, которая исчезла, не было вовсе ничего красивого, хорошего и легкого, а все было спутано, загажено и глупо. Какого-то особенного, на все приятное имеющего права, прекрасного Зарудина тоже не было, а было только бессильное, робкое и распущенное тело, которое раньше наслаждалось, а теперь испытало боль и унижение. Когда слетел мираж удачи, открылся голый и бедный образ.

«Нельзя больше жить, – отчетливо подумал Зарудин, – чтобы жить снова, надо бросить все прежнее, начать жить как-то иначе, сделаться совсем другим человеком, а я не могу!..»

Зарудин тяжело уронил голову на стол и, зловеще освещенный заколебавшимся и приникшим к краям подсвечника пламенем свечи, застыл.

XXXII

В этот же вечер Санин один зашел к Соловейчику.

Совсем одиноко сидел еврейчик на крыльце своего флигеля и смотрел на унылый пустынный двор, по которому скучно, неведомо для кого змеились белые дорожки и вяла пыльная трава. Запертые амбары, с огромными ржавыми замками, тусклые окна мельницы и все это обширное пустое место, на котором, казалось, уже много лет прекратилась жизнь, навевали томительную, ноющую грусть.

Санина сразу поразило лицо Соловейчика: оно не улыбалось, не скалило как всегда угодливо зубки, но было скорбно и напряженно. Из темных еврейских глаз жутко и возбужденно смотрела какая-то затаенная мысль.

– А, здравствуйте, – равнодушно сказал он и, слабо пожав руку Санина, снова повернулся лицом к пустынному двору и погасающему небу, на котором все чернее вырисовывались мертвые крыши амбаров.

Санин сел на другом периле крыльца, закурил папиросу и долго молча смотрел на Соловейчика, угадывая в нем нечто особенное.

– Что вы тут делаете? – спросил он.

Соловейчик медленно перевел на него печальные глаза.

– А я тут... Мельница стала, а я в конторе служил... Я тут и жил. Все разъехались, а я себе остался.

– Вам, должно быть, жутко одному? Соловейчик помолчал.

– Все равно! – слабо махнул он рукой.

Долго было тихо, и в тишине слышалось одинокое позвякивание цепи в конуре под амбарами.

– Жутко не тут... – неожиданно громко, страстно и чересчур приходя в движение, вдруг заговорил Соловейчик. – Не тут! А вот тут и тут!..

Он показал себе на лоб и грудь.

– Что так? – спокойно спросил Санин.

– Послушайте, – еще громче и страстнее продолжал Соловейчик, – вот вы сегодня ударили человека и разбили ему лицо... и вы даже, может того быть, разбили ему жизнь... Вы, пожалуйста, не сердитесь на mine, что я так спрашиваю, потому что я очень много думал... Я вот тут сидел и думал, и mine стало очень нехорошо... Вы, пожалуйста, mine отвечайте!

На мгновение обычная угодливая улыбочка искривила его лицо.

– Спрашивайте, о чем хотите, – улыбнулся Санин. – Вы боитесь меня обидеть, что ли? Этим меня обидеть нельзя. Что я сделал, то и сделал... если бы я думал, что сделал скверно, я бы и сам сказал...

– Я хотел вас спросить, – возбужденно заговорил Соловейчик, – вы себе представляете, что, может, вы совсем убили того человека?

– Я в этом почти и не сомневаюсь, – ответил Санин, – такому человеку, как Зарудин, трудно иначе выпутаться, как покончив или со мной, или с собой... Но со мной он... психологический момент упущен: он был слишком разбит, чтобы идти меня убивать сейчас же, а потом уже духу не хватит... Дело его кончено!

– И вы себе спокойно говорите это?

– Что значит «спокойно»? – возразил Санин. – Я не могу спокойно смотреть, как курицу режут, а тут все-таки человек... Бить тяжело... Правда, все-таки чуточку приятна собственная сила, а все-таки скверно... Скверно, что так грубо вышло, но совесть моя спокойна. Я – это только случайность; Зарудин погибает потому, что вся жизнь его была направлена по такому пути, на котором не то удивительно, что один человек погиб, то удивительно, как они все не погибли! Люди учатся убивать людей, холить свое тело и совершенно не понимают, что и к чему они делают... Это сумасшедшие, идиоты! А если выпустить на улицу сумасшедших, они все перережут... Чем я виноват, что защищался от такого сумасшедшего?

– Но вы его убили! – упрямо повторил Соловейчик.

– А это уж пусть апеллирует к Господу Богу, который свел нас на такой дороге, на которой нельзя было разойтись.

– Но вы могли его удержать, схватить за руки!.. Санин поднял голову.

– В таких случаях не рассуждают, да и что бы из того вы-

шло? Закон его жизни требовал мести во что бы то ни стало... Не век же мне его за руки держать!.. Для него это еще одно лишнее оскорбление, и только!..

Соловейчик странно развел руками и замолчал.

Тьма незаметно надвигалась отовсюду. Полоса зари, резко обрезанная краями черных крыш, становилась все дальше и холоднее. Под амбарами столпились жуткие черные тени, и по временам казалось, что там толпятся загадочные и страшные некто, пришедшие на всю ночь занять своей таинственной жизнью этот пустой и заброшенный двор. Должно быть, их бесшумные шаги беспокоили Султана, потому что он вдруг вылез из будки и сел, тревожно загремев цепью.

– Может быть, вы правы, – тоскливо заговорил Соловейчик, – но разве это так всегда необходимо... А может быть, лучше было бы вам самому перенести удар...

– Как лучше? – сказал Санин. – Удар перенести всегда скверно! Зачем же... с какой стати?..

– Нет, вы послушайте mine! – торопливо перебил Соловейчик и даже умоляюще протянул руку. – Может быть, это было бы лучше!..

– Для Зарудина – конечно.

– Нет, и для вас... и для вас... вы себе подумайте!

– Ах, Соловейчик, – с легкой досадой сказал Санин, – это все старые сказки о нравственной победе! И притом это сказка очень грубая... Нравственная победа не в том, чтобы непременно подставить щеку, а в том, чтобы быть правым

перед своею совестью. А как эта правота достигается – все равно, это дело случая и обстоятельств... Нет ужаснее рабства, а рабство – это самое ужасное в мире, – если человек до мозга костей возмущается насилием над ним, но подчиняется во имя чего-либо сильнее его.

Соловейчик вдруг взялся за голову, но в темноте уже не видно было выражения его лица.

– У меня слабый ум, – ноющим голосом проговорил он, – я себе не могу понять теперь ничего и не совсем знаю, как надо жить!..

– А зачем вам знать? Живите, как птица летает: хочется взмахнуть правым крылом – машет, надо обогнуть дерево – огибает...

– Но ведь то птица, а я человек! – с наивной серьезностью сказал Соловейчик.

Санин расхохотался, и его веселый мужественный смех наполнил мгновенной жизнью все уголки темного пустыря. Соловейчик послушал его, а потом покачал головой.

– Нет, – скорбно проговорил он, – и вы мне не научите, как жить! Никто не научит мне, как жить!..

– Это правда, жить никто не научит: искусство жить – это тоже талант. А кто этого таланта не имеет, тот или сам гибнет, или губит свою жизнь, превращая ее в жалкое прозябание без света и радости.

– Вот вы теперь спокойны и так говорите, будто вы себе все знаете... А... вы не сердитесь, пожалуйста, на mine...

вы всегда такой были? – с жгучим любопытством спросил Соловейчик.

– Ну нет, – качнул головой Санин, – правда, у меня и всегда было много спокойствия, но были времена, когда я переживал самые разнообразные сомнения... Было время, когда я сам серьезно мечтал об идеале христианского жития...

Санин задумчиво помолчал, а Соловейчик, вытянув шею, как бы ожидая чего-то для себя непостижимо важного, смотрел на него.

– Я тогда был на первом курсе, и был у меня товарищ, студент-математик Иван Ланде. Это был удивительный человек, непобедимой силы и христианин не по убеждению, а по природе. В своей жизни он отразил все критические моменты христианства: когда его били, он не защищался, прощал врагам, шел ко всякому человеку, как к брату, «могий вместить» – вместил отрицание женщины как самки... вы помните Семенова?

Соловейчик кивнул головой с наивной радостью. Это было для него непостижимо важно: в знакомой обстановке, среди знакомых людей вдруг нарисовался ему образ, о котором туманно было его представление, но который влек его, как бабочку во тьме ночи яркое пламя свечи. Он весь загорелся вниманием и ожиданием.

– Ну так вот... Семенову тогда было страшно плохо, а жил он в Крыму на уроки. Там в одиночестве и предчувствии смерти он впал в мрачное отчаяние. Ланде об этом узнал и,

конечно, решил, что он должен идти спасать погибающую душу... И буквально пошел: денег у него не было, занять ему, как «блаженному», никто не давал, и он пошел пешком за тысячу верст! Где-то в дороге и пропал, положив, таким образом, и душу за други своя...

– А вы... скажите мне, пожалуйста! – весь приходя в движение, вскричал Соловейчик, экстатически блестя глазами. – А вы признаете этого человека?

– О нем много было споров в свое время, – задумчиво отвечал Санин, – одни вовсе не считали его христианином и на этом основании отвергали; другие считали его просто блаженным с известным налетом самодурства; другие отрицали в нем силу на том основании, что он не боролся, не стал пророком, не победил, а, напротив, вызвал только общее отчуждение... Ну, а я смотрю на него иначе. Тогда я находился под его влиянием до глупости! Дошло до того, что однажды мне один студент дал в морду... сначала у меня в голове все завертелось, но Ланде был тут, и как раз я на него взглянул... Не знаю, что произошло во мне, но только я молча встал и вышел... Ну, во-первых, я этим потом страшно и, надо думать, довольно глупо гордился, а во-вторых, студента этого возненавидел всеми силами души. Не за то, что он меня ударил, это бы еще ничего, а за то, что мой поступок как нельзя больше послужил ему в удовольствие. Совершенно случайно я заметил, в какой фальши болтаюсь, раздумался, недели две ходил как помешанный, а потом перестал гордиться

свою ложной нравственной победой, а студента того, при его первой самодовольной насмешке, избил до потери сознания. Между мной и Ланде произошел внутренний разрыв. Я стал яснее смотреть на его жизнь и увидел, что она страшно несчастна и бедна!

– О, что же вы говорите! – вскричал Соловейчик. – Вы разве можете себе представить богатство его переживаний!

– Эти переживания были однообразны: счастье его жизни состояло в том, чтобы безропотно воспринять всякое несчастье, а богатство в том, чтобы все больше и глубже отказываться от всякого богатства жизни! Это был добровольный нищий и фантаст, живущий во имя того, что ему самому не было вовсе известно.

– Вы не знаете, как вы меня терзаете! – вскрикнул Соловейчик, неожиданно заломив руки.

– Однако вы какой-то истеричный, Соловейчик! – удивленно заметил Санин. – Я ничего особенного не говорю! Или этот вопрос очень наболел в вас...

– Очень! Я теперь все думаю и думаю, и голова у mine болит... Неужели все это была ошибка?... Я себе, как в темной комнате... и никто mine не может сказать, что делать!.. Для чего же живет человек? Скажите вы mine!

– Для чего? Это никому не известно!..

– А разве нельзя жить для будущего? Чтобы хотя потом был у людей золотой век...

– Золотого века никогда не может быть. Если бы жизнь

и люди могли уллучиться мгновенно, это было бы золотое счастье, но этого быть не может! Улучшение приходит по незаметным ступеням, и человек видит только предыдущую и последующую ступени... Мы с вами не жили жизнью римских рабов или диких каменного века, а потому и не сознаем счастья своей культуры; так и в этом золотом веке человек не будет сознавать никакой разницы со своим отцом, как отец с дедом, а дед с прадедом... Человек стоит на вечном пути и мстит путь к счастью, все равно что к бесконечному числу присчитывать новые единицы...

– Значит, все пустота? Значит, «ничего» нету?

– Я думаю. Ничего.

– Ну, а ваш Ланде? Ведь вот же вы...

– Я любил и люблю Ланде, – серьезно сказал Санин, – но не потому, что он был таков, а потому, что он был искренен и на своем пути не останавливался ни перед какими преградами, ни смешными, ни страшными... Для меня Ланде был ценен сам по себе, и с его смертью исчезла и ценность его.

– А вы не думаете, что такие люди облагораживают жизнь? А у таких людей являются последователи... А?

– Зачем ее облагораживать? Это – раз. А второе то, что следовать этому нельзя. Ланде надо родиться. Христос был прекрасен, христиане – ничтожны.

Санин устал говорить и замолчал. Молчал и Соловейчик, молчало и все кругом, и только, казалось, мерцающие вверху звезды ведут какой-то нескончаемый безмолвный разговор.

Вдруг Соловейчик что-то зашептал, и шепот его был странен и жуток.

– Что такое? – вздрогнув, спросил Санин.

– Вы скажите мне, – забормотал Соловейчик, – вы мне скажите, что вы думаете... если человек не знает, куда ему идти, и все думает, все думает, и все страдает, и все ему страшно и непонятно. Может, тому человеку лучше умереть?

– Что ж, – нахмурившись в темноте, сказал Санин, ясно и остро понимая то, что невидимо тянулось к нему из темной души еврейчика. – Пожалуй, лучше умереть... Нет смысла страдать, а жить вечно все равно никто не будет. Жить надо только тому, кто в самой жизни видит уже приятное. А страдающим – лучше умереть.

– Вот и я так себе думал! – с силой вскрикнул Соловейчик и вдруг цепко схватил Санина за руку.

Было совсем темно, и в сумраке лицо Соловейчика казалось белым, как у трупа, а глаза смотрели пустыми черными впадинами.

– Вы мертвый человек, – с невольной тревогой в душе сказал Санин, вставая, – и, пожалуй, мертвецу самое лучшее и вправду – могила... Прощайте...

Соловейчик как будто не слышал и сидел неподвижно, как черная тень с мертвым белым лицом. Санин помолчал, подождал и тихо пошел. У калитки он остановился и прислушался. Все было тихо, и Соловейчик чуть-чуть чернел на крыль-

це, сливаясь со мраком. Неприятное томительное предчувствие заползло в сердце Санина.

«Все равно! – подумал он. – Что так жить, что умереть... Да и не сегодня-завтра».

Он быстро повернулся и, с визгом отворив калитку, вышел на улицу.

На дворе по-прежнему было тихо.

Когда Санин дошел до бульвара, вдали послышались тревожные странные звуки. Кто-то, гулко топоча ногами, быстро бежал во мраке ночи, не то причитая, не то плача на бегу. Санин остановился. Черная фигура родилась во мраке и все ближе, ближе бежала на него. И почему-то Санину опять стало жутко.

– Что такое? – громко спросил он.

Бегущий человек на минуту остановился, и Санин близко увидел испуганное глуповатое солдатское лицо.

– Что случилось? – тревожно крикнул он.

Но солдат что-то пробормотал и побежал дальше, гулко топоча ногами и не то причитывая, не то плача. Ночь и тишина поглотили его как призрак.

«Да ведь это денщик Зарудина!» – вспомнил Санин, и вдруг твердая красная мысль отчетливо и как-то кругло вылилась в мозг: «Зарудин застрелился!..»

Легкий холод тронул виски Санина. С минуту он молча глядел в тусклое лицо ночи, и казалось, между тем загадочным и страшным, что было в ней, и им, высоким, силь-

ным человеком, с твердым взглядом, произошла короткая и страшная, молчаливая борьба.

Город спал, белели тротуары, чернели деревья, тупо глядели темные окна, храня глухую тишину.

Вдруг Санин встряхнул головой, усмехнулся и посмотрел перед собой ясными глазами.

– Не я в этом виноват, – громко сказал он... – Одним больше, одним меньше!..

И пошел вперед, высокою тенью чернея во мраке.

XXXIII

Так скоро, как все узнается в маленьком городке, все узнали, что два человека в один и тот же вечер лишили себя жизни.

Юрию Сварожичу об этом сообщил Иванов, придя к нему днем, когда Юрий только что вернулся с урока и сел рисовать портрет Ляли. Она позировала в легкой светлой кофточке, с голой шейкой и просвечивающими розовыми руками. Солнце светило в комнату, золотыми искорками зажигало вокруг головки Ляли пушистые волосы, и она была такой молоденькой, чистенькой и веселой, точно золотая птичка.

– Здравствуйте, – сказал Иванов, входя и бросая шляпу на стул.

– А... Ну что нового скажете?.. – спросил Юрий, приветливо улыбаясь.

Он был настроен довольно и радостно и оттого, что наконец нашел урок и чувствовал себя уже не на шее у отца, а на собственных ногах, и от солнца, и от близости счастливой, хорошенькой Ляли.

– Много, – сказал Иванов с неопределенным выражением в серых глазах, – один удавился, другой застрелился, а третьего черти взяли, чтоб не волочился!

– То есть? – удивился Юрий.

– Третьего я уж от себя, для вящего эффекта прибавил, а

два точно... Сегодня ночью застрелился Зарудин, а сейчас, говорят, Соловейчик повесился... вот!

– Да не может быть! – вскрикнула Ляля, вскакивая, вся белая, розовая и золотая с испуганными, но сияющими от любопытства глазами.

Юрий с удивлением и испугом поспешно положил палитру и подошел к Иванову.

– Вы не шутите?

– Какие уж тут шутки! – махнул рукой Иванов.

Как и всегда, он старался придать себе философски равнодушный вид, но заметно было, что ему и жутко, и неприятно.

– Отчего же он застрелился? Оттого, что его Санин ударил? А Санин знает? – наивно цепляясь за Иванова, захлебываясь, спрашивала Ляля.

– Очевидно, так... Санин знает еще с вечера, – отвечал Иванов.

– Что же он? – невольно спросил Юрий.

Иванов пожал плечами. Ему уже не раз приходилось спорить с Юрием о Санине, и он уже заранее раздражался.

– Ничего... А ему-то что же? – с грубой досадой возразил он.

– Все-таки он причиной! – заметила Ляля, делая значительное лицо.

– Ну так что же из того!.. Вольно ж тому дураку было лезть. Санин тут не виноват. Все это очень прискорбно, но

всецело должно быть отнесено к глупости самого Зарудина.

– Ну, положим, причины тут глубже, – возразил Юрий угрюмо, – Зарудин жил в известной среде...

– И то, что он жил в такой дурацкой среде, и то, что подчинился ей, свидетельствует только о том, что он и сам дурак! – пожал плечами Иванов.

Юрий промолчал, машинально потирая пальцы. Ему было как-то неприятно говорить так об умершем, хотя он и не знал почему.

– Ну хорошо... Зарудин – это понятно, а Соловейчик... вот никогда не думала! – высоко поднимая брови, нерешительно заговорила Ляля. – Почему же он?

– А Бог его знает, – сказал Иванов, – он всегда был какой-то блаженный.

В это время разом приехал Рязанцев и пришла Карсавина. Они встретились у ворот, и еще на крыльце был слышен высокий, недоумевающе вопросительный голос Карсавиной и веселый, игриво шуточный голос Рязанцева, каким он всегда говорил с красивыми молодыми женщинами.

– Анатолий Павлович «оттуда», – с выражением тревожного интереса сказала Карсавина, первая входя в комнату.

Рязанцев вошел, смеясь, как всегда, и еще на ходу закуривая папиросу.

– Ну и дела! – сказал он, наполняя всю комнату голосом, здоровьем и самоуверенным весельем. – Эдак у нас в городе скоро и молодежи не останется!

Карсавина молча села, и ее красивое лицо было расстроено и недоуменно.

– Ну повествууйте, – сказал Иванов.

– Да что, – подымая брови, как Ляля, и все смеясь, но уже не так весело, заговорил Рязанцев. – Только что вышел вчера из клуба, вдруг бежит солдат... Их высокородие, говорит, застрелились... Я на извозчика и туда... Приезжаю, а там уже чуть не весь полк... лежит на кровати, китель нараспашку...

– А куда он стрелял? – любопытно повиснула у него на руке Ляля.

– В висок... пуля пробила череп, вот тут... и ударилась в потолок...

– Из браунинга? – почему-то спросил Юрий.

– Из браунинга... Скверная картина. Мозгом и кровью даже стена забрызгана, а у него еще и лицо все изуродовано... да!.. А это ужас, как он его хватил!..

И опять засмеявшись, Рязанцев пожал плечами.

– Крепкий мужчина!

– Ничего парень, здоровый! – почему-то самодовольно кивнул головой Иванов.

– Безобразие! – брезгливо сморщился Юрий. Карсавина робко посмотрела на него.

– Но ведь он, по-моему, не виноват, – заметила она, – не ждатель же ему было...

– Да... – неопределенно поморщился Рязанцев, – но и так бить!.. Ведь предлагали же ему дуэль...

– Удивительно! – возмущенно пожал плечами Иванов.

– Нет, что ж... дуэль – глупость, – раздумчиво отозвался Юрий.

– Конечно, – быстро поддержала Карсавина.

Юрию показалось, что она рада возможности оправдать Санина, и ему стало неприятно.

– Но все-таки и так... – не зная, что, унижающее Санина, придумать, возразил он.

– Зверство, как хотите! – подсказал Рязанцев.

Юрий подумал, что сам-то Рязанцев недалеко ушел от сытого животного, но промолчал и был даже рад, что Рязанцев стал спорить с Карсавиной, резко осуждая Санина.

Карсавина, поймав на лице Юрия неприятное выражение, замолчала, хотя ей в глубине души нравилась сила и решительность Санина и казалось совсем неправильным то, что говорил Рязанцев о культурности. И так же, как Юрий, она подумала, что не Рязанцеву говорить об этом.

Но Иванов рассердился и стал спорить.

– Подумаешь! Высокая степень культурности: отстрелить человеку нос или засадить в брюхо железную палку!

– А лучше кулаком по лицу бить?

– Да уж, по-моему, лучше! Кулак – что! От кулака какой вред! Выскочит шишка, а опосля и ничего... От кулака человеку никакого несчастья!..

– Не в том же дело!

– А в чем? – презрительно скривил плоские губы Ива-

нов. – По-моему, драться вообще не следует... зачем безобразие чинить! Но уж ежели драться, так по крайности без особого членовредительства!.. Ясное дело!..

– Он ему чуть глаз не выбил! – с иронией вставил Рязанцев. – Хорошо – «без членовредительства»!

– Глаз, конечно... Ежели глаз выбит, то от этого человеку вред, но все-таки глаз супротив кишки не выстоит никак! Тут хоть без смертоубийства!..

– Однако Зарудин-то погиб!

– Ну так это уж его воля!

Юрий нерешительно крутил бородку.

– Я, в сущности, прямо скажу, – заговорил он, и ему стало приятно, что он скажет совершенно искренно, – для меня лично это вопрос нерешенный... и я не знаю, как сам поступил бы на месте Санина. Драться на дуэли, конечно, глупо, но и драться кулаками не очень-то красиво!

– Но что же делать тому, кого вынудят на это? – спросила Карсавина.

Юрий печально пожал плечами.

– Нет, кого жаль, так это Соловейчика, – помолчав, заметил Рязанцев, но самодовольно-веселое лицо его не соответствовало словам.

И вдруг вспомнили, что даже не спросили о Соловейчике, и почему-то всем стало неловко.

– Знаете, где он повесился? Под амбаром, у собачьей будки... Спустил собаку с цепи и повесился...

Одновременно и у Карсавиной, и у Юрия в ушах послышался тонкий голос: «Султан, тубо!..»

– И оставил, понимаете, записку, – продолжал Рязанцев, не удерживая веселого блеска в глазах. – Я ее даже списал... человеческий документ ведь, а?

Он достал из бокового кармана записную книжку.

– «Зачем я буду жить, когда сам не знаю, как надо жить. Такие люди, как я, не могут принести людям счастья», – прочел Рязанцев и совершенно неожиданно неловко замолчал.

В комнате стало тихо, точно прошло много людей, чья-то бледная и печальная тень. Глаза Карсавиной налились крупными слезами, Ляля плаксиво покраснела, а Юрий, болезненно усмехнувшись, отошел к окну.

– Только и всего, – машинально прибавил Рязанцев.

– Чего же еще «больше»? – вздрогнувшими губами возразила Карсавина.

Иванов встал и, доставая со стола спички, пробормотал:

– Глупость большая, это точно!

– Как вам не стыдно! – возмущенно вспыхнула Карсавина.

Юрий брезгливо посмотрел на его длинные прямые волосы и отвернулся.

– Да... Вот вам и Соловейчик, – опять, с веселым блеском в глазах, развел руками Рязанцев. – Я думал, так – дрянь одна, с позволения сказать, жиденок, и больше ничего! А он на! Прямо не от мира сего оказался... Нет выше любви, как кто душу свою положит за други свои!

– Ну он положил не за други!.. – возразил Иванов.

«И чего ломается... тоже!! А сам животное!» – подумал он, с ненавистью и презрением покосившись на сытое гладкое лицо Рязанцева и почему-то на его жилетку, обтянувшуюся складочками на плотном животе.

– Это все равно... Порыв чувствуется...

– Далеко не все равно! – упрямо возразил Иванов, и глаза у него стали злыми. – Слякоть, и больше ничего!..

Какая-то странная ненависть его к Соловейчику неприятно подействовала на всех. Карсавина встала и, прощаясь, интимно, как бы влюбленно доверяясь, шепнула Юрию:

– Я уйду... он мне просто противен!..

– Да, – качнул головой Юрий, – жестокость удивительная!.. За Карсавиной ушли Ляля и Рязанцев. Иванов задумался, молча выкурил папиросу, злыми глазами поглядел в угол и тоже ушел.

Идя по улице и по привычке размахивая руками, он думал раздраженно и злобно:

«Это дурачье воображает, конечно, что я не понимаю того, что они понимают! Удивительно!.. Знаю я, что они чувствуют, – лучше их самих! Знаю, что нет больше любви, когда человек жертвует жизнью за ближнего, но повеситься оттого, что не пригодился людям, это уж... ерунда!»

И Иванов, припоминая бесконечный ряд прочитанных им книг, и Евангелие прежде всего, стал искать в них тот смысл, который объяснял бы ему поступок Соловейчика так, как

ему хотелось. И книги, как будто послушно разворачиваясь на тех страницах, которые были ему нужны, мертвым языком говорили то, что ему было надо. Мысль его работала напряженно и так сплелась с книжными мыслями, что он уже сам не замечал, где думает он сам, а где вспоминает читанное.

Придя домой, он лег на кровать, вытянул длинные ноги и все думал, пока не заснул. А проснулся только поздно вечером.

XXXIV

Когда под звуки трубной музыки хоронили Зарудина, Юрий из окна видел всю эту мрачную и красивую процессию, с траурной лошадью, траурным маршем и офицерской фуражкой, сиротливо положенной на крышку гроба. Было много цветов, задумчиво грустных женщин и красиво печальной музыки. А ночью в этот день Юрию стало особенно грустно.

Вечером он долго гулял с Карсавиной, видел все те же прекрасные влюбленные глаза и прекрасное тело, тянувшееся к нему, но даже и с ней ему было тяжело.

– Как странно и страшно думать, – говорил он, глядя перед собой напряженными темными глазами, – что вот Зарудина уже нет... Был офицер, такой красивый, веселый и беззаботный, и казалось, что он будет всегда... что ужас жизни, с ее муками, сомнениями и смертью, для него не может существовать... что в этом нет никакого смысла. И вот один день – и человек смят, уничтожен в прах, пережил какую-то ему одному известную страшную драму, и нет его и никогда не будет!.. И фуражка эта на крышке гроба...

Юрий замолчал и мрачно посмотрел в землю. Карсавина плавно шла рядом, внимательно слушала и тихо перебирала полными красивыми руками кружево белого зонтика. Она не думала о Зарудине и всем богатым телом своим радовалась

близости Юрия, но, бессознательно подчиняясь и угождая ему, делала грустное лицо и волновалась.

– Да, так было грустно смотреть!.. И музыка эта такая!

– Я не обвиняю Санина! – вдруг упрямо прорвался Юрий. – Он и не мог иначе поступить, но тут ужасно то, что пути двух людей скрестились так, что или один, или другой должны были уступить... ужасно то, что случайный победитель не видит ужаса своей победы... стер человека с лица земли и прав...

– Да, прав... вот и... – не дослышав, оживилась Карсавина так, что даже ее высокая грудь заколыхалась.

– Нет... а я говорю, что это ужасно! – перебил Юрий с ненавистью ревности, искоса поглядев на ее грудь и оживленное лицо.

– Почему же? – робко спросила Карсавина, страшно смутившись. И как-то сразу глаза ее потухли, а щеки порозовели.

– Потому что для другого это было бы тягчайшим страданием... сомнениями, колебаниями... Борьба душевная должна быть, а он как ни в чем не бывало!.. «Очень жаль, говорит, но я не виноват!..» Разве дело в одной вине, в прямом праве!..

– А в чем же? – нерешительно и тихо спросила Карсавина, низко опустив голову и, видимо боясь его рассердить.

– Не знаю в чем, но зверем человек не имеет права быть! – жестко и со страданием в голосе резко выкрикнул Юрий.

Они долго шли молча. Карсавина страдала от того, что отдалилась от Юрия и на мгновение утеряла милую, теплую до глубины души, особенную связь с ним, а Юрий чувствовал, что у него вышло спутанно, неясно, и страдал от тяжелого тумана на сердце и от самолюбия.

Он скоро ушел домой, оставя девушку в мучительном состоянии неудовлетворенности, страха и беззащитной обиды.

Юрий видел ее растерянность, но почему-то это доставляло ему болезненное наслаждение, точно он вымещал на любимой женщине чью-то тяжкую обиду.

А дома стало невыносимо скверно.

За ужином Ляля рассказала, что Рязанцев говорил, будто мальчишки на мельнице, подглядывая, как вынимали из петли Соловейчика, кричали через забор:

– Жид удавился!.. Жид удавился!..

Николай Егорович кругло хохотал и заставлял Ляльку повторять.

– Так – «жид удавился»!..

Юрий ушел к себе, сел поправлять тетрадку своего ученика и подумал с невыразимой ненавистью: «Сколько зверства еще в людях!.. Можно ли страдать и жертвовать собой за это тупое, глупое зверье!..»

Но тут он вспомнил, что это нехорошо, и устыдился своей злобы.

«Они не виноваты... они „не ведают, что творят“!.. Но ведают или не ведают, а ведь звери же, сейчас-то – звери же!» –

подумал он, но постарался не заметить этого и стал вспоминать Соловейчика.

«Как одинок все-таки человек; вот жил этот несчастный Соловейчик и носил в себе страдающее за весь мир, готовое на всякую жертву великое сердце... И никто... даже я... – с неприятным уколом мелькнуло у него в голове, – не замечали его, не ценили, а, напротив, почти презирали его! А почему? Потому только, что он не умел или не мог высказаться, потому что был суетлив и немного надоедлив. А в этой суетливости и в надоедливости и сказывалось его горячее желание ко всем приблизиться, всем помочь и угодить... Он был святой, а мы считали его дураком!...»

Чувство вины так болезненно томило душу Юрия, что он бросил работу и долго ходил по комнате, весь во власти смутных, неразрешимых и больших дум. Потом он сел за стол, взял Библию и, раскрыв ее наугад, прочел то место, которое читал чаще других и на котором смял и растрепал листы.

«Случайно мы рождены и после будем, как не бывшие; дыхание в ноздрях наших – пар, а слово – искра в движениях нашего сердца».

«Когда она угаснет, тело обратится в прах и дух рассеется, как жидкий воздух».

«И имя наше забудется со временем, и никто не вспомнит о делах наших; и жизнь наша пройдет, как след облака, и рассеется, как туман, разогнанный лучами солнца и отягченный теплотою его».

«Ибо жизнь наша – прохождение тени, и нет нам возврата от смерти, ибо положена печать и никто не возвращается».

Юрий не стал дальше читать, потому что там говорилось о том, что нет смысла думать о смерти, а надо наслаждаться жизнью, как юностью, а этого он не мог понять, и это не отвечало его больным мыслям.

«Как это верно, ужасно и неизбежно!» – думал он о прочитанном, стараясь представить себе, как дух его рассеется после смерти. И не мог.

«Это ужасно! Вот я сижу здесь, живой, жаждущий жизни и счастья, и читаю свой неотвержимый смертный приговор... Читаю и не могу даже протестовать!»

Мысль эту и в этих самых словах Юрий много раз продумывал и читал в книгах. И утомительная своею сознаваемой им однообразной слабостью, она еще больше расстроила и измучила его.

Юрий взял себя за волосы и с отчаянием в душе закачался из стороны в сторону, точно зверь в клетке. С закрытыми глазами и бесконечной усталостью в сердце он обратился к кому-то. Обратился со злобой, но без силы, с ненавистью, но тупой, с мольбой, но не признаваемой им самим.

– Что сделал тебе человек, что ты так издеваешься над ним? Почему ты, если есть, скрылся от него? Зачем ты сделал так, что если бы я и поверил бы в тебя, то не поверил бы в свою веру? Если бы ты ответил, я не поверил бы, что это ты, а не я сам!.. Если я прав в своем желании жить, то зачем ты

отнимаешь у меня право, которое сам дал!.. Если тебе нужны страдания – пусть!.. Ведь мы принесли бы их из любви к тебе! Но мы даже не знаем, что нужнее – дерево или мы...

Для дерева даже есть надежда!.. Оно и срубленное может пустить корни, ростки и ожить! А человек умрет и исчезнет!.. Лягу и не встану, и никогда, никогда не узнают, что со мной случилось... Может быть, я опять буду жить, но ведь я этого не знаю... Если бы я знал, что хоть через миллиарды, через миллиарды миллиардов лет я буду опять жить, я бы во все века этого времени терпеливо и безропотно ждал бы в вечной тьме... Он опять стал читать.

«Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем».

«Род приходит и род уходит, а земля пребывает вовеки».

«Всходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит».

«Идет ветер к югу и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои».

«Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, – и нет ничего нового под солнцем».

«Нет памяти о прежнем; и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после».

«Я, Екклесиаст, был царем над Израилем»...

– Я, Екклесиаст, был царем!.. – громко и даже грозно повторил Юрий с непонятной ему самому тоской. Но испугался своего голоса и оглянулся. Не слышал ли кто? Потом взял

лист бумаги и полумашинально, как бы поддаваясь несознаваемой потребности, стал писать, думая о том, что все чаще и чаще приходило ему в голову:

– «Я начинаю эту записку, которая должна закончиться с моей смертью»...

– Фу, какая пошлость! – с отвращением сказал он и так оттолкнул бумагу, что она слетела со стола и, легко кружась, упала на пол.

«А вот Соловейчик, маленький жалкий Соловейчик, не сказал себе, что это пошлость, когда убедился, что не может понять жизни...»

Юрий не заметил, что он ставит себе в пример того человека, которого сам называет маленьким и жалким.

«Ну что ж... И я чувствую, что рано или поздно кончу тем же... Потому что нет другого исхода... Почему нет? Потому ли...»

Юрий остановился, он прекрасно, как ему казалось, знал – что, и только что думал об этом, но теперь вовсе не находил слов, чтобы ответить себе. В душе его точно что-то сразу ослабло. Мысль упала и потерялась.

– Чушь, все чушь! – со злобой громко сказал Юрий. Лампа почти вся уже выгорела и догорала тусклым неприятным светом, слабо выделяя из темноты небольшой круг возле головы Юрия.

«Почему я не умер тогда еще, когда был ребенком и болел воспалением легких? Было бы мне теперь хорошо, спо-

койно...»

И в ту же секунду Юрий представил себя умершим тогда и испугался так, что все в нем замерло.

«Значит, я не увидел бы и того, что видел?... Нет, это тоже ужасно...»

Юрий тряхнул головой и встал.

«Так можно с ума сойти...»

Он подошел к окну и толкнул его, но ставень, прихваченный болтом, не подался. Юрий взял карандаш и с усилием протолкнул болт.

Что-то сильно загремело снаружи, ставень легко и мягко отворился, и в окно ворвался чистый и прохладный воздух. Юрий тупо посмотрел на небо, на котором была уже заря.

Утро было чистое и прозрачное. Уже бледное голубое небо сильно розовело с одного края. Семь звезд Большой Медведицы побледнели и спустились вниз; большая, нежно-голубая и будто хрустальная утренняя звезда тихо сияла ярким влажным блеском над алевшей зарей. Резкий холодноватый ветерок потянул с востока, и белый утренний пар легкими волнистыми струйками поплыл от него над темно-зеленой росистой травой сада, цепляясь за высокие лопухи и белую кашку, над прозрачной, слегка зарябившейся водой реки, над зелеными листьями кувшинчика и белых лилий, которых было много у берегов. Прозрачное голубое небо все покрылось грядами воздушных, загорающихся розовым огнем тучек; одинокие и совсем бледные звезды неза-

метно и бесследно тонули и исчезали в бездонной синеве. От реки все тянул влажный беловатый туман, медленно, полосами плыл над глубокой и холодной водой, переливался между деревьями в сырую и зеленую глубину сада, где еще царил легкий и прозрачный сумрак. Во влажном воздухе, казалось, стоял какой-то странный серебристый звук.

Все было так красиво и тихо, точно влюбленная земля, вся обнажившись, готовилась к великому и полному наслаждения таинству – приходу солнца, которого еще не было, но свет которого, легкий и розовый, уже трепетал над нею.

Юрий лег спать, но свет беспокоил его, голова болела, и перед глазами что-то болезненно мелко-мелко мигало.

XXXV

Рано утром, когда солнце светило низко и ярко, Иванов и Санин вышли из города.

Под солнцем роса блестела и искрилась огоньками, а в тени трава казалась седою от нее. По краям дороги, под тощенькими старыми вербами уже плелись в монастырь богомольцы, и их красные и белые платки, лапти, юбки и рубахи пестро мелькали в просветах солнца сквозь щели плетня. В монастыре звонили, и омытый утренней свежестью звон удивительно чисто гудел над окрестною степью, должно быть долетая до тех еще тихих лесов, что синели, как марево, на самом краю горизонта. По дороге резко и отрывисто пере-званивал колокольчик обратной тройки и слышны были грубые деловитые голоса богомольцев.

– Рано вышедши! – заметил Иванов. Санин бодро и весело смотрел вокруг.

– Подождем, – сказал он.

Они сели под плетнем, прямо на песок, и с наслаждением закурили.

Шедшие за возами в город мужики оглядывались на них; бабы и девки, трясшиеся в пустых телегах, чего-то смеялись и показывали на них друг другу насмешливо-веселыми глазами. Иванов не обращал на них никакого внимания, а Санин пересмеивался с ними, и вся дорога ожила звонким жен-

ским смехом.

Начинало парить.

Наконец на крыльцо винной монополии, небольшого белого дома с яркой зеленой крышей, вышел сиделец, высокий человек в жилетке. Зевая и гремя замками, он отпер дверь. Баба в красном платке юркнула за ним.

– Путь указан! – провозгласил Иванов. – Идем, что ль? Они пошли и купили водки, а у той же бабы в красном платке – свежих зеленых огурцов.

– Э, да ты, друг, богатый человек! – заметил Иванов, когда Санин достал кошелек.

– Аванс! – засмеялся Санин. – К великому стыду своей маменьки, нанялся письмоводителем к страховому агенту... и капитал, и материнскую обиду приобрел сразу...

– Ну, теперь не в пример способнее! – сказал Иванов, когда они опять вышли на дорогу.

– Да-а... А что, если еще и сапоги снять?

– Вали!

Они оба разулись и пошли босиком. Ноги глубоко уходили в теплый мягкий песок и приятно разминались после узких тяжелых сапог. Теплый песок пересыпался между пальцами и не тер, а нежил ногу.

– Хорошо, – сказал Санин с наслаждением.

Солнце парило все сильнее и сильнее. Они вышли из города и пошли вдоль дороги. Даль курилась и таяла, голубая и прозрачная. На столбах, пересекших дорогу, гудел телеграф,

и на тонкой проволоке чинно сидели ласточки. Мимо по насыпи промчался, убавляя ходу, пассажирский поезд, с синими, желтыми и зелеными вагонами. В окнах и на площадках виднелись заспанные, помятые лица. Они смотрели и исчезали. На самой задней площадке стояли две девушки, в светлых шляпках и с молодыми, свежими от утреннего воздуха задорными лицами. Они упорно и с удивлением проводили глазами веселых босых мужчин. Санин смеялся им и приплясывал по песку, высоко блестя голыми пятками. Потом потянулся луг, где трава была густая и влажная, и по ней тоже было приятно и весело идти босыми ногами.

– Благодать! – сказал Иванов.

– Умирать не надо, – согласился Санин.

Иванов искоса поглядел на него: ему почему-то показалось, что при этом Санин должен вспомнить Зарудина, хотя уже прошло много времени со дня его похорон. Но Санин, очевидно, никого не вспомнил, и это было странно, но нравилось Иванову.

За лугом опять пошла дорога, с теми же возами, мужиками и смеющимися бабами. Потом показались деревья, осока и стала видна блестящая под солнцем вода и монастырская гора, на которой золотой звездой блестел крест.

На берегу стояли разноцветные лодки и сидели, в жилетках и цветных рубашках, мужики, у которых Санин и Иванов взяли лодку, после долгого, веселого и шутивного торга.

Иванов сел на весла, Санин взял руль, и лодка быстро и

легко поплыла вдоль берега, мелькая в тени и свету и оставляя за собой узенькие и плавные полосы серебристой волны. Иванов греб быстро и хорошо, частыми ровными ударами, от которых лодка вздрагивала и приподымалась, как живая. Иногда весла с шорохом задевали за ветки, и они долго и задумчиво колыхались над темной прибрежной глубиной. Санин, с удовольствием сильно налегая на рулевое весло, так что вода с радостным шумом забурлила и запенилась, круто поворотил лодку в узкий проход между нависшими кустами, где было глубоко, сыро, прохладно и темно. Вода была тут чистая-пречистая, и видны были в ней на сажень желтые камушки и красноперые быстрые рыбки, стайками снующие туда и сюда.

– Самое подходящее место, – сказал Иванов, и голос его весело отдался под темными ветками.

Лодка с тихим скрипом пристала к густой траве берега, с которого вспорхнула какая-то беззвучная птичка, и Иванов выскочил на берег.

– На земле весь род людской!.. – запел он могучим басом, от которого всколыхнулся и загудел воздух.

Санин, смеясь, выскочил за ним и быстро, по колено утопая в сочной живой траве, взбежал на высокий берег.

– Лучше не найти! – закричал он.

– И искать не надо: под солнцем везде хорошо... – ответил Иванов снизу и стал вытаскивать из лодки водку, огурцы, хлеб и узелок с закуской.

Все он перенес на мягкий бугорок под стволом большого дерева и разложил на траве.

– Лукулл обедает у Лукулла, – сказал он.

– И он счастлив, – закончил Санин.

– Не совсем, – возразил Иванов с шутливым огорчением, – рюмку забыли.

– Тьфу, – весело сказал Санин. – Ну ничего, мы сделаем...

И ровно ни о чем не думая, а только наслаждаясь светом, теплом, зеленью и своими быстрыми ловкими движениями, он полез на дерево и, выбрав еще зеленую не закоренелую ветку, стал вырезать ее ножом. Мягкое сочное дерево легко поддавалось усилиям, и маленькие белые пахучие стружки и кусочки сыпались на зеленую траву. Иванов, подняв голову, смотрел на него, и от такого положения ему было так легко и славно дышать, что он все время радостно улыбался.

Ветка хрустнула и мягко свалилась на траву. Санин спрыгнул с дерева и стал долбить из ветки стаканчик, стараясь не попортить коры. Стаканчик выходил ровный и красивый.

– Я, брат, думаю выкупаться опосля, – сказал Иванов, внимательно глядя на его работу.

– Дело хорошее, – весело согласился Санин, ковырнул ножом и подбросил готовый стаканчик на воздух.

Они сели на траву и стали с аппетитом пить водку и есть зеленые, пахучие и сочные огурцы.

Был уже полдень. Солнце стояло высоко, и было жарко везде, даже в тени.

– Не могу! – сказал Иванов. – Душа просит!

Он не умел плавать и, быстро раздевшись, влез в воду на самом мелком и прозрачном месте, где ясно было видно светло-желтое ровное песчаное дно.

– Ух, ладно, – говорил он, подпрыгивая и далеко разбрасывая блестящие брызги.

Санин, не торопясь и глядя на него, разделся и бегом вбежал в воду, подпрыгнул, ухнул и поплыл через реку.

– Утонешь, – кричал Иванов.

– Не утону, – весело фыркая и смеясь, отозвался Санин. Их веселые голоса далеко и радостно разносились по светлой реке и зеленому лугу.

Потом они вылезли и валялись голые в мягкой свежей траве.

– Славно!.. – говорил Иванов, поворачивая к солнцу свою широкую спину с блестящими на ней мелкими капельками воды. – Построим здесь две кущи...

– А ну их к черту! – весело закричал Санин. – И без кущи славно, кущи-то всякие давно надоели!

– Ух-а! Трык-брык! – закричал Иванов, выделывая какие-то дикие и веселые па.

Санин, хохоча во все горло, стал против него и принялся выделывать то же самое.

Голые тела их блестели на солнце, и мускулы быстро и сильно двигались под натянутой кожей.

– Ух! – запыхался Иванов.

Санин еще потанцевал один, потом перекувыркнулся через голову.

– Иди, а то всю водку выпью, – крикнул ему Иванов. Одевшись, они доели огурцы и допили водку.

– Теперь бы пивка холодного... ха-арошо! – мечтательно сказал Иванов.

– Поедем.

– Валяй.

Они наперегонки сбежали с берега к лодке и быстро поплыли.

– Парит, – сказал Санин, счастливо жмурясь на солнце и разваливаясь на дне лодки.

– Будет дождь, – отозвался Иванов, – правь же... черт!..

– Догребешь и сам, – возразил Санин.

Иванов брызнул на него веслом, и светлые прозрачные брызги, насквозь пронизанные солнцем, каскадом разлетелись вокруг.

– И за то спасибо, – сказал Санин.

Когда они проезжали мимо одного из зеленых островов, слышались веселые взвизги, плеск и звонкий радостный женский смех. День был праздничный, и из города много народа понаехало гулять и купаться.

– Девицы купаются, – сказал Иванов.

– Пойдем посмотрим, – сказал Санин.

– Увидят.

– Нет, мы тут пристанем и пойдем по осоке...

– А ну их, – слегка покраснев, сказал Иванов.

– Пойдем.

– Да соромно, – шутливо пожал плечами Иванов.

– Чего?

– Да... оно ж девицы. Нехорошо...

– Дурень ты, – сказал Санин, смеясь, – ведь ты б с удовольствием посмотрел.

– Да ежели девица и того... то кому же оно...

– Ну, так и пойдем...

– Да оставь...

– Тьфу! – сказал Санин. – Нет ни одного мужчины, который бы не хотел видеть красивую голую женщину... и даже такого нет, который хоть раз бы в жизни хоть мельком бы не посмотрел, а...

– Оно так, – согласился Иванов, – а все-таки... ты б уж, если так рассуждаешь, и шел бы прямо, а то прячешься!

– Так прелести, друг, больше, – весело сказал Санин.

– Оно, конечно, весьма это приятно... А ты сдерживайся...

– Ради целомудрия?

– А хотя бы...

– Да не хотя бы, а больше ведь не для чего!

– Ну, пусть.

– Ну... Да ведь в тебе и во мне этого целомудрия нет...

– Если око тебя соблазняет, вырви его, – сказал Иванов.

– Не городи глупостей, как Сварожич, – засмеялся Са-

нин. – Бог дал тебе око, зачем же его рвать?

Иванов, улыбаясь, пожал плечами.

– Так-то, брат, – направляя к берегу лодку, сказал Саннин. – Вот если бы в тебе при виде голой женщины и желания никакого не появлялось, ну тогда был бы ты целомудренный человек... И я бы первый твоему целомудрию удивлялся бы... хотя бы и не подражал и, весьма возможно, свез бы тебя в больницу... А если все это внутри у тебя есть и наружу рвется, а ты его только сдерживаешь, как собаку на дворе, так цена твоему целомудрию – грош!

– Оно точно, только ежели не сдерживаться... то иной человек может бед натворить!..

– Каких бед? Если сладострастие и ведет иногда к беде, так не оно, само по себе, в этом виновато...

– Оно, положим... ты не изъясняй!

– Ну так идем?..

– Да я разве что...

– Дурень ты, вот что... Иди тише! – улыбаясь, сказал Саннин. Они почти ползком проползли по душистой траве, тихо раздвигая звенящую осоку.

– Гляди, брат! – восторженно сказал Иванов. Купались какие-то барышни, судя по цветным кофточкам, юбкам и шляпкам, ярко пестревшим на траве. Одни были в воде, брызгались, плескались и смеялись, и вода мягко обливала их круглые нежные плечи, руки и груди. Одна высокая, стройная, вся пронизанная солнцем, от которого казалась

прозрачной, розовая и нежная, во весь рост стояла на берегу и смеялась, и от смеха весело дрожали ее розовый живот и высокие девичьи крепкие груди.

– О, брат! – сказал Санин с серьезным восторгом. Иванов с испугом полез назад.

– Чего ты?

– Тише... это Карсавина!

– Разве? А я даже не узнал... Какая же она прелестная! – громко сказал Санин.

– Н-да, – широко и жадно улыбаясь, сказал Иванов.

В это время их услышали и, должно быть, увидели. Раздался крик и смех, и Карсавина, испуганная, стройная и гибкая, бросилась им навстречу и быстро погрузилась в прозрачную воду, над которой осталось только ее розовое с блестящими глазами лицо.

Санин и Иванов, торопясь и путаясь в осоке, счастливые и возбужденные, побежали назад.

– А-ах... хорошо жить на свете! – сказал Санин, широко потягиваясь, и громко запел:

Из-за острова на стрежень,
На простор речной волны!..

Из-за зеленых деревьев еще долго слышался торопливый, смущенный и радостный смех женщин, которым была стыдно и интересно.

– Будет гроза, – сказал Иванов, посмотрев вверх, когда они вернулись к лодке.

Деревья уже потемнели, и тень быстро поплыла по зеленому лугу.

– Тю-тю, брат... беги!

– Куда? Не убежишь, – весело прокричал Санин.

Туча тихо и без ветра подходила ближе и ближе и уже сделалась свинцовой. Все притихло и стало пахучее и темнее.

– Вымочит на славу, – сказал Иванов. – Дай закурить с горя.

Слабый огонек загорелся, и было что-то странное в его слабом желтом свете под свинцовой мглой, надвигавшейся сверху. Порыв ветра неожиданно рванул, закрутился и зашумел, сорвав огонек. Крупная капля разбилась о лодку, другая шлепнулась на лоб Санину; и вдруг защелкало по листьям и зашумело по воде. Все сразу потемнело, и дождь хлынул, как из ведра, покрыв все звуки своим чудным водяным звуком.

– И это хорошо, – сказал Санин, поводя плечами, на которых сразу облипла мокрая рубаша.

– Недурно, – ответил Иванов, но сидел, как мокрый сыч.

Туча не редела, но дождь так же быстро ослабел и уже неровно кропил мокрую зелень, людей и воду, по которой прыгали стальные гвоздики. В воздухе было мрачно, и где-то за лесом блестела молния.

– Ну что ж... домой, что ли? – сказал Иванов.

– Все равно, можно и домой.

Они выехали на широкую темную воду, над которой низко и тяжело клубилась тяжелая туча. Молнии сверкали все чаще, и отсюда были видны их грозные огни, прорезывавшие черное небо. Дождь совсем перестал, и в воздухе стало сухо и тревожно пахнуть грозой. Какие-то черные и встрепанные птицы торопливо пролетели низко над самой водой. Деревья стояли темные и неподвижные, четко вырезываясь на свинцовом небе.

– Ух-ух, – сказал Иванов.

Когда они шли по песку, плотно убитому дождем, все затемнело и притихло.

– Ну сейчас и хватит же!

Туча клубилась все ниже и ниже, опускаясь на землю зловещим беловатым брюхом.

И вдруг опять с новой силой рванул ветер, закружил пыль и листья, и все небо разодралось пополам со страшным треском, блеском и грохотом.

– Ого-го-го! – закричал Санин, стараясь перекрыть потрясающий гул, наполнивший все вокруг. Но голос его не был слышен даже самому.

Когда вышли в поле, уже стало совершенно темно. Только когда сверкала молния, из тьмы вырывались их шагающие по гладкому песку резкие темные фигуры. Все гремело и грохотало.

– О...а...о!.. – закричал Санин.

– Что? – изо всех сил крикнул Иванов.

Молния засверкала, и он увидел счастливое, с блестящими глазами лицо.

Иванов не расслышал. Он немного боялся грозы.

Когда опять сверкнула молния, всем существом ощущая жизнь и силу, Санин раскинул руки и во все горло долго и протяжно и счастливо закричал навстречу грому, с гулом и грохотом перекатывающемуся по небу из конца в конец могучего простора.

XXXVI

Солнце светило ярко, как весной, но уже было что-то осеннее в неуловимой кроткой тишине, прозрачно стоявшей между деревьями, то тут то там тронутыми желтыми умирающими красками. И в этой тишине одинокие птичьи голоса звучали разрозненно, и гулко разносилось торопливое жужжание больших насекомых, зловеще носящихся над своим погибающим царством, где трав и цветов уже не было, а бурьяны выросли высоко и дико.

Юрий медленно бродил по дорожкам сада и большими глазами, остановившимися в глубокой думе, так смотрел вокруг – на небо, на желтые и зеленые листья, на тихие дорожки и стеклянную воду, – точно видел все это в последний раз и старался запомнить, вобрать в себя так, чтобы уже никогда не забыть.

Печаль мягко крыла сердце, и причины ее были смутны. Все чудилось, будто с каждым мигом все дальше уходит нечто драгоценное, что могло быть, но не было и не будет никогда. И больно чувствовалось, что по собственной вине. Не то это была молодость и ее молодое счастье, которого он не взял, а оно не повторится; не то огромная заветная деятельность, прошедшая почему-то мимо него, хотя одно время он и стоял у самого центра ее. Как это случилось, Юрий не мог понять. Он был убежден, что в глубине его природы

таятся силы, пригодные для сломки целых скал мировых, и ум, охватывающий горизонты шире, чем у кого-либо на свете. Откуда являлась такая уверенность, Юрий не мог сказать и постыдился бы громко заявить о ней кому бы то ни было, хотя бы и самому близкому человеку, но уверенность была, и тогда даже, когда он ясно чувствовал, что скоро устает, что многого не смеет и может только раздумывать над жизнью, стоя в стороне.

«Ну что ж... – думал Юрий, печально глядя на воду, в которой зеркально стояли опрокинутые берега, убранные желтым и красным кружевом. – Быть может, это и есть самое лучшее, самое умное!»

Заманчиво красивым показался ему образ человека, полного ума и чуткости, раздумчиво стоящего в стороне от жизни, с иронически грустной улыбкой следя бессмысленную суету обреченных на смерть. Но было в этом что-то пустое; в глубине души хотелось, чтобы кто-нибудь видел и понимал, как красив Юрий в этой позе стоящего над жизнью, и скоро Юрий поймал себя на самоутешении и с горьким чувством устыдился.

Тогда, чтобы избавиться от тяжелого сознания, Юрий в тысячу первый раз стал говорить себе, что какова бы то ни была жизнь и кто бы ни был виноват в ее ошибках, в конце концов весь ее громоздкий и как будто грандиозный поток скромно и глупо уходит в черную дыру смерти, а там уже нет оценки, как и почему жил человек.

«Не все ли равно, умру ли я народным трибуном, величайшим ученым, глубочайшим писателем, или просто праздничношающим, тоскующим русским интеллигентом? Все ерунда!» – тяжело подумал Юрий и повернул к дому.

Ему стало уж чересчур тоскливо в прозрачной тишине золотого дня, где отчетливее слышались даже собственные мысли и слишком чувствовалось медленное, но верное отшествие прошлого.

«Вон, Ляля бежит, – подумал Юрий, увидев что-то розовое и веселое, шая мелькавшее за зелеными и желтыми кустами. – Счастливая Лялька!.. Живет, как бабочка, сегодняшним днем, ничего ей не надо... Ах, если бы я мог так жить!»

Но эта мысль была только на поверхности: его ум, его тоска, его мучения и раздумия, от которых он так болезненно страдал, казались Юрию необычайной редкостью и драгоценностью, поменяться которою на мотыльковую жизнь Ляли было бы невозможно.

– Юра, Юра! – звонко певучим голосом крикнула Ляля, хотя была уже в трех шагах, и, вся расцветая улыбкой шаловливого заговорщика, молча подала ему узкий розовый конверт.

– От кого? – что-то почуяв, недоброжелательно спросил Юрий.

– От Зиночки Карсавиной, – торжественно и вместе с тем таинственно провозгласила Ляля и тут же погрозила ему

пальцем.

Юрий страшно покраснел. Ему показалось, что в этом передавании записок через сестру, в розовом конверте и запахе духов, что-то пошлое и сам он, счастливый адресат, в достаточной мере смешон. Он вдруг сразу съежился и как будто выставил во все стороны колючие перья. А Ляля, идя с ним рядом, с той особой восторженностью, с которым сентиментальные сестры принимают участие в свадьбах любимых братьев, начала щебетать о том, что она очень любит Карсавину и очень рада и еще больше будет счастлива, когда они поженятся.

Несчастное слово «поженятся» густой краской и злым выражением глаз отразилось на Юрии. Провинциальный роман, с розовенькими записочками, сестрами-поверенными, с законным браком, хозяйством, супругой и детишками, встал перед ним именно в той пошлой, тряпично пуховой сиротности, которой он боялся больше всего на свете.

– Ах, оставь, пожалуйста... что за глупости! – почти с ненавистью отмахнулся он от Ляли, и вышло это так грубо, что Ляля обиделась.

– Чего ты ломаешься... ну влюблен и влюблен, что ж тут такого! – надув губы, сказала она и, с бессознательной женской мстительностью попадая в самое больное место, прибавила:

– Не понимаю, чего ради вы все из себя необыкновенных героев корчите!

Она махнула розовым хвостом, пренебрежительно показала ажурные чулочки и ушла в дом, как оскорбленная принцесса.

Юрий злобно проводил ее черными жесткими глазами, еще больше покраснел и разорвал конверт.

«Юрий Николаевич, если можете и хотите, приходите сегодня в монастырь. Я буду там с тетей. Она говеет и не выходит из церкви. А мне скучно и о многом хотелось бы с вами поговорить. Приходите. Это, может быть, очень дурно, что я вам пишу, но вы все-таки приходите».

Забыв обо всем, о чем он думал, Юрий в странном волнении какой-то физической радости прочел эту записку. В одной коротенькой фразе вдруг необыкновенно ярко почувствовалась молоденькая чистая девушка, доверчиво и наивно открывающая свою любовную тайну. Как будто она уже пришла, бессильная, боязливая, любящая и уже не может бороться, ничего не знает, что будет, и отдается вся в его руки. Неожиданная близость конца захватывающим трепетом истомно наполнила все тело Юрия. Так близко и уже неизбежно почувствовал он своими женскую молодость, в первый раз обнаженное, еще стыдливое и чистое тело, запах женских волос, испуганные и счастливые глаза, в светлых, как росинки, слезах.

Он попытался иронически улыбнуться, но ничего не вышло, все потонуло в таком взмахе жадного счастья, что Юрию показалось, будто он как птица взлетел над верхуш-

ками сада в голубой, напоенный солнцем простор.

И весь день сердце его было светло, а в теле чувствовал он столько силы, что каждое движение доставляло ему свежее и полное наслаждение.

Перед вечером он взял извозчика, чтобы не идти по песку, и поехал в монастырь, бессознательно конфузясь всего мира и улыбаясь ему же.

На пристани он перешел в лодку, и здоровый потный мужик быстро повез его к горе.

Юрий все не мог понять, что, собственно, он переживает, и только когда лодка вышла из путаницы узких проливов на широкую воду и она, мягко дыша в лицо влажным запахом глубины, вдруг развернулась перед ним, Юрий сознательно понял, что счастлив и что счастье принес ему наивный розовый конверт.

«Что ж... не все ли равно, в сущности говоря... – счел нужным успокоить себя Юрий, – она жила в таком миреке... Уездный роман? Ну и пусть роман!..»

Ритмически журча и облизывая края лодки, бежала мимо вода, и зеленая гора, со своим особым дыханием, полным сумрака и сырости леса, быстро вырастала навстречу. Зашуршал песок, буйно зашумела набежавшая за лодкой волна и отхлынула назад. Юрий вылез из лодки, конфузясь, дал лодочнику полтинник и побрел наверх.

Уже шел по лесу тихий вечер, и тени его ложились далеко под гору. От земли подымалась задумчивая сырость, жел-

тые листья скрадывались сумраком, и лес казался опять летним, зеленым и густым. Наверху, в монастырской ограде, было чисто и тихо, как в церкви. Тополы стояли ровно и строго, точно на молитве, и между ними неслышными вечерними тенями ходили длинные черные монахи. В темной впадине церковных дверей мерцали молитвенные огоньки. Неуловимо-тонкий запах свивался вокруг, и нельзя было разобрать: пахнет ли это давним ладаном или увядающими листьями тополей?

– А, здравствуйте, Сварожич! – заорал кто-то сзади. Юрий быстро оглянулся и увидел Шафрова, Санина, Иванова и Петра Ильича. Они шли через двор темной и шумной гурьбой. Черные монахи беспокойно оглядывались на них, и даже тополи как будто потеряли свою молитвенную неподвижность, смущенные внезапным шумом и движением.

– А мы тут того! – сказал Шафров, подходя к Юрию, перед которым он благоговел, и дружелюбно заглядывая ему в глаза своими круглыми очками.

– Дело хорошее, – принужденно пробормотал Юрий.

– Может, и вы с нами? – подходя еще ближе, просительно сказал Шафров.

– Нет, спасибо, право... Я тут не один, – отказался Юрий, нетерпеливо отодвигаясь.

– Ну чего там! – возразил Иванов, с грубоватым добродушием хватая его под руку. – Идем!

Юрий недружелюбно уперся, и они немножко смешно по-

тягали друг друга в разные стороны.

– Нет, ей-богу, не могу!.. Потом я, может быть, найду... – все принужденнее повторял Юрий, которому показалось, что это аминокосшонское тягание совершенно неуместно и унижительно для него.

– Ну ладно... – ничего не заметив, выпустил его Иванов. – Так мы вас будем ждать... Заходите!

– Хорошо, хорошо...

Они ушли из ограды, смеясь и размахивая руками, и опять стало благоговейно, тихо, как на молитве. Юрий снял фуражку и со смешанным чувством насмешки и робости вошел в церковь.

Сейчас же, как только он обогнул одну из темных колонн, Юрий в сумраке увидел Карсавину, в ее серой кофточке и круглой соломенной шляпке, придававшей ей вид гимназистки. Сердце вздрогнуло в нем, и эта дрожь была похожа и на испуг птицы, и на дрожь кошки перед прыжком. Все в ней показалось ему как-то вкусно милым, – и ее кофточка, и шляпа, и черные волосы, жгутом свитые на затылке, над белой шеей, и вид гимназистки, трогательно обаятельный в такой высокой, полной, взрослой девушке.

Она почувствовала Юрия, оглянулась, и ее темные глаза, оставаясь скромно серьезными, в глубине отразили испуганную радость.

– Здравствуйте, – сказал он, понижая голос, но все-таки слишком громко, и не зная, можно ли здесь подать руку или

нельзя.

Ближние богомолки оглянулись на них, и Юрий смутился их черных пергаментных лиц. Он покраснел, а Карсавина, как будто угадывая его смущение и с материнским чувством приходя на помощь, чуть-чуть улыбнулась и нежно погрозила влюбленными глазами. Юрий блаженно улыбнулся и замер.

Карсавина не смотрела на него и часто крестилась, но Юрий все время «знал», что она чувствует только его присутствие, и это образовывало между ними тайную тягучую связь, от которой билось и замирало сердце, и все вокруг казалось таинственным и чудным.

Темное лицо церкви – с ее странными, поющими и читающими голосами, мерцающими, как ночники, огоньками, тяжелыми вздохами и одинокими гулками шагами у входа – смотрело на Юрия важными, строгими глазами, и среди темной и строгой тишины он отчетливо слышал свое маленькое, легко и бодро бьющееся сердце.

Он стоял тихо, смотрел на белую шею под черными волосами, на мягкий изгиб талии, чувствуящейся под серой кофточкой, и порой ему становилось так хорошо, что сердце умилялось. И тогда ему хотелось стоять так, чтобы все видели, что хотя он и не верит здесь ничему – ни пенью, ни чтению, ни огонькам – но и не питает к ним ничего, кроме добродушного дружелюбия. И Юрий сам отметил свое настроение, столь не похожее на ту тоскливую злобу, которая была

утром.

«Так, значит, можно быть счастливым? – внутренне улыбаясь, спросил он и сейчас же серьезно ответил: – Конечно!.. Все, что я думал о смерти, о бессмысленности жизни, об отсутствии разумной цели и прочее, все это действительно совершенно правильно и разумно, но все-таки счастливым быть можно... И я счастлив, и именно благодаря этой удивительной девушке, которую я еще так недавно совсем не знал...»

Юрию пришла в голову забавная мысль о том, что когда-то, когда они были маленькими смешными мальчиком и девочкой, они могли где-нибудь встречаться, смотрели друг на друга и расходились, не подозревая, что составят друг для друга самое дорогое на свете, будут любить друг друга, и она для него будет раздеваться голой...

Последняя мысль пришла в голову как-то неожиданно, и Юрию стало так стыдно, но вместе с тем и хорошо, что он покраснел до корней волос и долго боялся смотреть на нее.

А она, уже обнажаемая мысленно, стояла впереди милая и чистая в своей серой кофточке и круглой шляпке и молилась без слов, чтобы он любил ее так нежно и страстно, как она его.

Должно быть, что-то очищающее передавалось от нее к нему, потому что бесстыдные мысли куда-то ушли, и в душе Юрия стало тихо и чисто.

И слезы умиления и любви тепло выступили на глазах

Юрия. Он поднял их вверх, увидел золото иконостаса, искорками поблескивающее от свечных огоньков, а еще выше – две перекладины креста, и с давно забытым чувством и непривычным напряжением мысленно крикнул:

«Господи, если Ты есть, дай, чтобы эта девушка любила меня и я всегда любил ее так же, как сейчас!»

Ему стало немножко стыдно своего порыва, но на этот раз он только снисходительно улыбнулся над собой.

«Это ведь только... так!» – подумал он.

– Пойдемте, – тихо, почти шепотом, похожим на вздох, позвала его Карсавина.

Они чинно вышли на паперть с тишиной в душе, точно унося с собой все эти тихо поющие и громко читающие голоса, вздохи и мерцания огоньков, рядом прошли ограду и через старую калитку вышли на обрыв горы. Здесь никого не было, и старая белая стена с облупившимися башенками отделила их от всех людей. У ног их по обрыву кудрявились верхушки дубов, а далеко внизу блестела ровная, как стекло, река и уходила вдаль, за темный горизонт, зеленые луга и поля.

Они молча дошли до самого края обрыва и остановились, не зная, что им делать. Чего-то они боялись и не смели. И, казалось, никогда бы у них не хватило силы сказать и сделать, но Карсавина подняла голову, и как-то совсем неожиданно и просто вышло так, что губы ее встретили губы Юрия. Карсавина вся побледнела, забилась и замерла, а Юрий молча об-

нял ее, в первый раз почувствовав в своей руке теплое, гибкое тело. Тихо стало кругом, и им показалось, что весь мир замер в торжественной и напряженной тишине.

Должно быть, в ушах зазвенело, но Юрию показалось, что невидимый и неслышимый колокол властно ударил час встречи.

Потом она вырвалась, улыбнулась и побежала назад.

– Тетя хватится меня... подождите... я приду... Никогда после Юрий не мог вспомнить, крикнула ли она эти слова звонким, отозвавшимся в темном лесу голосом, или теплый вечерний ветер донес к нему прерывистый скользкий шепот.

Он сел на траву и провел рукой по волосам.

«Как это все глупо и хорошо!» – блаженно улыбаясь, подумал он и, закрыв глаза, пожал плечами, как будто отвергая в эту минуту все свои прежние мысли, сомнения и страдания.

Карсавина забежала за калитку и остановилась. Сердце у нее билось и лицо горело. Она крепко прижала рукой под волнующейся левой грудью и на минуту прислонилась к стене.

Потом открыла глаза, загадочно повела ими вокруг, легко вздохнув, подобрала черную юбку и быстрыми молодыми ногами побежала по дорожке к гостинице, еще издали звонко крикнув старенькой теменькой тетке, сидевшей на крыльце в ожидании:

– Иду, тетя, иду!

XXXVII

Сначала потемнела даль, потом потускнела в тумане река, послышалось внизу, на зеленых лугах, далекое ржание лошадей, и засветились луговые огоньки.

А Юрий все сидел на обрыве и ждал, машинально считая костры на лугах.

– Раз, два, три... нет, вон еще... на самом горизонте... чуть видно... Точно звездочка!.. А ведь там теперь сидят большие люди, мужики, выехавшие в ночное, варят картошку, говорят... Костер горит весело, вспыхивает, потрескивает, и слышно, как лошади фыркают... А отсюда совсем как искорка... вот-вот потухнет!

Ему было трудно думать о чем бы то ни было, точно за звоном торжествующего счастья он не слышал собственных мыслей. Он сидел очень долго, ощущал, как собирается в его теле упругость и сила, точно подготавливаясь к чему-то, о чем нельзя было сознательно подумать. Он все еще ощущал свое первое прикосновение к молодому, пока скрытому тонкой материей телу и полураскрытым свежим губам и по временам с испугом говорил себе:

– А она сейчас придет!

Сердце вздрагивало и замирало, а тело напрягалось, все больше и больше становясь сильным, свежим и смелым.

Так, полный одним ожиданием, сидел он на обрыве, бес-

сознательно вслушиваясь в далекое ржание лошадей, голоса гусей за рекой и еще тысячи неуловимых звуков леса и вечера, струнно дрожащих высоко над землей.

А когда услышал неровные быстрые шаги и шорох платья, не оборачиваясь, узнал, что это она, и весь задрожал, охваченный любовью, желанием и испугом перед роковым моментом.

Карсавина подошла и стала, и слышно было ее прерывистое дыхание. И вдруг, почувствовав радостную уверенность, что сделает все, что нужно, Юрий сразу обернулся и, с внезапной дерзостью и силой схватив ее на руки, понес, скользя по траве, вниз.

– Упадём! – задыхаясь от счастья и стыда, прошептала она.

Опять Юрий сжимал в руках ее тело, и она казалась ему то большой и пышной, как женщина, то маленькой и хрупкой, как девочка. Сквозь платье рука его почувствовала ее ноги, и Юрия даже испугала мысль, что он касается ее ног.

Внизу, под деревьями, был мрак, и только сверху через край обрыва, обрезавший светлое небо, падал бледный сумеречный свет. Юрий опустил девушку на траву и сам сел, и оттого, что было покато, они оказались лежащими рядом. При бледном свете Юрий нашел ее горячие мягкие губы и стал мучить их тягучими требовательными поцелуями, от которых точно белым огнем раскаленного железа стало жечь их томящиеся тела.

Был момент полного безумия, которым владела одна властная животная сила. Карсавина не сопротивлялась и только дрожала, когда рука Юрия и робко, и нагло коснулась ее ног, как никто никогда еще не касался.

– Ты меня любишь? – обрываясь, спросила она. И шепот ее невидимых в темноте губ был странен, как легкий таинственный звук лесной.

И вдруг Юрий с ужасом спросил себя: «Что я делаю?»

Горящего мозга коснулась ледяная ясность, и все разом опустело, стало бледным и светлым, как в зимний день, в котором нет уже ни жизни, ни силы.

Она полуоткрыла побелевшие глаза и со смутным тревожным вопросом потянулась к нему. Но вдруг тоже быстро и широко взглянула, увидела его лицо и себя, вся вспыхнув нестерпимым стыдом, быстро отбросила платье и села.

Мучительный сумбур чувств наполнил Юрия: невозможным показалось ему остановиться, точно это было бы смешно и противно. Растерянно и нелепо он попытался продолжать и хотел броситься на нее, но она так же растерянно и нелепо защищалась, и короткая, бессильная возня, наполняя Юрия ужасным и безнадежным сознанием позорного и смешного, противного и безобразного положения, была действительно уже смешна и безобразна. Растерянно и опять как будто в то самое мгновение, когда силы ее упали и она готова была подчиниться, он опять оставил ее. Карсавина дышала коротко и прерывисто, как загнанная.

Наступило безвыходное тяжкое молчание, а потом он вдруг заговорил:

– Прости... те меня... я сумасшедший...

Она задышала скорее, и он понял, что этого не надо было говорить, что это оскорбительно. Пот облил все его ослабевшее тело, и опять язык его, точно против воли, забормотал что-то о том, что он сегодня видел, потом о своих чувствах к ней, потом о тех своих мыслях и сомнениях, которыми он был полон всегда и которыми, увлекаясь сам, так часто увлекал и ее. Но все казалось теперь неловким, связанным, лишенным жизни, голос звучал фальшиво, и, наконец, Юрий замолчал, внезапно почувствовав одно желание: чтобы она ушла и так или иначе хоть на время прекратилось это нестерпимое смешное положение.

Должно быть, она почувствовала это или переживала то же, потому что на мгновение задержала дыхание и прошептала, робко и просительно:

– Мне пора... Пойду...

«Что делать, что делать?» – весь холодея, спрашивал себя Юрий.

Они встали и не смотрели друг на друга. С последним усилием вернуть прежнее Юрий слабо обнял ее. И вдруг в ней опять пробудилось что-то материнское. Как будто она почувствовала себя сильнее его, девушка мягко прижалась к нему и улыбнулась прямо в глаза ободряющей милой улыбкой.

– До свиданья... приходи завтра ко мне...

Она поцеловала его так нежно, так крепко, что у Юрия беспомощно закружилась голова, и что-то, похожее на благоговение перед ней, согрело его растерянную душу.

Когда она ушла, Юрий долго прислушивался к шороху ее шагов, потом отыскал свою фуражку, полную листьев и земли, вытряхнул ее, надел и, спустившись вниз, пошел в гостиницу, далеко обходя ту дорожку, по которой должна была пройти Карсавина.

«Ну что ж, – думал он, шагая в темноте, – неужели надо было запачкать эту чистую святую девушку... непременно кончить так, как сделал бы всякий пошляк на моем месте?.. Бог с ней... Это было бы гадко, и слава Богу, если я оказался на это неспособен!.. И как это гадко: сразу, почти без слов, как зверь!» – уже с брезгливым чувством думал он о том, что еще недавно наполняло его таким счастьем и такой силой.

Но внутри его все что-то ныло и рвалось в бесплодной тоске, подымая глухой и тяжелый стыд. Даже руки и ноги, казалось ему, болтались как-то глупо, ни к чему, и фуражка сидела на голове, как колпак.

– Разве я способен жить? – спросил он во внезапном отчаянии.

XXXVIII

В широком коридоре монастырской гостиницы пахло хлебом, самоварами и ладаном. Проворный здоровый монах мчал куда-то толстый, как арбуз, самовар.

– Батюшка, – сказал Юрий, невольно конфузясь этого названия и ожидая, что сконфузится и монах.

– Что прикажете? – спросил тот учтиво и спокойно, выглядывая из-за облаков пара.

– У вас тут должна быть одна компания из города.

– Это в седьмом номере, – тотчас же ответил монах, точно давно ожидал этого вопроса. – Пожалуйста вот сюда, на балкончик...

Юрий отворил дверь седьмого номера. В большой комнате было темно, и, должно быть, она вся была полна табачным дымом. За дверью на балконе было светло, звенели бутылки и двигались, смеясь и крича, люди.

– Жизнь – неизлечимая болезнь! – услышал Юрий голос Шафрова.

– Дурень ты неизлечимый! – ответил Иванов громко. – Эк тебя... фразами так и прет!

Когда Юрий вошел, все встретили его радостными пьяными восклицаниями. Шафров вскочил, чуть не стянув скатерть, вылез из-за стола и, обеими руками пожимая руку Юрия, влюбленно забормотал:

– Вот хорошо, что пришли! Вот спасибо, ей-богу!.. В самом деле, право...

Юрий сел между Саниным и Петром Ильичом и огляделся. Балкон был ярко освещен двумя лампами и фонарем, и казалось, что за пределами света стоит непроницаемая черная стена. Но, отвернувшись от огней, Юрий еще довольно ясно увидел зеленоватую полосу зари, горбатый силуэт горы, верхушки ближайших деревьев и далеко внизу слабо поблескивающую, засыпающую поверхность реки.

На огонь летели из лесу бабочки и жучки, кружились, падали, подымались и тихо ползали по столу, умирая в бессмысленной огненной смерти.

Юрий поглядел на них, и стало ему грустно.

«Так и мы, люди, – подумал он, – мы тоже летим на огонь, на всякую блестящую идею, бьемся вокруг нее и умираем в страданиях. Мы думаем, что идея – это выражение мировой воли, а это только горение нашего мозга!..»

– Ну, выпьем? – спросил Санин, дружелюбно наклоняя к нему бутылку.

– Можно, – печально согласился Юрий и сейчас же подумал, что, пожалуй, не одно ли это только и осталось ему.

Они выпили, чокнувшись. Водка показалась Юрию противной, как горячий горький яд, и с брезгливой дрожью во всем теле он потянулся к закуске. Но и закуска долго сохраняла противный вкус и не шла в горло.

«Нет, что бы то ни было... смерть, каторга... а надо бе-

жать отсюда, – сказал он себе. – А впрочем, куда и бежать?.. Везде то же, а от себя не убежишь. Когда человек становится выше жизни, она не удовлетворит его нигде и ни в какой форме... В этом ли городишке, в Петербурге ли... все равно!»

– А по-моему, человек сам по себе – ничто!.. – громко кричал Шафров.

Юрий посмотрел на его неумное и скучное лицо, в очках, с маленькими неяркими глазками, и подумал, что такой человек действительно сам по себе – ничто.

– Индивидуум – нуль!.. Только индивидуумы, являющиеся созданием массы и не теряющие связь с нею, не противопоставляющие себя толпе, как любят делать буржуазные «герои», имеют действительную силу...

– Да сила-то их в чем? – озлобленно спрашивал Иванов, грузно наваливаясь на стол обеими локтями скрещенных рук. – В борьбе с существующим правительством? – да!.. А в борьбе за свое собственное счастье, что – им поможет масса?

– Ну да... вы «сверхчеловек»! Вам нужно какое-то особенное счастье! Свое! А мы, люди толпы, думаем, что именно в борьбе за общее благо мы обретем и свое счастье... Торжество идеи – вот и счастье!

– А если идея ошибочна?

– Это все равно, – безапелляционно мотнул головой Шафров, – надо только верить...

– Плюнь, – презрительно посоветовал Иванов, – каждый

человек верит, что то, чем он занимается, и есть самое важное и необходимое... Это полагает даже дамский портной... Ты это знал, но, вероятно, забыл... дело друга – напомнить.

Юрий с беспричинной ненавистью посмотрел в его лицо, бледное от выпитой водки, потное, с большими серыми и без блеска глазами.

– А по-вашему, в чем же счастье? – скривив губы, спросил он.

– Да уж, конечно, не в том, чтобы всю жизнь хныкать и на каждом шагу спрашивать себя: вот я чихнул... ах, хорошо ли я сделал?.. Нет ли от этого кому-нибудь вреда?.. Исполнил ли я чиханьем сим свое предназначение?

Юрий ясно увидел в холодных глазах ненависть к себе и весь задрожал, подумав, что Иванов, кажется, считает себя умнее его и хочет смеяться над ним.

«Ну это еще посмотрим!» – мысленно сказал Юрий.

– Это не программа, – еще больше кривясь и стараясь, чтобы каждая черточка лица его выражала неохоту спорить и полное презрение, заявил он.

– А вам нужно непременно программу?.. Что хочу, что могу, то и делаю! Вот вам программа.

– Нечего сказать, хорошая программа! – возмутился Шафров, но Юрий только презрительно повел плечом и намеренно промолчал.

Некоторое время пили молча, а потом Юрий повернулся к Санину и стал говорить, не глядя на Иванова, но для Ива-

нова о том, что считал самым лучшим. Ему казалось, что теперь, когда он скажет несколько слов последовательно и выскажет свою мысль всю, то никто не будет в состоянии опровергнуть ее. Но к его раздражению, на первых же словах о том, что человек не может жить без Бога и, повергнув одного, должен найти другого, чтобы жизнь не шла бессмысленным существованием, Иванов через плечо сказал:

– Про Катерину?.. Слыхали!

Юрий промолчал и продолжал развивать свою мысль. Увлечшись спором, он не замечал, что энергично защищает то, что для него самого было источником сомнения. Еще сегодня утром он задавал себе вопросы о своей вере, а теперь, в споре, оказывалось, что все у него продумано и все это он твердо установил.

Шафров слушал его с благоговением и умильной радостью, Санин улыбался, а Иванов смотрел вполоборота и на каждую мысль, казавшуюся Юрию новой и собственной, кидал презрительно:

– И это – слыхали! Юрий вспылил.

– Ну, знаете, и мы это «слыхали»!.. Нет ничего легче, как не находя, что возразить, сказать «слыхали» и успокоиться!.. Если вы только и говорите, что «слыхали», я имею право тоже сказать: ничего вы не слыхали!

Иванов побледнел, и глаза у него стали совершенно злыми.

– Может быть, – с нескрываемой насмешкой и желанием

оскорбить сказал он, – мы ничего не слышали: ни о трагических раздумьях, ни о невозможности жить без Бога, ни о голом человеке на оголенной земле...

Иванов произносил каждую фразу напыщенным тоном и вдруг зыкнул злобно и коротко:

– Поновой что-нибудь придумайте!

Юрий почувствовал, что в глумлении Иванова есть правда: ему вдруг припомнилось, какую массу книг и об анархизме, и об марксизме, и об индивидуализме, и о сверхчеловеке, и о преображенном христианине, и о мистическом анархизме, и еще о многом прочел он. Действительно, все это «слышали» все, а все оставалось по-прежнему, и у него самого было уже тяжкое ощущение томления духа. Но тем не менее ни на одну секунду ему не пришло в голову уступить и замолчать. Он заговорил резко, сам видя, что больше оскорбляет Иванова, чем доказывает свою мысль.

Иванов рассвирепел и стал просто страшен. Лицо его стало еще бледнее, глаза вылупились из орбит, и голос загремел дико и грубо.

Тогда Санин вмешался с досадливым и скучающим видом:

– Оставьте, господа... Как вам не скучно! Нельзя же ненавидеть человека за то, что он думает по-своему...

– Тут не дума, а фальшь! – огрызнулся Иванов. – Тут хочется показать, что он думает тоньше и глубже, чем мы все, а не...

– Какое же вы имеете право это говорить? Почему именно я, а не вы, хотите...

– Слушайте! – громко и властно крикнул Санин. – Если вам хочется драться – ступайте оба вон и деритесь где хотите... Вы не имеете никакого права заставлять нас слушать вашу бессмысленную ссору!

Иванов и Юрий замолчали. Оба были красны и взволнованы и старались не смотреть друг на друга. Довольно долго было тихо и неловко. Потом Петр Ильич тихо запел:

– Быть может, на холме немом поставят тихий гроб Руслана...

– Будь спокоен... своевременно поставят... – буркнул Иванов.

– Пусть... – покорно сказал Петр Ильич, но петь перестал и налил Юрию стакан водки.

– Будет думать, – пробурчал он, – выпейте-ка лучше! «Эх, махнуть на все рукой!» – подумал Юрий, взял стакан и залпом выпил.

И, странно, в это мгновение он почувствовал жгучее желание, чтобы Иванов заметил его подвиг и возымел к нему уважение. Если бы Иванов это сделал, Юрий почувствовал бы к нему дружелюбие и даже нежность, но Иванов не обратил никакого внимания, и, мгновенно подавив в себе унижительное желание, Юрий насупился и весь залился одним голым, омерзительным ощущением массы водки, обдавшей все внутренности и наполнившей даже нос.

– Молодость, Юрий Николаевич, ей-богу! – закричал Шафров, но Юрию стало стыдно, что Шафров похвалил его.

Едва преодолев волну водки, хлынувшую к носу и рту, и весь содрогаясь от физического отвращения, Юрий долго не мог прийти в себя и шарил по столу, отыскивая и оставляя закуски. Все казалось отвратительным, как яд.

– Да. Таких людей я остерегаюсь называть людьми, – важной октавой говорил Петр Ильич, когда Юрий опять стал видеть и слышать.

– Остерегаешься? Bravo, дядько! – злорадно отозвался Иванов, и хотя Юрий не слышал начала разговора, но по голосу догадался, что речь шла о нем, о таких людях, как он.

– Да. Остерегаюсь... Человек должен быть... генерал! – отчетливо и веско провозгласил Петр Ильич.

– Не всегда это возможно... А вы сами! – со злобной дрожью уязвленности возразил Юрий, не глядя.

– Я?.. Я – генерал в душе!

– Bravo! – заорал Иванов так неистово, что какая-то ночная птица, ломая ветки, камнем шарахнулась в ближайшей чаще.

– Разве что в душе! – усиливаясь сохранить иронию и болезненно воображая, что все против него и хотят его оскорбить и унижить, заметил Юрий.

Петр Ильич важно посмотрел на него сверху и вбок.

– Как могу... Что ж, хоть в душе – и то хорошо. Один стар, пьян и беден, как я, тот генерал в душе, а кто молод и силен,

тот генерал и в жизни... Всякому свое. А таких людей, которые хнычут, трусы... таких я остерегаюсь называть людьми!

Юрий что-то возразил, но случилось как-то так, что за смехом и говором его не услышали, а возражение казалось Юрию уничтожающим. Он повторил его громче, и опять его не услышали. Ядовитая обида отравила Юрия до слез, и вдруг ему почудилось, что все его презирают.

«А впрочем, я просто пьян!» – неожиданно подумал он и в эту минуту понял, что действительно пьян и не надо больше пить.

Голова тихо и противно плавала, огни ламп и фонаря стояли как будто перед самыми глазами, а круг зрения странно сузился. Все, что попадало на глаза, было отчетливо ярко, а кругом стояла тьма. И голоса раздавались как-то необычно: и оглушительно громко говорили, и нельзя было расслышать, о чем.

– Ты говоришь – сон? – важно спрашивал Петр Ильич.

– Сон – любопытный, – отвечал Иванов.

– В них «есть»... в снах, – веско произнес певчий.

– Видишь... лег я вчера спать. Да... На сон грядущий взял почитать одну книжицу, думал чем-нибудь прочистить голову, сполна набитую всяческой суетой и томлением... Попадаете мне статейка о том, как, где, когда и кого проклинали. Смотрю – вещь умственная и душевная. Читал я ее, читал... читаю, читаю... что ни дальше, то страшнее. Добираюсь до того пункта, который гласит, кто и за что предается анафе-

ме. Тут я, правда не удивляясь, усмотрел, что как раз именно меня всегда и проанафемятствуют... Узнавши с достоверностью о проклятии всеми существующими церквами, я бросил книгу, покурил и стал дремать, вполне успокоенный насчет места своего во вселенной. Сквозь сон я задался было вопросом, что, если миллионы людей жили и с полной верой меня проклинали, то... но тут я заснул, и вопрос остался в зародыше. И стал я чувствовать, что мой правый глаз не глаз, а папа Пий X, а левый что-то вроде вселенского патриарха... и оба друг друга проклинаят. От столь странного превращения вещей я проснулся.

– Только и всего? – спросил Санин.

– Зачем, я опять заснул.

– Ну?

– Ну, а опосля того уже не было спокойствия духа. Чудился мне некий дом, не то наш, не то неизвестный никем, и по самой большой комнате ходил я из угла в угол. И был тут где-то близко ты, дядько Петр Ильич. Он говорил, я слушал, но как будто его не видел. «Замечал я, – говорит Петр Ильич, – как молится кухарка», и я соображаю, что в кухне на печке, точно, должна молиться кухарка... Живет там и молится... «Нам неясно представляется, и понять мы не можем, но человек, простой сердцем, понимаешь, просто-ой... Когда она молилась и поминала всех, то как ничего и не было, но когда она помянула вас, меня, то есть, и Санина, то...» – когда он сказал это, я почувствовал, что должно произойти нечто

необыкновенное... «Ведь не зря молились все простые люди со дня сотворения!» И сообразил, весьма кстати, что не иначе как явился кухарке Бог. А Петр Ильич совсем сошел на нет, но все-таки говорил: «Явился ей будто образ...» Я продолжал чувствовать себя недурно, потому что хотя и не Бог, но все же что-то такое, все-таки лестно! «Явился ей образ, но только не образом!..» После этого дядьки совсем не стало. Я встревожился: это другое, а не образ, совсем уничтожило мое спокойствие. Чтобы восстановить его, следовало бы немедленно уничтожить то, что очутилось в углу комнаты и запищало. Ясно, что это была просто мышь... она что-то грызла и перегрызала... она даже как будто веселилась. Напала на меня тоска... мышь себе грызла и грызла, мерно и в такт... Тут я и проснулся!

– Что б тебе еще немного не просыпаться, – заметил Санин.

– Я сам опосля сообразил!

Несмотря на шуточный тон Иванова, почувствовалось, что сон почему-то произвел на него сильное впечатление и оно сидело в глубине души непонятным страхом. Он криво усмехнулся и потянулся к пиву. Все молчали, и в молчании как будто придвинулась тьма за балконом, и стало совсем не весело, а жутко и скучно, и непонятный сон, сквозь насмешку и безверие, тоненькое жало тоскливого ужаса запустил в сердца.

– Да, – торжественно проговорил Петр Ильич, – вы все

умны, вы умны, как черти, а есть что-то... есть!.. И вы не знаете его, а оно говорит вам...

В голосе ли певчего, в тьме ли, обступившей кругом, в подавленных ли водкой мозгах, или в мгновенно сверкнувшей близости тайны жизни и смерти, непонятной и безобразной, но было нечто, что отозвалось в душе каждого: «А вдруг... а вдруг есть!..»

Санин встал, и на его спокойном, как всегда, лице отразилась скука. Он зевнул и махнул рукой.

– Все страхи, все страхи! – сказал он. – Как бы вам еще чего-нибудь не испугаться. Умрем – увидим...

Он медленно закурил папиросу и пошел в двери.

А на балконе опять зашумели и заспорили, и под шум громких пьяных голосов по-прежнему ползали по столу и кружились в муках огненной смерти безмолвные бабочки, налетевшие на огонь.

Санин вышел во двор гостиницы, и синяя ночь мягко и свежо обняла его разгоревшееся тело. Месяц золотым яичком вышел из-за леса, и чуть-чуть скользил по черной земле его полусказочный свет. За садом, из которого тягуче и сладко пахло сливами и грушами, смутно белело здание другой гостиницы, и одно окно сквозь зеленые листья ярко смотрело на Санина.

В темноте послышалось шлепанье босых ног, похожее на шлепанье звериных лапок, и еще не привыкшими к темноте глазами Санин смутно разглядел силуэт мальчика.

– Тебе чего? – спросил Санин.

– Барышню Карсавину, учительницу, – тоненьким голо-
сом отозвался босой мальчик.

– Зачем? – спросил Санин, при имени Карсавиной вспо-
миная ее, как она стояла на берегу, нагая, вся пронизанная
светом не то молодости, не то яркого солнца.

– Записку им принес, – ответил мальчик.

– Ага... В той гостинице она, должно быть. Тут нет... Ва-
ли туда.

Опять, как зверек, мальчик зашлепал босыми пятками и
исчез в темноте так быстро, точно спрятался в кустах.

А Санин медленно пошел за ним, всей грудью вдыхая гу-
стой, как мед, садовый воздух. Он дошел до самой гостини-
цы, под освещенное окно, и полоса света легла на его задум-
чивое и спокойное лицо. На свету в темной зелени ясно бе-
лелись большие тяжелые груши. Санин поднялся на носки,
сорвал одну, а в окне увидел Карсавину.

Она видна была в профиль, в одной рубашке, с круглым
плечом, на котором как на атласе скользили блики света. Она
упорно смотрела вниз и думала, и, должно быть, то, о чем
она думала, волновало ее и стыдом, и радостью, потому что
веки ее вздрагивали, а губы улыбались. Санина поразила ее
улыбка: в ней дрожало что-то неуловимо нежное и страстное,
точно девушка улыбалась навстречу близкому поцелую.

Он стоял и смотрел, охваченный чувством сильнее его са-
мого, а Карсавина думала о том, что произошло с ней, и ей

было мучительно стыдно и мучительно приятно.

«Господи, – с необыкновенно чистым ощущением, какое, должно быть, бывает у расцветшего цветка, спрашивала себя девушка, – неужели я такая развратная?»

И с глубочайшей радостью в сотый раз вспоминала то непонятно влекущее ощущение, которое испытала она, подчиняясь Юрию в первый раз.

«Милый, милый!» – вспыхивая и замирая, мысленно тянулась она к нему, и опять Санину было видно, как трепетали ее ресницы и улыбались розовые губы.

О безобразной и томительно нелепой сцене, которая произошла потом, девушка не вспоминала. Какое-то тайное чувство отводило ее от того темного уголка, в котором как тонкая заноза осталось болезненное, обидное недоумение.

В дверь номера постучались.

– Кто там? – спросила Карсавина, поднимая голову, и Санин отчетливо увидел ее белую, нежную и сильную шею.

– Записку принес, – пискнул мальчик за дверью. Карсавина встала и отворила. Босой, по колено в свежей грязи, мальчик вошел в комнаты и торопливо сдернул картуз.

– Барышня прислали, – сказал он.

«Зиночка, – писала Карсавиной Дубова, – если можешь, приезжай сегодня же в город. Приехал инспектор и завтра утром будет у нас. Неудобно, если тебя не будет».

– Что такое? – спросила старая тетка.

– Ньюта зовет. Приехал инспектор, – в раздумье ответила

Карсавина.

Мальчик почесал одной ногой другую.

– Очень приказывали, чтоб беспрерывно вы приходили.

– Пойдешь? – спросила тетка.

– Как же я одна пойду... темно.

– Месяц взошел, – возразил мальчик, – вовсе видать.

– Надо идти, – нерешительно сказала Карсавина.

– Иди, а то как бы неприятностей не вышло.

– Ну пойду! – решительно тряхнула головой девушка. Она быстро оделась, приколола шляпку и подошла к тетке.

– До свиданья, тетя.

– До свиданья, деточка. Христос с тобою.

– А ты со мной пойдешь? – спросила девушка у мальчика.

Мальчик замаялся и опять почесал лапки.

– Я к мамке пришел... Мамка тута у монахов на прачешной.

– А как же я одна, Гриша?

– Ну пойдём, – тряхнув волосами, с решительным видом согласился мальчик.

Они вышли в сад. И синяя ночь так же мягко и осторожно охватила девушку.

– Хорошо пахнет как, – сказала она и вскрикнула, наткнувшись на Санина.

– Это я, – смеясь, отозвался он.

Карсавина в темноте подала еще дрожащую от испуга руку.

– Ишь, пужливая! – снисходительно заметил Гришка. Девушка смущенно засмеялась.

– Ничего не видно, – оправдывалась она.

– Куда это вы?

– В город. Вот прислали за мной.

– Одна?

– Нет, с ним... Он мой рыцарь.

– Рыцарь! – с удовольствием повторил Гришка, суча лапками.

– А вы тут чего?

– А мы по пьяному делу, – шутя пояснил Санин.

– Кто вы?

– Шафров, Сварожич, Иванов...

– И Юрий Николаевич с вами? – краснея в темноте, спросила Карсавина. Ей было так жутко и приятно произносить вслух это имя, как заглядывать в пропасть.

– А что?

– Так. Я его встретила... – еще больше краснея, сказала девушка. – Ну, до свидания.

Санин ласково придержал протянутую руку.

– Давайте я вас перевезу на тот берег, а то что же вам кругом идти.

– Нет, зачем же, – с непонятной застенчивостью сказала девушка.

– Пушай перевезет, а то на плотине дюже грязно, – авторитетно возразил босой Гришка.

– Ну хорошо... А ты тогда ступай к матери.

– А ты по полю не боишься одна? – солидно спросил

Гришка.

– Да я до города проведу, – заметил Санин.

– А ваши же как?

– Они тут до света будут: да и надоели они мне изрядно.

– Ну, если вы так добры... – засмеялась Карсавина. – Иди,

Гриша.

– Прощайте, барышня...

Мальчуган опять как будто спрятался куда-то в кусты, и Карсавина с Саниным остались вдвоем.

– Давайте руку, – предложил Санин, – а то с горы еще упадете...

Карсавина подала руку и ощутила со странной неловкостью и смутным волнением твердые как железо мускулы, передвигавшиеся под тонкой рубахой. Невольно толкаясь в темноте и на каждом шагу ощущая упругость и теплоту тел друг друга, они пошли через лес вниз к реке. В лесу был полный, как будто вечный мрак, и не было, казалось, деревьев, а одна густая, теплом дышащая молчаливая тьма.

– Ой, как темно!

– Ничего, – над самым ее ухом тихо сказал Санин, и в голосе его что-то задрожало, – я ночью больше лес люблю... В ночном лесу люди теряют свои привычные лица и становятся таинственнее, смелее и интереснее...

Земля осыпалась под их ногами, и они с трудом удержи-

вались, чтобы не упасть.

И от этой тьмы, от этих столкновений упругого и твердого тела, от близости сильного, всегда нравившегося ей человека девушкой стало овладевать незнакомое волнение. В темноте она покраснелась, и рука ее стала горячо жечь руку Санина. Девушка часто смеялась, и смех ее был высок и короток.

Внизу стало светлее, а над рекою уже ясно и спокойно светил месяц. Пахнуло в лицо холодом большой реки, и темный лес мрачно и таинственно отступил назад, как бы уступая их реке.

– Где же ваша лодка?

– А вот.

Лодка отчетливо, как нарисованная, вырезывалась на гладкой светлой поверхности. Пока Санин надевал весла, Карсавина, слегка балансируя руками, легко прошла на руль и села. И сразу она стала фантастичной, освещенная синим месяцем и колеблющимся отражением воды, Санин столкнул лодку и прыгнул в нее. Лодка с тихим шорохом скользнула по песку, зазвенела водой и вышла на лунный свет, оставляя за собой длинные, плавно расходящиеся волны.

– Давайте, я буду грести, – сказала Карсавина, все еще полная какой-то требовательной взволнованной силы. – Я люблю сама...

– Ну садитесь, – усмехнулся Санин, стоя посреди лодки. Опять она прошла мимо него по лавочке, легкая и гибкая, чуть-чуть коснувшись кончиками пальцев протянутой руки.

И когда она проходила, Санин снизу смотрел на нее, и мимо его лица скользнула ее грудь, с запахом духов и молодого женского тела.

Они поплыли. Синее небо с задумчивым месяцем отражалось в полной воде, и казалось, что лодка плывет в светлом и спокойном пространстве. Карсавина сидела прямо и слабо двигала веслами, всплескивая водой и выпукло выгибая вперед грудь. Санин сидел на руле и смотрел на нее, на ее грудь, на которую так хорошо было бы положить горячую голову, на круглые гибкие руки, которые так сильно и нежно могли бы обвиться вокруг шеи, на полное неги и молодости тело, к которому так беззаветно и бешено можно было прижаться. Месяц светил в ее белое лицо с черными бровями и блестящими глазами, скользил по белой кофточке на груди, по юбке на полных коленях, и что-то делалось с Саниным, точно он все дальше и дальше плыл с ней в сказочное царство, далеко от людей, от разума и рассудительных человеческих законов.

– Как хорошо сегодня, – говорила Карсавина, оглядываясь вокруг.

– Да, хорошо, – тихо ответил Санин. Вдруг она засмеялась.

– И почему-то хочется шляпу бросить в воду и косу распустить... – сказала она, повинувшись безотчетному порыву.

– Что ж, и распустите, – сказал Санин еще тише. Но она вдруг застыдилась и замолчала.

И опять в душе девушки, вызванные ночью, теплом и простором, замелькали воспоминания, и опять ей стало стыдно и хорошо смотреть вокруг. Ей все казалось, что Санин не может не знать, что произошло с ней, но от этого чувство ее становилось только богаче и сложнее. У нее явилось неодолимое, но смутно сознаваемое желание намекнуть ему, что она не всегда такая тихая и скромная девушка, что она, может, и была совсем другою, и нагой, и бесстыдной. И от этого неосознанного желания ей стало весело и жарко.

– Вы давно знаете Юрия Николаевича? – неровным голосом спросила она, чувствуя неодолимую потребность скользить над пропастью.

– Нет, – ответил Санин, – а что?

– Так... Правда, он хороший и умный человек?

В голосе ее зазвучала почти детская робость, точно она выпрашивала себе подарка у старшего человека, который может и приласкать, и наказать ее.

Санин, улыбаясь, посмотрел на нее и ответил:

– Да.

Карсавина по голосу догадалась, что он улыбается, и покраснела до слез.

– Нет, право... И он какой-то... он, должно быть, много страдал... – с трудом договорила она.

– Вероятно. Что он несчастный – это верно, – согласился Санин. – А вам жаль его?

– Конечно, – притворно наивным тоном сказала Карсави-

на.

– Да, это понятно... Только вы странно понимаете слово «несчастный»... Вот, вы думаете, что нравственно неудовлетворенный, надо всем с трепетом, раздумывающий человек не просто несчастный, жалкий, а какой-то особенный, высший, даже, пожалуй, сильный человек! Вечное перекидывание своих поступков справа налево кажется вам красивой чертой, дающей право человеку считать себя лучше других, дающей ему право не столько на сострадание, сколько на уважение и любовь...

– А как же? – наивно спросила Карсавина.

Она никогда так много не говорила с Саниным, но постоянно слышала о нем, как о человеке совершенно своеобразном, и сама чувствовала в его присутствии приближение чего-то нового, интересного и волнующего.

Санин засмеялся.

– Было время, когда человек жил узкой и скотской жизнью, не отдавая себе отчета в том, что и почему он делает и чувствует. Потом настала пора жизни сознательной, и первая ступень ее была переоценка всех своих чувств, потребностей и желаний. На этой ступени стоит и Юрий Сварожич, последний из могокан уходящего в вечность периода человеческого развития. Как все конечное, он впитал в себя все соки своей эпохи, и они отравили его до глубины души... У него нет жизни как таковой, все, что он делает, подвержено у него бесконечному спору: хорошо ли, не дурно ли?.. Это

доведено у него до смешного: поступая в партию, он думает, не ниже ли достоинства его стоять в рядах других, а выйдя из партии, он мучится – не унижительно ли стоять в стороне от всеобщего движения!.. Впрочем, таких людей – масса, они большинство... Юрий Сварожич только тем и исключение, что он не так глуп, как другие, и борьба с самим собою принимает у него не смешные, а иногда и в самом деле трагические формы... Какой-нибудь Новиков только жиреет от своих сомнений и страданий, как боров, запертый в хлев, а Сварожич и впрямь носит в груди катастрофу...

Санин вдруг остановился. Собственный громкий голос и простые, дневные слова отогнали его ночное очарование, и ей стало жаль его. Он замолчал и опять стал смотреть только на девушку, на ее черные брови на белом лице, на ее высокую грудь.

– Я не понимаю, – робко заговорила девушка, – вы так говорите о Юрии Николаевиче, как будто он сам виноват в том, что такой, а не другой... Если человек не удовлетворяется жизнью, значит, он выше жизни...

– Человек не может быть выше жизни, – возразил Санин, – он сам – только частица жизни... Неудовлетворенным он может быть, но причины этой неудовлетворенности в нем самом. Он просто или не может, или не смеет брать от богатства жизни столько, сколько это действительно нужно ему. Одни люди сидят в тюрьме всю жизнь, другие сами боятся вылететь из клетки, как птица, долго в ней просидевшая...

Человек – это гармоническое сочетание тела и духа, пока оно не нарушено. Естественно нарушает ее только приближение смерти, но мы и сами разрушаем его уродливым мирозерцанием... Мы заклеямили желания тела животностью, стали стыдиться их, облекли в унижительную форму и создали одностороннее существование... Те из нас, которые слабы по существу, не замечают этого и влачат жизнь в цепях, но те, которые слабы только вследствие связавшего их ложного взгляда на жизнь и самих себя, те – мученики: смятая сила рвется вон, тело просит радости и мучает их самих. Всю жизнь они бродят среди раздвоений, хватаются за каждую соломинку в сфере новых нравственных идеалов и в конце концов боятся жить, тоскуют, боятся чувствовать...

– Да, да... – с неожиданной силой отозвалась Карсавина. Масса мыслей, новых и неожиданных, легко поднялась в ней.

Она смотрела вокруг блестящими глазами, и могучая и прекрасная красота силы, которая была разлита и в неподвижной реке, и в темном лесу, и в глубине синего неба с задумчивым месяцем, глубокими волнами входила в ее тело и душу. Девушкой начало овладевать то странное чувство, которое было уже знакомо ей, которое она любила и боялась, чувство смутного порыва к силе, движению и счастью.

– Мне все грезится счастливое время, – помолчав, заговорил Санин, – когда между человеком и счастьем не будет ничего, когда человек свободно и бесстрашно будет отдаваться всем доступным ему наслаждениям.

– Но что же тогда? Опять варварство?

– Нет. Та эпоха, когда люди жили только животом, была варварски грубой и бедной, наша, когда тело подчинено духу и сведено на задний двор, бессмысленно слаба. Но человечество жило не даром: оно выработает новые условия жизни, в которых не будет места ни зверству, ни аскетизму...

– Скажите, а любовь... она налагает обязанности? – неожиданно спросила Карсавина.

– Нет. Любовь налагает обязанности, тяжелые для человека, только благодаря ревности, а ревность порождена рабством. Всякое рабство рождает зло... Люди должны наслаждаться любовью без страха и запрета, без ограничения... А тогда и самые формы любви расширятся в бесконечную цепь случайностей, неожиданностей и сцеплений.

«А ведь я не боялась тогда ничего!» – с гордостью подумала девушка и вдруг точно в первый раз увидела Санина.

Сидел он на руле большой, сильный, с темными от ночи и луны глазами, и широкие плечи его были неподвижны, как железные. Карсавина пристально вгляделась в него, с жутким интересом. Она вдруг подумала, что перед ней целый мир неведомых ей своеобразных чувств и сил, и ей вдруг захотелось коснуться его.

«А он интересный!» – лукаво мелькнуло у нее в голове. Стыдливо она засмеялась сама себе, но странное волнение охватило все ее тело нервной дрожью.

И, должно быть, он почувствовал неожиданно налетевшее

дыхание женского любопытства, потому что задышал сильнее и быстрее.

Весла, зацепившись за ветки узкого пролива, в который медленно поворачивала лодка, бессильно упали из рук девушки, и что-то как будто упало и внутри ее.

– Не могу тут... трудно... – упавшим голосом виновато проговорила она, и голос ее тихо и певуче зазвучал в темном и узком проходе, где слабо звенели невидимые струйки воды.

Санин встал и пошел к ней.

– Куда вы? – с непонятым испугом спросила она.

– Давайте я...

Девушка встала и хотела перейти на руль. Лодка закачалась, точно уходя из-под ног, и Карсавина невольно ухватилась за Санина, сильно толкнув его своей упругой грудью. И в этот момент, почти не сознавая, не веря даже возможности этого, девушка неуловимым мимолетным движением сама задержала прикосновение, как будто прижалась на лету. Мгновенно всем существом своим он воспринял сказочное очарование близости женщины, и она всем существом поняла его чувство, ощутила всю силу его стремления и опьянилась ею, прежде чем поняла, что делает.

– А... – удивленно-восторженно вырвалось у Санина, и больно и страстно он обнял ее, так что она, перегнувшись назад, очутилась на воздухе и инстинктивно схватилась за падающую шляпу и волосы.

Лодка зашаталась сильнее, и невидимые волны, с испуган-

ным шумом, разбежались к берегам.

– Что вы! – слабым женским вскриком крикнула Карсавина. – Пустите!.. Ради Бога... Что вы! – задыхающимся шепотом проговорила она после мгновенного жуткого молчания, отрывая его стальные руки. Но Санин с силой, почти раздавливая ее упругую грудь, прижал девушку к себе, и ей стало душно, и все, что было преградой между ними, куда-то исчезло. Вокруг была тьма, пряный запах вод и трав, и странный холод, и жар, и молчание. И она, вдруг погружаясь в непонятное безволие, опустила руки и лежала, ничего не видя и не сознавая, со жгучей болью и мучительным наслаждением подчиняясь чужой, мужской воле и силе.

XXXIX

Но скоро потом она стала сознавать и поняла и пятна лунного света на черной воде, и то, что она полулежит в лодке, и лицо Санина, со странными глазами, и то, что он обнимает ее, как свою, и что голое колено ее трет весло.

Тогда она тихо и неудержимо заплакала, не вырываясь из рук Санина и все еще подчиняясь ему.

И в слезах ее были и грусть о чем-то невозвратимом, и страх, и жалость к себе, и слабая нежность к нему, исходившая как бы не из разума и сердца, а из самой глубины ее молодого тела, впервые раскрывшегося во всей красе и силе.

Лодка тихо выплыла на более широкое и чуть-чуть освещенное место и колыхалась в темной загадочной воде, по которой с тихим вечным плеском бежали струйки течения.

Санин взял ее на руки и посадил к себе на колени. И Карсавина сидела беспомощно и растерянно, как девочка.

Будто сквозь сон она слышала, что он успокаивает ее и говорит ей «ты», и голос его полон нежности, смягчившейся силы и благодарности.

«Потом я утоплюсь!» – смутно думала она, прислушиваясь к его словам и как будто отвечая кому-то постороннему, который вот-вот готов потребовать у нее отчета: «Что ты сделала и что будешь делать теперь?»

– Что же теперь делать? – неожиданно и машинально

спросила Карсавина.

– Увидим, – ответил Санин.

Она хотела сползти с его колен, но он притянул ее, и девушка покорно осталась. Ей самой было как-то странно, что она не ощущает к нему ни гнева, ни отвращения.

И потом, когда Карсавина вспоминала эту ночь, все казалось ей непонятным, как во сне. Все вокруг молчало, и было темно, и торжественно неподвижно, как бы соблюдая тайну. Свет месяца, ущербленного черными верхушками леса, был странно неподвижен и призрачен. Черная тьма под берегом и из глубины леса смотрела на них бездонными глазами, и все застыло в напряженном ожидании чего-то. А в ней не было сил и воли опомниться, вспомнить, что она любила другого, стать прежней одинокой девушкой, оттолкнув мужскую грудь. Она не защищалась, когда он опять стал целовать ее, и почти бессознательно принимала жгучее и новое наслаждение, с полузакрытыми глазами уходя все дальше и дальше в новый, еще странный для нее и таинственный влекущий мир. По временам ей казалось, что она не видит, не слышит и не чувствует ничего, но каждое движение его, всякое насилие над ее покорным телом она воспринимала необычайно остро, со смешанным чувством унижения и требовательного любопытства.

Отчаяние, холодком свившееся вблизи самого сердца, подсказывало ей падшие и робкие мысли.

«Все равно теперь, все равно...» – говорила она себе, а

тайное телесное любопытство как бы хотело знать, что еще может сделать с ней этот, такой далекий и такой близкий, такой враждебный и такой сильный человек.

Потом, когда он оставил ее и, сидя рядом, стал грести, Карсавина, полулежа, закрыла глаза и, стараясь не жить, вздрагивала от каждого толчка его твердой и теперь так знакомой ей руки, мерно двигавшейся над ее грудью.

Лодка с тихим скрипом пристала к берегу. Карсавина открыла глаза.

Кругом были поле, вода и белый туман. Месяц светил бледно и неясно, как призрак, умирающий при рассвете дня. Было совсем светло и прозрачно. В воздухе тянул резкий предрассветный ветерок.

– Проводить тебя? – тихо спросил Санин.

– Нет, я сама... – машинально ответила Карсавина. Санин поднял ее на руки и с наслаждением могучего усилия вынес ее из лодки, чувствуя к ней жгучую любовь и благодарную нежность. Он крепко прижал ее к себе и поставил на землю. Карсавина шаталась и не могла стоять.

– Красавица! – с таким чувством, точно вся душа его стремилась к ней в порыве нежности, страсти и жалости, сказал Санин.

Она улыбнулась с бессознательной гордостью. Санин взял ее за руки и потянул к себе.

– Поцелуй!

«Все равно теперь... И почему он такой жалкий и близ-

кий?.. Все равно, лучше не думать!» – бессвязно пронеслось в голове Карсавиной, и она долго и нежно поцеловала его в губы.

– Ну прощай... – шепнула она, путаясь в звуках и не замечая, что говорит.

– Милая, не сердись на меня... – с тихой просьбой сказал Санин.

Потом, когда она уходила по плотине, шатаясь и путаясь в подоле юбки, Санин долго и грустно смотрел ей вслед, и ему было больно от провидения тех напрасных страданий, которые она должна была перенести и выше которых, как он думал, стать не могла.

Фигура ее таяла и терялась в тумане, уходя навстречу рассвету. А когда ее не стало видно, Санин с силой вскочил в лодку, и под могучими торжествующими ударами весел вода шумно и весело забурлила вокруг. На широком месте реки, среди белого волнующего тумана, под утренним небом, Санин бросил весла, вскочил во весь рост и изо всех сил громко и радостно закричал.

Лес и туман ожили и ответили ему таким же долгим, радостным замирающим криком.

XL

Точно сваленная ударом по голове, Карсавина заснула мгновенно и после короткого мертвого сна, рано утром, проснулась внезапно, вся больная и как труп холодная. Кажалось, что отчаяние не спало в ней и ни на одну секунду не было забвения того, что было. Она остро смотрела вокруг и молча, внимательно обводила глазами всякую мелочь, как будто отыскивая, что изменилось со вчерашнего дня.

Но светлыми и спокойными по-утреннему смотрели на нее образа в углу, и окна, и пол, и мебель, и светловолосая голова Дубовой, крепко спавшей на другой кровати. Все было просто, как всегда, и только ее бедное платье, смятое и брошенное на стул, говорило о чем-то.

Сквозь румянец недавнего сна на лице Карсавиной все яснее и яснее стала проступать мертвенная бледность, и ее черные брови вырисовывались так отчетливо, точно лицо ее, повчерашнему, осветилось луной.

С поразительной ясностью и отчетливостью больного мозга встало перед нею все пережитое, и ярче всего, как наутро шла она по еще спящим улицам предместья. Солнце, только что показавшееся над крышами и заборами, поседевшими от росы, светило ослепительно беспощадно, как никогда. Сквозь запертые ставни, точно сквозь притворно прикрытые веки, следили за ней враждебные окна мещанских до-

мов, и оглядывались вслед одинокие прохожие. А она шла под утренним солнцем, путаясь в подоле длинной юбки и еле удерживая в руках свою зеленую плюшевую сумочку. Шла, как преступница, вдоль заборов, неровными колеблющимися шагами.

Если бы в ту минуту весь род людской, с разинутыми ртами и завистливыми глазами, высыпал ей на дорогу и провожал гиком, смехом и хлещущими, как кнуты, подлыми словами, ей было бы уже все равно, и она так же шла бы вперед, шатаясь под ударами, без цели и смысла, с опустелой тоской в душе.

Еще в поле, когда затихли в тумане шумные удары весел, бурно вздымавшие воду, Карсавина вдруг уразумела, какая страшная тяжесть навалилась на ее женские гнущиеся плечи, и отчаяние стало ее сердцем, разумом и жизнью. Она вскрикнула, упустила свою сумочку в мокрый песок и схватилась за голову.

И с этого момента она была уже под властью слова всякого человека, а своей воли у нее не стало.

Как сильное опьянение вспомнила она вчерашнюю ночь. Было что-то необыкновенное, безумно захватывающее, такое сильное, как никогда, – а теперь нельзя было понять, как это могло случиться и как она могла забыться до потери стыда, разума и другой, казалось наполнявшей всю жизнь любви.

В физической тоске, похожей на предсмертную тошноту,

Карсавина выскользнула из-под одеяла и, неслышно двигаясь, стала одеваться, чувствуя, как при малейшем движении Дубовой все тело обвивается холодом.

Потом она села у окна и напряженными и неподвижными глазами уставилась в сад, где ярко зеленели и желтели омытые утром деревья.

Мысли ее были громадны и неслись, как черный дым, подхваченный ветром. Если бы кто-нибудь мог развернуть ее душу и читать ее, как книгу, он пришел бы в ужас.

На фоне необычайно сильной молодой жизни, в которой каждый день каждое чувство и движение были полны озаренной солнцем страстной крови, клубились чудовищные образы. Мысль о самоубийстве надвигалась на сознание, черная и неподвижная, страстная тоска о том, что потеряна чистая и светлая любовь к Юрию, сжимала сердце, и все заливала мутная волна страха перед массой знакомых и незнакомых человеческих лиц, стоящих перед нею.

То ей приходило в голову броситься к Юрию, биться перед ним, плакать, отдать ему всю жизнь и потом уйти куда-то навсегда. То подавлял ее ужас увидеть Юрия, и хотелось умереть, не сходя с места, просто перестав жить. То мелькала мысль, что еще как-то можно поправить все, что вчерашняя ночь не может быть, чтобы существовала в самом деле, но, как дикий вопль, в душе проносилось воспоминание о своей наготе, о тяжести мужского тела, о мгновенном жгучем забытьи, и растерянная, оглушенная непререкаемой силой быв-

шего, Карсавина лежала грудью на подоконнике, без сил и без мысли.

А между тем проснулась Дубова, и она уже слышала движение и удивленный вскрик подруги.

– А, ты уже встала?.. Вот необыкновенное происшествие! Утром, когда Карсавина вернулась, полусонная Дубова только спросила ее:

– Что это ты как встрепанная?

И заснула. Но теперь она почуяла что-то и, в одной рубашке, босая, подошла к ней.

– Что с тобой? Ты здорова? – как старшая сестра, ласково и заботливо спросила она.

Карсавина съежилась, как бы ожидая удара, но розовые губы ее фальшиво улыбнулись, и, как ей показалось, чужой голос чересчур весело ответил:

– Конечно. Я просто совсем не спала...

Так было произнесено первое слово лжи, и оно без остатка уничтожило воспоминание о прежней свободной и смелой девушке. То была одна, а теперь стала другая, и эта другая была лжива, труслива и грязна. Когда Дубова умывалась и одевалась, Карсавина тайком смотрела на нее, подруга казалась ей светлой и чистой, а сама она темной, как раздавленное пресмыкающееся.

Чувство это было так сильно, что даже та часть комнаты, где двигалась Дубова, казалась Карсавиной освещенной солнцем, а ее угол тонул в сырой и липкой тьме. Карсавина

вспомнила, как высоко над стареющей, бесцветной подружкой чувствовала она себя в ореоле своей молодости, красоты и чистоты, и тоска плакала в ней крупными, как капли крови, слезами безнадежной утраты.

Но это совершалось внутри ее, а наружно Карсавина была спокойна и даже как будто весела. Она надела красивое синее платье, шляпу, взяла зонтик и пошла в школу своими обычными, точно падающими шагами. Там пробыла она до обеда, а потом пришла домой.

По дороге встретила Лиду Санину.

Обе они, стройные, молодые и красивые женщины, стояли, освещенные солнцем, улыбались страстными губами и говорили о пустяках. Но в Лиде поднималась болезненная ненависть к счастливой беззаботной девушке, а Карсавина завидовала счастью быть такой прекрасной, веселой и свободной, как Лида.

После обеда Карсавина взяла книгу, села у окна и опять стала безучастно и неподвижно смотреть на свет и тепло сада, доживающего последние летние дни.

Острый порыв прошел, и в душе ее все опустилось в безразличную и больную усталость.

– Ну что ж... ну пропаду, туда мне и дорога... Я умру, – апатично повторяла она себе.

Карсавина увидела Санина раньше, чем он заметил ее.

Он прошел по саду, высокий и спокойный, оглядываясь по сторонам и трогая руками ветви кустов, точно здороваясь

с ними. Откинувшись назад и прижав книгу к груди, Карсавина дико смотрела на него, пока Санин медленно подходил к окну.

– Здравствуйте! – сказал он, протягивая руку.

И прежде чем она успела встать и опомниться в полубоморочном хаосе чувств, Санин повторил с настойчивою лаской:

– Здравствуйте же!

Было в его голосе нечто такое, что лишило Карсавину возможности крикнуть, встать, уйти, и, теряя волю, она тихо ответила:

– Здравствуйте...

И, ответив, почувствовала, что он сильнее ее и сделает с ней, что хочет.

Санин облокотился на подоконник и сказал:

– Выйдите на минуту в сад, нам надо поговорить...

Карсавина встала и, вся во власти странной силы, не знала, что ей надо делать, куда идти и как.

– Я буду ждать там, – заметил Санин.

Она кивнула головой, мучительно стыдясь, что отвечает ему.

Санин ушел медленной спокойной походкой, и Карсавина боялась смотреть ему вслед. Она несколько секунд простояла неподвижно, крепко сжав руки. Потом вдруг суетливо задвигалась и, даже подобрав платье, чтобы было ловчее идти, вышла из дому.

Золотой свет от солнца и желтых листьев неудержимо пронизывал весь сад. Еще издали Карсавина увидела Санина, стоявшего на дорожке. Он улыбался ей, и под его взглядом девушке стало трудно и стыдно идти: ей казалось, что платье уже не скрывает ее от Санина и ему видно каждое движение уже знакомого ему ее нагого тела. И чувство беспомощности и стыда так возросло в ней, что Карсавиной стало страшно сада и света. Чуть не падая, торопясь, она подошла и стала так близко, чтобы он не мог видеть ее всю, с головы до ног.

Тогда Санин взял ее за руки, втянул в самую гущу перепутанных деревьев и там почти посадил к себе на колени, сам полусидя на пне старой яблони.

Сбоку был виден ему понурившийся нежный профиль и круглое плечо, мягкое и слабое рядом с его широкой и твердой грудью, но странно хорошо гармонировавшее с нею. Невольно, чувствуя восторженное обожание к ее красоте и как бы преклоняясь перед нею, Санин наклонился и тихо поцеловал тонкую сухую материю, сквозь которую просвечивало и теплело свежее тело. Карсавина вздрогнула, но не отстранялась... Он побеждал ее своей силой и смелостью, она его – своей нежностью и красотой, и оба боялись друг друга. Санин хотел сказать ей много нежных успокаивающих слов, но ему показалось, что при первом звуке его голоса Карсавина встанет и уйдет, и он молчал. Девушка слышала напряженный звук его дыхания.

«Что он хочет... Что сделает?.. – думала она, замирая от страха и стыда. – Неужели опять... Я вырвусь, уйду!..»

– Зиночка, – наконец сказал Санин, и звук его голоса, неловко выговорившего непривычное имя, был нежен и странен.

Карсавина мельком, на одно мгновение взглянула ему в лицо и встретила его блестящие глаза, с восторгом и боязнью смотревшие на нее так близко, что она испугалась. Испугалась и в то же время инстинктивно почувствовала, что во все не страшен, что теперь он больше боится ее, чем она его. Что-то, похожее на лукавое девичье любопытство, шевельнулось в уголке ее души, и вдруг ей стало легче и не стыдно, что она сидит на его коленях.

– Я не знаю, – говорил Санин, – быть может, я очень виноват перед вами и мне не надо было приходиться... но я не мог оставить вас так!.. Мне так хочется, чтобы вы меня поняли... и не чувствовали ко мне отвращения и ненависти!.. Что я должен был сделать? Был такой момент, когда я почувствовал, что между нами что-то исчезло, и что если я пропущу, этот момент в моей жизни никогда не повторится... вы пройдете мимо, и никогда я не переживу того наслаждения и счастья, которое могу пережить... Вы такая красавица, такая молодая...

Карсавина молчала. Розовело ее прозрачное ухо, полуприкрытое волосами, и вздрагивали ресницы.

И так же тихо, неясными и дрожащими словами Санин

говорил ей о том огромном счастье, которое она дала ему, о том, что эта ночь останется навсегда в его жизни, как сказка. И по голосу его было слышно, что он страдает от невозможности что-то передать ей такое, отчего прошла бы грусть, налетела бы веселая волна, стала бы она веселой, что-то давшей, что-то взявшей у жизни.

– Вы страдаете, а вчера было так хорошо! – говорил он. – Но ведь эти страдания оттого только, что жизнь наша устроена безобразно, что люди сами назначили плату за свое же собственное счастье... А если бы мы жили иначе, эта ночь осталась бы в памяти нас обоих как одно из самых ценных, интересных и прекрасных переживаний, которыми только и дорога жизнь!..

– Если бы! – машинально сказала Карсавина и вдруг, неожиданно и для себя самой, улыбнулась лукаво.

Как будто солнце изошло, как будто птицы запели и зашумели травы, так стало легко и светло в душе от ее улыбки, на мгновение возродившей прежнюю веселую и смелую девушку. Но это была вспышка, которая быстро угасла.

Вдруг представилась Карсавиной вся будущая ее жизнь в виде темных, разорванных и грязных клочьев из сплетен, насмешек, горя и стыда, доходящего до позора. Замерещились все знакомые лица, и все были глумливы и брезгливы, заскакали вокруг какие-то безобразные образы, и черный страх покрыл ее душу, возбуждая ненависть.

– Идите, оставьте меня! – побледнев и стиснув зубы, с же-

стоким выражением, точно мстя ему за свою улыбку, выговорила Карсавина и, оттолкнувшись от его груди, встала.

Тяжкое ощущение бессилия овладело Саниным. Он почувствовал, что никакими словами нельзя утешать ее в том, что явно угрожало ей страданием, позором и нищетой. Она была права в своем гневе и скорби, и не в его силах было мгновенно переделать весь мир, чтобы снять с ее женских плеч ту страшную липкую тяжесть, которая упала на нее безвинно, за радость и счастье, данные ему ее молодой красотой. На мгновение родилась в нем мысль предложить ей свое имя и свою помощь, но что-то удержало его. Почувствовалось, что это слишком мелко и не то нужно.

«Что же, – подумал Санин, – пусть жизнь идет своим чередом!»

А она стояла неподалеку, опустив руки, склонив голову, увенчанную короной прекрасных волос, и о чем-то думала, глубокой, не девичьей складкой прорезав свой белый лоб.

– Я знаю, – заговорил Санин, – что вы любите Юрия Сви-
рожича... может быть, от этого вы и страдаете больше всего?

– Никого я не люблю! – с тоской прошептала Карсавина, болезненно сжав руки.

На ее лице резкими чертами, точно физическая боль, выразилось и сознание своей вины перед тем, кого он вспомнил, и беспомощное отчаяние.

А между тем в душе ее возникал и колебался, как дымный столб, огромный и непосильный вопрос, в котором, казалось

ей, сосредоточился весь ужас и вся разгадка того, что произошло.

«Как связать это, – без слов думала Карсавина, – я люблю Юрия и теперь люблю его так, что сердце рвется... при мысли о том, что я не буду для него такой чистой и единственной, как была, все меркнет, как перед смертью, а между тем вчера меня толкнуло к этому человеку...»

Мысль о Санине не имела лица: было воспоминание о бешеной силе, о страшном наслаждении, в котором страдание сливалось с желанием еще большей, еще глубшей близости, и минутами хотелось быть замученной до смерти. Потом было светлое и тихое воспоминание о какой-то певучей и невыразимо близкой нежности, и это последнее воспоминание смягчило сердце.

«Я сама виновата! – сказала себе Карсавина. – Я гадкая, развратная тварь!»

И ей захотелось плакать, каяться, бить плетью по тому самому белому и прекрасному телу, которое в ней оказалось сильнее и требовательнее разума, любви и самого сознания.

Одно мгновение казалось, что она не вынесет этого страшного порыва, потеряв сознание, умрет. Но он упал, обессилив, и осталась только безнадежная тихая печаль.

И тогда Санин с какой-то особенно трогательной мольбой сказал:

– Не помните меня злом... вы все так же прекрасны и такое же счастье дадите любимому человеку, какое дали мне...

и больше, во много раз больше... А я не желал вам ничего, кроме самого хорошего, самого нежного, и всегда буду помнить вас такую, какую вы были вчера. Прощайте... а если я понадоблюсь вам зачем-нибудь – позовите... я бы отдал вам жизнь, если бы мог!

Карсавина тихо взглянула на него, и чего-то стало ей жаль. «А может быть, все пройдет!» – мелькнуло у нее в голове, и на мгновение все показалось вовсе не таким ужасным и трудным. С минуту они смотрели прямо в глаза друг другу, и в это время что-то хорошее вышло из самой глубины их сердец и соединилось, точно они стали вдруг родными и близкими и узнали что-то, о чем не надо знать больше никому и что навсегда останется в душах теплым и ярким воспоминанием.

– Ну... прощайте! – низкой девической ноткой произнесла Карсавина.

Радость и нежность осветили лицо Санина. Она подала ему руку, но вышло как-то так, что они поцеловались, просто и тепло, как брат и сестра.

Когда Санин уходил, Карсавина проводила его до ворот и долго задумчиво и грустно смотрела вслед. Потом тихо пошла в сад и легла на траву, заложив руки под голову.

Суховатая, но еще душистая трава о чем-то зашуршала вокруг, и, закрыв глаза, без мысли и чувств, Карсавина замерла. Что-то совершалось в ней, и казалось, что совершится оно само, и снова встанет и пойдет к жизни по-прежнему

веселая, молодая и смелая женщина, перед которой жизнь раскроет самое счастливое и роскошное, что есть в ней.

Черная мысль о Юрии, о том, нужно ли открыть ему ее тайну или нет, подходила к ее голове, неся новый ужас и стыд, но Карсавина торопливо говорила себе: «Не надо об этом думать, не надо... это само!..» И опять замирала в ожидании.

XLI

В этот день Юрий встал поздно, в гнетущем расположении духа, с дурным вкусом во рту и с тонкой сверлящей болью в висках. Сначала он ничего не мог вспомнить, кроме крика, звона стекла, бледных огней и странного для пьяных одуревших глаз ясного и прозрачного света утра. Потом припомнил, как Шафров и Петр Ильич, пошатываясь и бормоча хрюкающие звуки, ушли в номер спать, а он и страшно бледный от выпитой водки, но твердый, как всегда, Иванов еще долго оставались на балконе, не обращая внимания на солнечное утро, голубое вверху и зеленое внизу – на лугах и сверкающей белым золотом реке.

Они спорили, и Иванов с торжеством доказывал Юрию, что такие люди, как он, никуда не годятся; что они не смеют взять от жизни то, что им принадлежит, и что самое лучшее им погибнуть без следа и семени. Он с непонятной злорадностью повторял фразу Петра Ильича: «Таких людей я остерегаюсь называть людьми», – и дико смеялся, точно топил Юрия. А Юрий почему-то не обижался и слушал, возражая только на обвинение в скудности переживаний, говоря, что, напротив, именно у таких людей жизнь особенно тонка и сложна, но что, правда, им лучше погибнуть. И Юрию было нестерпимо грустно, хотелось плакать и каяться. Он со стыдом припомнил, что как будто пытался каяться и все ходил

вокруг и около эпизода с Карсавиной, чуть-чуть не бросив эту чистую, милую девушку под ноги торжествующему грубому человеку. Но Иванов был так пьян, что, кажется, ничего не заметил, и Юрию ужасно хотелось теперь верить, что это – так.

Иванов, вопя без причины, ушел на двор, и вдруг все куда-то исчезло. Стало необычайно пусто, и Юрий остался совершенно один. Зрение его было сужено пьяным туманом, и перед ним качалась только грязная залитая скатерть, хвостики обгрызанной редиски и стаканы с окурками и сгустками пива. Юрий сидел, опустив голову, качался и чувствовал себя человеком, оставленным всем миром.

Потом вернулся Иванов, и вместо с ним пришел где-то пропадавший Санин. Он был весел, шумен и совершенно трезв, и как-то странно, не то чересчур ласково, не то насмешливо, смотрел на Юрия. Дальше в воспоминаниях было белое пустое пятно, а потом Юрий припомнил лодку, воду, какой-то никогда не виданный молочно-розовый туман. Они ехали по холодной прозрачной воде, шли по ровному песку, освещенному солнцем как будто откуда-то снизу. Остро болела голова и тошнило.

«Черт знает, какая гадость! – подумал Юрий. – Недоставало еще пьянства...»

И, брезгливо стряхнув все эти воспоминания, как грязь, налипшую на ноги, Юрий начал углубленно продумывать то, что произошло в лесу.

В первое мгновение перед ним встал этот необыкновенный, таинственный лес, – глубокий, неподвижный мрак под деревьями, странный свет месяца, белое холодноватое тело женщины, ее закрытые глаза, одуряющий тягучий запах, жгучее желание, доходящее до бешенства.

Воспоминание наполнило все его тело томной и сладострастной дрожью, но что-то испуганно кольнуло в висок, сжало сердце, и чересчур подробно вспомнилась та растерянная безобразная сцена, когда он без всякого желания валил девушку на траву, а она не хотела, толкалась, вырывалась, и он видел, что уже не может и не хочет, а все-таки лез на нее.

Юрий содрогнулся от стыда и ощутил даже свет дня. Ему захотелось уйти во тьму, закопаться в землю, чтобы и самому не видеть своего позора. Но через мгновение, как это ни было трудно, Юрий уверил себя, что омерзительно было не то, что он испортил и обезобразил могучий порыв страсти, а то, что на минуту был близок к сближению с девушкой.

Страшным, почти физическим усилием, похожим на то, как если бы он поборол человека, во много раз сильнее его, Юрий повернул свое чувство и увидел, что поступил так, как и надо было.

«Было бы подло, если бы я воспользовался ее порывом!»

Но перед ним возник новый и еще более мучительный вопрос: «Что делать дальше?»

И среди хаоса разноречивых мыслей и желаний выкри-

сталлизовалось одно: «Надо порвать все!.. Овладеть ею, потешиться и бросить я не могу, я не такой человек и слишком близко чувствую чужие страдания, чтобы самому причинять их. А жениться?..»

Необыкновенной пошлостью прозвучало для Юрия даже слово это. Он, Юрий, с его необыкновенной, совершенно особенной организацией, вечно колеблющейся на гранях великих мыслей и великих страданий, не может создать себе мещанское счастье, с женой, детьми и хозяйством. Юрий даже покраснел, как будто кто-то оскорбил его самой мыслью о возможности в нем хотя бы мгновенного предположения о таком исходе. «Значит, оттолкнуть ее, уйти?»

Как величайшее счастье, безвозвратно уходящее, как потеря самой жизни, мелькнул перед ним отдаляющийся образ девушки. Как будто отказываясь от нее, он вырывал ее из самого сердца, и за нею тянулись кровавые жилы, обрываясь со смертельными кровоточащими ранами. Все потемнело кругом, на душе стало пусто и тяжело, и даже самое тело как будто ослабело.

«Но ведь я ее люблю! – с последним взрывом мучительного недоумения мысленно закричал себе Юрий. – Как же может быть, чтобы я сам так и порвал свое собственное счастье!.. Это нелепо, безобразно!»

«А что же?.. Жениться?»

И опять, устыдившись возможности даже мысли об этом, Юрий погрузился в мучительную и недоумелую тоску. Са-

мое солнце перестал он видеть, перестал сознать свою жизнь, потерял охоту видеть и слышать. И, стараясь хоть не думать больше об этом, Юрий сел к столу и стал читать на днях написанное им подражание Экклезиасту:

«В мире нет ни доброго, ни злого».

«Иные говорят: что естественно – то добро, и человек прав в желаниях своих».

«Но это ложь, ибо все естественно, ничто не рождается из мрака и пустоты, но имеет одно начало».

«Так говорят другие: то – добро, что от Бога, но это ложь, ибо если есть Бог, то все от него, даже богохульство».

«Говорят третьи: то добро, что творит доброе людям. Но есть ли такое? Что добро одному, то зло другому: рабу добро – его свобода, господину – рабство раба; богатому – в сохранении благ его, бедному – чтобы погиб богатый; отверженному – чтобы покорить, отвергающему – чтобы не покориться; нелюбимому – чтобы полюбила его, счастливому – чтобы отвергла всех, кроме него; живущему – чтобы не умирать, рождающемуся – чтобы умерли и очистили ему место под солнцем; человеку – в гибели зверей, зверям – в гибели человека... И так все, и так от века и до края веков, и никто перед другим не имеет права на доброе одному ему».

«Вот принято между людьми, что творить добро и любовь лучше, чем творить зло и ненависть. Но это скрыто: ибо если есть возмездие, то лучше человеку творить добро и себя принести в жертву, а если нет его, то лучше взять свою долю».

под солнцем».

«Вот еще пример лжи, что в людях: вот живет некто, отравляющий свою жизнь для других. И говорят ему: дух твой переживет тебя, ибо сохранится в делах людей, как вечное семя. Но это ложь, ибо знают, что в цепи времен равно живет дух творчества и дух разрушения, и неведомо, что восстанет и что распадется».

«Вот еще: думают люди о том, как будут жить после них, и говорят себе, что это хорошо и дети их пожнут плоды их. Но не знаем, что будет после нас, и не можем вообразить те тьмы тем, что будут идти по стезям нашим. И не можем их любить или ненавидеть, как не можем любить и ненавидеть тех, что были раньше нас. Оборвана связь между временами».

«Так говорят: уравнием людей перед источником радости и горя и одною мерою воздадим всем. Но ни один человек не может воспринять радости и горя, боли и наслаждения больших, чем он сам, и когда доля людей не равна – они не равны, и когда уравниена мера их, не уравниются сердца их вовек».

«Так говорит гордость: великие и малые!»

«Но каждый человек – восход и закат, вершина и пропасть, атом и мир».

«Вот говорят: велик ум человеческий! Но ложь это, ибо ограничено зрение – и не видит человек ни безумия, ни разума своего в беспредельной вселенной, где разум и безумие растекаются, как жидкий воздух».

«Что знает человек?»

«И Адам знал, как есть и пить ему и во что одеться, по потребности его и семя свое сохранил; и мы знаем то же и сохраним семя свое в будущее. Но Адам не знал, что сделать ему, чтобы не умирать и не бояться, и мы не знаем этого. Много придумано знаний, но не придумано жизни и счастья, чтобы наполнить их».

«Человек от обуви до короны во всем имел цель спасти тело свое от боли и смерти. И вот видим: не простою ли палкой Каин поверг Авеля и не тою ли же палкою можно уничтожить первого из людей, стоящего на последней ступени познания? Не дольше ли всех жил Мафусаил, но и он умер: не счастливее ли всех был Иов, но и его съедала скорбь: и не всякий ли из людей, испытав в жизни своей столько счастья и горя, сколько поднимут плечи его, умрет тою же смертью, что и праотец его... Теперь, когда люди венчают богов знания, и вопиют, и похваляются!»

«Равно пожирают черви!»

Холодное чувство проползло по спине Юрия, и видение белых червей, копошащихся толстым слоем над всею землею от края и до края ее, потрясло его. Необычайно значительным показалось ему то, что он написал.

– А ведь это все так! – молотом стукнуло в душе его, и горделивое чувство творчества смешалось с острым приливом тоски.

Он отошел к окну и долго бесцельно смотрел в сад, где

слоем желтых и красных листьев уже золотились дорожки, а вновь умершие листья, тихо кружась в воздухе, беззвучно падали вниз. Мертвые желтые краски ложились повсюду, умирали листья, умирали миллиарды насекомых, живших только светом и теплом. И все умирало в тихом и спокойном сиянии дня.

Юрий не мог понять этого спокойствия, и ясная смерть вызывала в его душе беспредметную тяжелую злобу.

«Вот... дохнет и сияет, точно ей пряник преподнесли!» – с нарочитой грубостью подумал он, и ему хотелось придумать слова еще более грубые и обидные.

Их приходило много, но они висли в пустоте и падали бес- сильно на голову самого Юрия. И такая злость, до самых корней волос, охватила его, что Юрий даже задохнулся.

А за окном стоял золотой сад, за садом река отражала в себе зеленовато-голубое осеннее небо, за рекою шли поля, посеребренные паутиной, за полями опять река и в ней опрокинутый лес, потом берега, дубы, тихие дорожки, и там ходит кто-то.

XLII

Ходит пьянственный певчий, Петр Ильич.

Когда наступает осень и дачное место становится пусто и тихо, как маленькое кладбище минувшего веселья, в нем проявляется какая-то особенная изящная красота: тоненькие ажурные решеточки, как кружево, пронизывают деревья и кусты, и хмель нависает на них красными гирляндами; игрушечные дачные домики сквозят в золотых узорах поредевших веток; на опустелых куртинах одиноко высятся красные астры и о чем-то думают, покачивая холодно прекрасными головками; балконы и зеленые скамейки еще как будто хранят следы минувшей веселой и шумной жизни, и кажется, что эта жизнь была полной только веселья, смеха и счастья, особенной нарядной жизнью.

Иногда в опустелой аллее показывается, как отсталая птица от улетевшей стаи, одинокая задумчивая женская фигурка, и она кажется удивительно красивой, печальной и таинственной. Запертые окна и двери рождают тишину, и чудится, что это именно она, осенняя тишина, живет теперь здесь своей загадочной нечеловеческой жизнью.

Петр Ильич медленно ходит по заброшенным дорожкам, шурша своей палкой в нападавших желтых листьях.

Когда здесь людно, шумно и весело, он никогда не приходит. Быть может, он инстинктивно чувствует свою старость,

убожество и неприглядность, а люди, с их смехом и яркими лицами, мешают ему слышать что-то, слышное ему одному.

Он ходит мимо дач, садится на покинутую лавочку и долго, до тех пор пока не потемнеет уже холодеющее осеннее небо, смотрит перед собою, должно быть ощущая веяние вечности, незримо проходящей над этим местом людской радости и забавы.

Потом идет вниз к реке, под важными, зелеными и желтыми дубами, и смотрит на затихшую хрустальную воду. Ложится на сухую редкую траву и по часам лежит, уткнувшись головой в землю, слушая ее безмолвный говор и дыша ее важным, спокойным дыханием.

Заходит он в места самые дикие, где река подошла к горе, а гора хотела задавить ее и не могла. Река смеялась над горой, вся дрожа голубым и серебристым смехом, а гора хмурилась, и деревья шумели. Иногда огромные дубы бросались с крутого берега в воду и топили поникшие изломанные ветви в бегущей и смеющейся глубине.

Река играет струйками – голубыми от неба и зелеными от земли, – и кажется, будто кто-то быстро пишет на ней непонятные таинственные письма. Пишет и стирает, и опять быстро пишет и стирает...

О чем говорят эти письма, никто никогда не прочтет, но, очевидно, они доходят до сердца Петра Ильича, по целым часам следящего за ними, и делают его тихим и спокойным, как догорающий вечер человеческой жизни.

Лес, река, поля, небо и земля дают ему нечто, чего не дала ему пьяная убогая жизнь и что наполняет его душу до низжайших глубин. И вид старого певчего во время таких хождений торжественно задумчив и важен.

Возвращаясь и встречая кого-нибудь из немногих знакомых, он что-то рассказывает, с важным видом стремясь передать то, чего передать не может. И всегда почему-то заканчивает одной и той же фразой:

– И зимой... там прекрасно!.. Тишина-а... снежинки зыблются, зыблются... снегирки поют!..

Голос его переходит в высокий тенор и тает в воздухе, и чувствуется, что этот человек, несмотря на все свое убожество, умеет как-то особенно воспринять самую тонину красоты жизни, и когда освободится от работы за кусок хлеба, от водки и болезней, то наполняет свою жизнь так хорошо и полно, что душа его становится счастливой.

XLIII

«Осень... Уже осень... Потом будет зима, снег... Потом весна, лето, опять осень... зима, весна, лето... Тоска! А что буду делать в то время я? То же, что и теперь, – с тоской усмехнулся Юрий. – В лучшем случае отупею и вовсе не буду думать ни о чем! А там старость и смерть!»

Опять через его голову бесконечной чередой пошли мысли: и о том, что жизнь прошла от него в стороне, и о том, что нет вовсе никакой особенной жизни, а всякая жизнь, даже жизнь героев, полна скуки, томительных периодов подготовки и безрадостных концов. Вспомнил он, что всегда жил в ожидании начала чего-то нового, глядя на то, что делал в эту минуту, как на временное; а это временное вытягивалось точно гусеница, разворачивало все новые и новые коленица, и уже становилось видно, что бледный хвост этой гусеницы скрывается в старости и смерти.

«Подвига, подвига! – с тоской сжал руки Юрий. – Чтобы сразу сгореть и исчезнуть, без страха и томления! Только в этом и жизнь».

Тысячи подвигов, один героичнее другого, нарисовались перед ним, но каждый взглянул ему в лицо черепом смерти. Юрий закрыл глаза и совершенно ясно увидел бледненькое петербургское утро, мокрые кирпичные стены, виселицу, бледным силуэтом влипшую в мутное серое небо... Или чье-

нибудь озверелое лицо, дуло револьвера у виска, ужас, которого нельзя, кажется, перенести и который надо пережить, удар выстрела прямо в лицо... Или нагайки бьют по лицу, по спине... и по оголенному заду...

«И на это надо идти?.. С этим уже не считаться?» – сказал себе Юрий и тоскливо махнул рукой.

Подвиги побледнели, куда-то ушли и растаяли, а на месте их выглянуло глумливое лицо собственного бессилия и сознания, что все эти мечты о подвигах – детская забава.

«С какой стати я принес свое „я“ на поругание и смерть, для того чтобы рабочие тридцать второго столетия не испытывали недостатка в пище и половой любви!.. Да черт с ними, со всеми рабочими и нерабочими всего мира!..»

И опять Юрий почувствовал прилив бессильной злобы, беспредметной и мучительной для него самого. Неодолимая потребность что-то сбросить, встряхнуться овладела им. Но невидимые когти держали крепко, и вползающее чувство окончательной усталости стало подступать к мозгу и сердцу, наполняя живое тело мертвой апатией.

«Хоть бы убил меня кто-нибудь... – вяло подумал Юрий. – Неожиданно, сзади, чтобы я и не заметил своей смерти... Тьфу, какие глупости лезут в голову!.. И почему непременно кто-нибудь, а не я сам? Неужели я действительно такое ничтожество, что у меня не хватит силы покончить с собой даже при полном сознании, что жизнь доставляет только одни мучения?.. Ведь все равно умирать рано или

поздно придется?.. Что ж это... копеечный расчет!..»

Но тут Юрий мысленно как бы пригнул себя к земле и, скривив лицо, посмотрел на себя сверху, с презрением и болезненной насмешкой.

«Нет, шалишь, брат, дудки! Ты только подумать мастер, а как дойдет до дела... Куда уж тут!»

Маленький холодок у сердца, любопытный и трусливый почувствовал Юрий.

«А попробовать?.. Так, не серьезно... в шутку!.. Не то чтобы... а так... все-таки любопытно!..» – как бы извиняясь перед кем-то, сказал он себе.

Было очень трудно и стыдно достать револьвер из ящика стола, и пугала нелепая мысль, как бы сегодня вечером на бульваре не узнали, не догадались Дубова, Шафров, Санин и больше всего Карсавина, какие детские опыты над собой производит он.

Воровски сунув револьвер в карман, Юрий вышел на крыльцо в сад. На ступеньках тоже лежали сухие желтые, как трупы, листья. Юрий пошевелил их носком, прислушался к слабому шороху и стал насвистывать долгую и печальную мелодию.

– Что затянул? – шутя спросила Ляля, с книгой и зонтиком проходя из сада в дом. Она ходила к реке на свидание с Рязанцевым и возвращалась свежая и счастливая от поцелуев. Им никто не мешал видеться, где и когда угодно, но в тайне, в пустоте и молчании заглохшего сада было что-то

острое, отчего поцелуи были судорожнее и уже трогали в Ляле новые желания. – Точно молодость свою хоронишь! – прибавила она, проходя.

– Глупости, – сердито возразил Юрий и с этого момента почувствовал приближение чего-то, сильнее его самого.

Как животное в предсмертной тоске, он стал томиться и искать себе место. Во дворе его не было, там все раздражало, и Юрий пошел к реке, по которой плавали желтые листья и паутина, сбросил в воду сухую ветку и долго смотрел, как расходились от нее мелкие быстрые круги и вздрагивали плавающие листья. Потом опять пошел к дому, где последние красные цветы, красным трауром, одиноко и печально высились посреди помятых и пожелтелых клумб. Юрий постоял над ними и опять ушел в середину сада.

Там уже все было желто, и ветки бархатно чернелись в кружеве золотых листьев. Было только одно зеленое дерево – дуб, важно хранивший свои резные листья. На скамейке, под дубом, сидел и грелся на солнышке большой рыжий кот.

Юрий грустно и нежно стал гладить пушистую спинку и почувствовал, что слезы подступают к горлу.

– Пропала вся жизнь, пропала вся жизнь... – машинально повторял он слова, казавшиеся ему бессмысленными, но трогавшие за самое сердце, точно тоненьким острием подрезывая его.

«Но ведь это все вздор!.. У меня вся жизнь впереди... Мне еще двадцать шесть лет!» – мысленно крикнул он, на секунду

вдруг освобождаясь от тумана, в котором бился, как муха в паутине.

«Эх, не в том дело, что двадцать шесть лет, и не в том дело, что вся жизнь впереди!.. – махнул он рукой. – А в чем?..»

Неожиданно всплыла мысль о Карсавиной, о том, что после вчерашней омерзительно позорной сцены невозможно встретиться с ней, а не встретиться нельзя. Представилась встреча, стыд ошеломляюще наполнил и сердце, и голову и мелькнула мысль, что лучше умереть, чем это.

Кот выгнул спинку и умильно замурлыкал, точно самовар завел песню. Юрий внимательно поглядел на него и стал ходить взад и вперед.

«Жизнь заела... скучно, скверно... А впрочем, не знаю что... Но лучше смерть, чем увидеться с ней!»

Прошел, тяжело шагая, кучер с ведром воды. И в ведре плавали мертвые желтые листья. На крыльцо дома, видное сквозь ветки, вышла горничная и смотрела на Юрия, что-то говоря. Юрий долго не мог понять, что она говорит ему. Между ним и всем, что его окружало, стала таять и рваться связь. И с каждым мгновением он незаметно становился все дальше и дальше, уходя от всего мира в темную глубину своего одинокого духа.

– Ах да, хорошо... – сказал он, наконец разобрав, что горничная зовет его обедать.

«Обедать? – испуганно спросил он себя. – Идти обедать!.. Значит, все по-старому, и опять жить, мучиться, опять надо

решать, как быть с Карсавиной, с моими мыслями, со всем?..
Надо скорее, а то надо идти обедать и я не успею!»

Странная торопливость охватила его, а дрожь стала бить все тело, тонко проникая во все суставы, в руки, ноги, в грудь. Горничная, заложив руки под белый фартук, стояла на крыльце и не уходила, видимо стараясь надышаться осенним воздухом сада.

Юрий воровато зашел за дуб, чтобы не видно было его с крыльца, и, выглядывая на горничную – не заметит ли она, – как-то очень быстро и неожиданно выстрелил себе в грудь.

«Осечка!» – радостно мелькнуло у него в голове, вместе с мгновенным мучительным желанием жить и страхом умереть. Но уже он видел перед собою верхушку дуба, голубое небо и посреди него куда-то прыгающего желтого кота.

Горничная с криком метнулась в дом, и, как показалось Юрию, возле него сейчас же очутилось множество людей. Кто-то лил ему на голову холодную воду, и на лбу у него прилип желтый лист, очень мешавший ему. Встревоженные голоса зазвучали вокруг, кто-то плакал и кричал.

– Юра, Юра... зачем?

«Это Ляля плачет», – подумал Юрий и в ту же минуту раскрыл глаза и в диком животном отчаянии стал биться и кричать:

– Доктора... позовите скорее!..

Но с невероятным ужасом понял, что уже все кончено и ничто не поможет. Листья, лежавшие у него на лбу, быстро

отяжелели и сдавили голову. Юрий вытянул шею, чтобы из-за них увидеть еще хоть что-нибудь, но листья еще быстрее разрослись во все стороны и покрыли все.

И Юрий уже не сознавал, что произошло в нем.

XLIV

И те, кто знал, и те, кто не знал, и те, кто его любили, и те, кто презирали, и те, кто никогда о нем не думали, все пожалели Юрия Сварожича, когда он умер.

Никто не мог понять, почему он сделал это, но всем казалось, что они понимают и в глубине души разделяют его мысли. Самоубийство казалось красивым, а красота вызывала слезы, цветы и хорошие слова.

На похоронах не было родных, потому что отца Сварожича хватил удар, и Ляля не отходила от него. Был один Рязанцев, который и распорядился похоронами. И еще грустнее становилось провожающим при виде одиночества покойника, и еще выше, печальнее и значительнее вырастал его образ.

Ему принесли множество осенних, красивых, без запаха, цветов, и среди их красных, белых и зеленых сплетений лицо мертвого Юрия, не сохранившее следов ни единого из пережитых чувств и дел, казалось действительно успокоенным.

Когда гроб проносили мимо квартиры Дубовой и Карсавиной, обе они вышли и присоединились к провожающим. У Карсавиной был беспомощно подавленный вид, как у девушки, ведомой на поругание и позорную казнь. Хотя она знала, что Юрию осталось неизвестным все, что с ней случилось, ей все казалось, что между его смертью и «тем» есть

какая-то связь, навсегда остающаяся тайной. Великое бремя непонятной вины она взвалила себе на шею и чувствовала себя самой несчастной и преступной во всем мире. Всю ночь она проплакала, мысленно обнимая и лаская образ навсегда ушедшего человека, а к утру была полна безысходной любви к Сварожичу и ненависти к Санину.

Безобразным сном представлялось ей их случайное сближение и еще безобразнее следующий день. Все, что говорил ей Санин и во что инстинктивно она поверила, показалось ей гнусностью и собственным падением в такую пропасть, из которой уже не будет возврата. Когда Санин подошел к ней, она взглянула на него глазами, полными отвращения и испуга, и сейчас же отвернулась.

Мимолетное ощущение ее холодных пальцев в руке, подаренной для крепкого дружеского пожатия, передало Санину все, что она теперь чувствовала и думала, и он сам почувствовал себя уже навсегда чужим ей. Он скривил губы, подумал и отошел к Иванову, который раздумчиво плелся позади всех, уныло свесив свои желтые прямые волосы.

– Вон как Петр Ильич старается! – задумчиво сказал Санин.

Далеко впереди, за колыхающейся крышкой гроба, высоко забирали похоронные печальные голоса, и октава Петра Ильича ясно и грустно дрожала и тянулась в воздух.

– Удивительное дело, – заговорил Иванов, – ведь слякоть был человек, а... вишь ты что!

– Я думаю, друг, – ответил Санин, – что он за три секунды до выстрела еще не знал, что застрелится... Как жил, так и умер.

– Такое дело!.. Значит, все-таки точку свою нашел человек! – непонятно сказал Иванов и вдруг встряхнул своими желтыми волосами и повеселел, очевидно поймав что-то, что одному ему было понятно и его одного могло успокоить.

На кладбище была уже совсем осень, и деревья казались осыпанными золотым и красным дождем. Только трава местами зеленела под слоем листьев, а на дорожках ветер смел их густою массой, и казалось, что по всему кладбищу текут желтые ручейки. Белели кресты, мягко чернели и серели мраморные памятники и золотились решетки, а между безмолвных могил чудилось чье-то незидимое, но грустное присутствие, точно только что, перед приходом возмутивших покой людей, кто-то печальный ходил по дорожкам, сидел на могилах и грустил без слез и надежды.

Черная земля приняла Юрия и зарылась, а над ямой еще долго толпились люди, с жутким вопрошающим любопытством заглядывая в черную тьму своей участи и распевая жалобные песни.

В тот страшный момент, когда не стало видно крышки гроба и между живыми и мертвым навсегда легла вечная земля, Карсавина громко зарыдала, и высокий женский голос в рыдании поднялся над тихим кладбищем и замолчавшими в тайной грусти и тревоге людьми.

Она уже не думала о том, что люди узнают ее тайну. И все догадались о ней, но так был очевиден ужас смерти, навсегда оборвавшей связь между плачущей прекрасной молодой женщиной, хотевшей отдать ему всю жизнь, всю молодость и красоту, и мертвецом, ушедшим в землю, что никто черной мыслью не оскорбил раскрытой души женской, и только ниже наклонились головы в бессознательном уважении и жалости.

Карсавину увели, и рыдания ее, переходя в тихий и безнадежный плач, затихли где-то вдали. Над ямой вырос продолговатый земляной бугор, зловеще напоминавший скрытое им человеческое тело, и сверху стали быстро и ровно укладывать зеленую ель.

Тогда засуетился Шафров.

– Господа, надо бы речь... Господа, что ж так? – деловито и вместе с тем жалобно говорил он то тому, то другому.

– Санина попросите, – ехидно предложил Иванов. Шафров удивленно взглянул на него, но лицо Иванова было невозмутимо, и он поверил.

– Санин, Санин... где Санин, господа? – заторопился он, высматривая близорукими глазами. – А!.. Владимир Петрович... скажите вы несколько слов... что ж так!

– Сами скажите, – сумрачно ответил Санин, прислушиваясь к замолкшему голосу Карсавиной.

Этот высокий, богатый и в рыдании голос все еще чудился ему в воздухе.

– Если бы я мог сказать, то, конечно бы, сказал... Ведь это был, в сущности говоря, за-ме-чательный человек!.. Ну пожалуйста... два слова!

Санин в упор посмотрел на него и с досадой сказал:

– Что тут говорить?.. Одним дураком на свете меньше стало, вот и все!

Резкий громкий голос его прозвучал с неожиданной силой и отчетливостью. И сначала все как будто застыли, но в ту же секунду, когда многие еще не успели решить, услышать им или нет, Дубова рвущимся голосом крикнула:

– Это подло!

– Почему? – вздернув плечами, спросил Санин.

Дубова хотела что-то крикнуть и потрясти рукой, но ее окружили какие-то барышни. Все зашевелились, задвигались. Раздались несмелые, но возмущенные голоса, замелькали красные возбужденные лица, и, как будто ветер пахнул в кучу сухих листьев, толпа быстро метнулась прочь. Шафров куда-то побежал, потом вернулся. В отдельной кучке возмущенно размахивал руками Рязанцев.

Санин невнимательно посмотрел в чье-то негодующее лицо в очках, зачем-то очутившееся у него под носом, но совершенно безмолвное, и повернулся к Иванову.

Иванов смотрел неопределенно. Натравливая Шафрова на Санина, он отчасти предчувствовал какой-нибудь инцидент, но не то, что произошло. С одной стороны, вся эта история восхитила его своей резкостью, с другой стороны, че-

го-то стало жутко и неприятно. Он не знал, что сказать, и неопределенно смотрел вверх крестов, в далекое поле.

– Дурачье, – с искренней тоской сказал Санин.

Тогда Иванов устыдился, что мог колебаться над чем бы то ни было, и, притворяясь невозмутимым, поставил сзади себя палку, оперся на нее и сказал:

– Черт с ними. Пойдем отсель!

– Что ж, пойдем...

Они прошли мимо враждебно смотревшего на них Рязанцева и кучки бывших с ним и пошли к выходу. Но еще издали Санин заметил группу малознакомой ему молодежи, столпившейся, как бараны, головами внутрь. В центре Шафров суетливо размахивал руками и говорил, но при виде Санина замолчал. Все лица повернулись к нему, и на всех было странное выражение: смеси благородного возмущения, робости и любопытства.

– Это против тебя злоумышление! – сказал Иванов. Санин вдруг нахмурился, и Иванов даже удивился, увидев выражение его лица. А когда из группы студентов и девиц, не то с испуганными, не то с восхищенными розовыми личиками, выделился Шафров и весь красный, как бурак, щуря близорукие глаза, направился к Санину, тот остановился в таком повороте, точно хотел ударить первого попавшегося.

Шафров, должно быть, подумал именно так, потому что остановился дальше, чем нужно, и побледнел. Студенты и барышни, точно маленькое стадо за козлом, столпились за

ним.

– Чего вам еще? – негромко спросил Санин.

– Нам ничего... – смешавшись, ответил Шафров. – Но мы хотели от всей группы товарищей выразить вам свое порицание и...

– Очень мне нужно ваше порицание! – сквозь зубы и с недобрим выражением возразил Санин. – Вы меня просили, чтобы я сказал что-нибудь о покойном Сварожиче, а когда я сказал то, что думал, вы выражаете мне свое негодование?.. Ладно!.. Если бы вы не были глупыми и сентиментальными мальчишками, я бы сказал вам, что я прав, и Сварожич действительно жил глупо, мучил себя по пустякам и умер дурацкой смертью, но вы... а вы мне просто надоели своей тупостью и глупостью, и подите вы все к черту! Трогаю я вас?.. Марш!

И Санин пошел прямо, разрезав заслонивших ему дорогу.

– Вы не толкайтесь, пожалуйста! – тоненьким голосом, в котором было что-то петушиное, запротестовал Шафров, красный до слез.

– Это безобразие! – начал кто-то, но не кончил.

Санин и Иванов вышли на улицу и довольно долго молчали.

– Ты ж чего людей пугаешь! – заговорил Иванов. – Зловредный ты человек опосля этого!

– Если бы тебе всю жизнь так упорно лезли под ноги эти вольнолюбивые молодые люди, – серьезно ответил Санин, –

так ты бы и не так их пугнул!.. А впрочем, черт с ними!

– Ну не плачь, друг! – не то серьезно, не то шутя возразил Иванов. – Знаешь что... Пойдем-ка мы, купим пивка и помянем раба Божия Юрия! А?..

– Что ж, пожалуй! – равнодушно ответил Санин.

– Пока приедем, все разойдутся, – оживленно заговорил Иванов, – мы у него на могилке и выпьем... И покойнику почет, и нам удовольствие!

– Так!

Когда они вернулись на кладбище, там уже никого не было. Кресты и памятники стояли, точно в ожидании, неподвижно придавив желтеющую землю. Ни одного живого существа не было видно и слышно, и только, шурша опавшей листвой, проползла через дорожку скользкая черная змея.

– Ишь ты, гадина! – вздрогнув, заметил Иванов.

У свежей могилы Юрия, на которой пахло взрытой холодной землей, гнилью старых гробов и зеленой елкой, они вывалили на траву груды тяжелых пивных бутылок.

XLV

– А знаешь что... – сказал Санин, когда через час или два они вышли на темную сумеречную улицу.

– Что?

– Проводи меня на вокзал, да и поеду я отсюда. Иванов остановился.

– Чего ради?

– Скучно мне тут...

– Испужался, что ли?

– Чего? Хочется уехать, и все тут.

– Зачем?

– Друг, не задавай глупых вопросов! Хочется, только и всего... Пока людей не знаешь, все кажется, что они дадут что-нибудь... Были тут интересные люди... Карсавина казалась новой, Семенов умирал, Лида как будто могла пойти необычной дорогой... А теперь скучно. Надоели все. Или тебе этого недостаточно? Понимаешь, я вытерпел этих людей сколько мог терпеть... больше не могу.

Иванов долго смотрел на него.

– Ну пойдём... – сказал он. – А с родными попрощаться?

– А ну их... они-то и надоели мне больше всех.

– Да вещи возьмешь же?

– У меня их немного... Ты иди в сад, а я пойду в комнаты и подам тебе чемодан в окно. А то увидят, пристанут с рас-

спросами, а что я им скажу такого, что бы их утешило?

– Та-ак... – протянул Иванов и на минуту потупился, потом махнул рукой. – Очень это для меня прискорбно. Друг... ну да что уж там!

– Поедем со мной.

– Куда?

– Да все равно куда. Там видно будет.

– Да у меня и денег нет.

– И у меня нет, – засмеялся Санин.

– Нет, уж ступай сам... С пятнадцатого у меня занятия начинаются. Так-то спокойнее!

Санин молча посмотрел ему прямо в глаза, и так же прямо посмотрел на него Иванов. И вдруг ему стало чего-то неловко, и он съежился, точно в зеркало увидел отражение свое гнусным. Санин отвернулся.

Они пошли через двор. Санин вошел в дом, а Иванов в потемневший сумеречный сад, где грустно встретили его тени осеннего вечера и запах тихого тления. По траве и кустам, шелестя листьями и хрустя сухими ветками, Иванов подошел к окну в комнату Санина. Оно было открыто и темно.

А Санин тихо прошел через зал и остановился против балконной двери, услышав знакомые голоса.

– Чего же ты от меня хочешь? – послышался с балкона голос Лиды, и Санина поразили его тусклые измученные нотки.

– Я ничего не хочу, – ответил Новиков, и, очевидно, про-

тив воли голос его звучал ворчливо и надоедливо, – мне только странно, что ты смотришь так, будто приносишь для меня жертву... Я ведь...

– Ну, хорошо... – сорвался голос Лиды, и хрустальные звуки близких слез неожиданно зазвучали в сумеречной тишине вечера. – Не я... ты приносишь жертву... ты!.. Я знаю!.. Чего же еще нужно от меня?

Новиков хмыкнул недоумевающе и смущенно, но слышно было, что он чуть-чуть сконфузился и старается скрыть это.

– Как ты не можешь меня понять!.. Я тебя люблю, и потому это не жертва... Но если ты сама смотришь на наше сближение, как на жертву с чьей бы то ни было стороны, то тогда что ж это за жизнь будет у нас?

Голос Новикова окреп и зазвучал убедительно и даже обрadowанно, точно он вдруг нашел настоящее и рад был, что теперь уж наверное убедит Лиду.

– Ты пойми... Мы можем жить только при одном условии: именно, чтобы ни с твоей стороны, ни с моей не было никакой жертвы... Что-нибудь одно: или мы любим друг друга и тогда наше сближение разумно и естественно, или мы не любим друг друга и тогда...

Лида вдруг заплакала.

– Чего же ты! – изумленно и раздраженно заговорил Новиков. – Я не понимаю... я, кажется, не сказал ничего оскорбительного... Перестань!.. Я имел в виду и тебя, и себя равно... Это черт знает что!.. Да чего же ты плачешь?.. Ничего

сказать нельзя!..

– Я не знаю... не знаю...

Задушенный и жалкий женский голос тоненькой жалобой, бессильной и бессловесной, прозвучал невыносимо печально.

Санин сморщился и вошел в свою комнату.

«Ну, Лиде, пожалуй, конец! – подумал он. – Может, и лучше сделала бы она, если бы тогда и вправду утопилась!.. А может, и перевернется... Не угадаешь!»

Иванов за окном слышал, как он торопливо шарил, шелестел бумагой, что-то уронил.

– Скоро ты? – неторопливо спросил он.

Ему стало скучно и жутко стоять под темным окном, в бледном сумраке осенней зари, перед лицом темного загадочного сада. Шорох напомнил ему его сон.

– Сейчас, – ответил Санин так близко от окна, что Иванов вздрогнул. Темнота в окне заколебалась, и из нее выдвинулся чемодан и белое лицо Санина.

– Держи!

Санин легко спрыгнул на землю и взял чемодан.

– Ну, идем!

Они быстро пошли через сад.

Там был бледный сумрак и тонкий холодный запах холодеющей земли. Деревья сильно обнажились, и оттого было чересчур пусто и просторно. За рекою догорала заря, и вода блестела одиноко, забытая и заброшенная в конце уже нико-

му не нужного сада.

Когда они пришли к вокзалу, на бесконечных черных путях горели сигнальные огоньки и поезд мерно пыхтел локомотивом. Бегали люди, стучали дверьми, перекликались и ругались грубыми злыми голосами, точно все было грустно и тяжело и хотелось скрыть свое чувство от других под нарочитой злостью. Толпа темных и растерянных мужиков с узлами копошилась на платформе.

У буфета Санин и Иванов выпили.

– Ну, счастливого пути! – грустно сказал Иванов.

– У меня, друг, путь всегда одинаков, – улыбнулся Санин. – Я у жизни ничего не прошу, ничего и не ищу. А конец никогда не бывает счастливым: старость и смерть, только и всего!

Они вышли на платформу и стали на свободном месте.

– Ну, прощай!

– Прощай!

И невольно для обоих вышло так, что они поцеловались. Поезд, лязгая и скрежеща, тронулся.

– Эх, брат! Как я тебя полюбил, как полюбил! – неожиданно закричал Иванов. – Одного настоящего человека только и видел!

– Один ты и полюбил! – усмехнулся Санин. Он вскочил на подножку проходящего вагона.

– Поехали, – весело закричал он. – Прощай!

– Прощай!

Быстро побежали вагоны мимо Иванова, точно вдруг сговорившись убежать куда-то. Мелькнул в темноте красный фонарь и долго, как будто не удаляясь, краснел в черноте.

Иванов посмотрел вслед поезду, и ему стало грустно и скучно. Уныло брел он по улицам города и смотрел на его жидкие аккуратные огоньки.

«Запить, что ли?» – спросил он себя, и бледный длинный призрак долгой бесцветной жизни пошел с ним в трактир.

XLVI

В духоте и тесноте задыхались вагонные фонари, и среди колеблющихся дымных теней и пятен тусклого света копошились измятые, истрепанные люди.

Санин сидел рядом с тремя мужиками. При его входе они говорили о чем-то, и один, плохо видный в темноте, сказал:

– Так, говоришь, плохо?

– Чего же плоше, – высоким надтреснутым голосом ответил старый косматый мужик рядом с Саниным. – Они свою линию гнут, для нас пропадать не станут. Говорить можно что угодно, а когда до шкуры дойдет, кто посильнее, тот и выпьет кровь!

– А вы чего ж ждете? – спросил Санин, сразу догадываясь, о чем идет тяжкий и нудный разговор.

Старик повернулся к нему и развел руками.

– А что станешь делать?

Санин встал и ушел на другое место: он знал этих людей, живущих как скоты и не истребивших до сих пор ни себя, ни других, а продолжающих влачить скотское существование в смутной надежде на какое-то чудо, которого им не дожидаться и в ожидании которого умерли уже миллиарды им подобных.

Ночь шла. Все спали, и только против Санина мещанин в чуйке злобно ругался с женою, боязливо отмалчивающейся и только судорожно поводящей испуганными глазами.

– Погоди, дай срок, я тебе, стерва, докажу! – шипел, как придавленная гадюка, мещанин.

Санин уже задремал, когда женщина, болезненно охнув, разбудила его. Мещанин проворно отдернул руку, но Санин успел увидеть, как он крутил пальцами грудь женщины.

– Экая же ты, братец, скотина! – сердито сказал Санин. Мещанин испуганно молчал, оторопело глядя на него маленькими злыми глазами и как будто скаля зубы.

Санин с отвращением посмотрел на него и ушел на площадку. Проходя по вагону, он видел множество почти навалившихся друг на друга людей. Уже светало, и в окно вагона падал бледный синеватый свет; причем лица их казались мертвыми, и какие-то робкие и печальные тени ходили по ним, придавая бессильное и страдальческое выражение.

На площадке Санин всей грудью вдохнул свежий рассветный воздух.

«Противная штука человек!» – не подумал, а почувствовал он, и ему захотелось сейчас же хоть на время уйти от всех этих людей, от поезда, из спертого воздуха, от дыма и грохота.

Заря уже явственно занималась на горизонте. Последние тени ночи, бледные и больные, бесследно убегали назад в синюю тьму, таявшую в степи.

Не долго думая, Санин сошел на подножку поезда и, махнув рукой на свой пустой чемодан, спрыгнул на землю.

С грохотом и свистом промелькнул мимо поезд, земля вы-

скочила из-под ног, и Санин упал на мокрый песок насыпи. Красный задний фонарь был уже далеко, когда Санин поднялся, смеясь сам себе.

– И то хорошо! – сказал он громко, с наслаждением издав свободный, громкий крик.

Было широко и просторно. Еще зеленая трава тянулась во все стороны бесконечным гладким полем и тонула в далеких утренних туманах.

Санин дышал легко и веселыми глазами смотрел в бесконечную даль земли, широкими сильными шагами уходя все дальше и дальше, к светлому и радостному сиянию зари. И когда степь, пробудившись, вспыхнула зелеными и голубыми далями, оделась необъятным куполом неба и прямо против Санина, искрясь и сверкая, взошло солнце, казалось, что Санин идет ему навстречу.